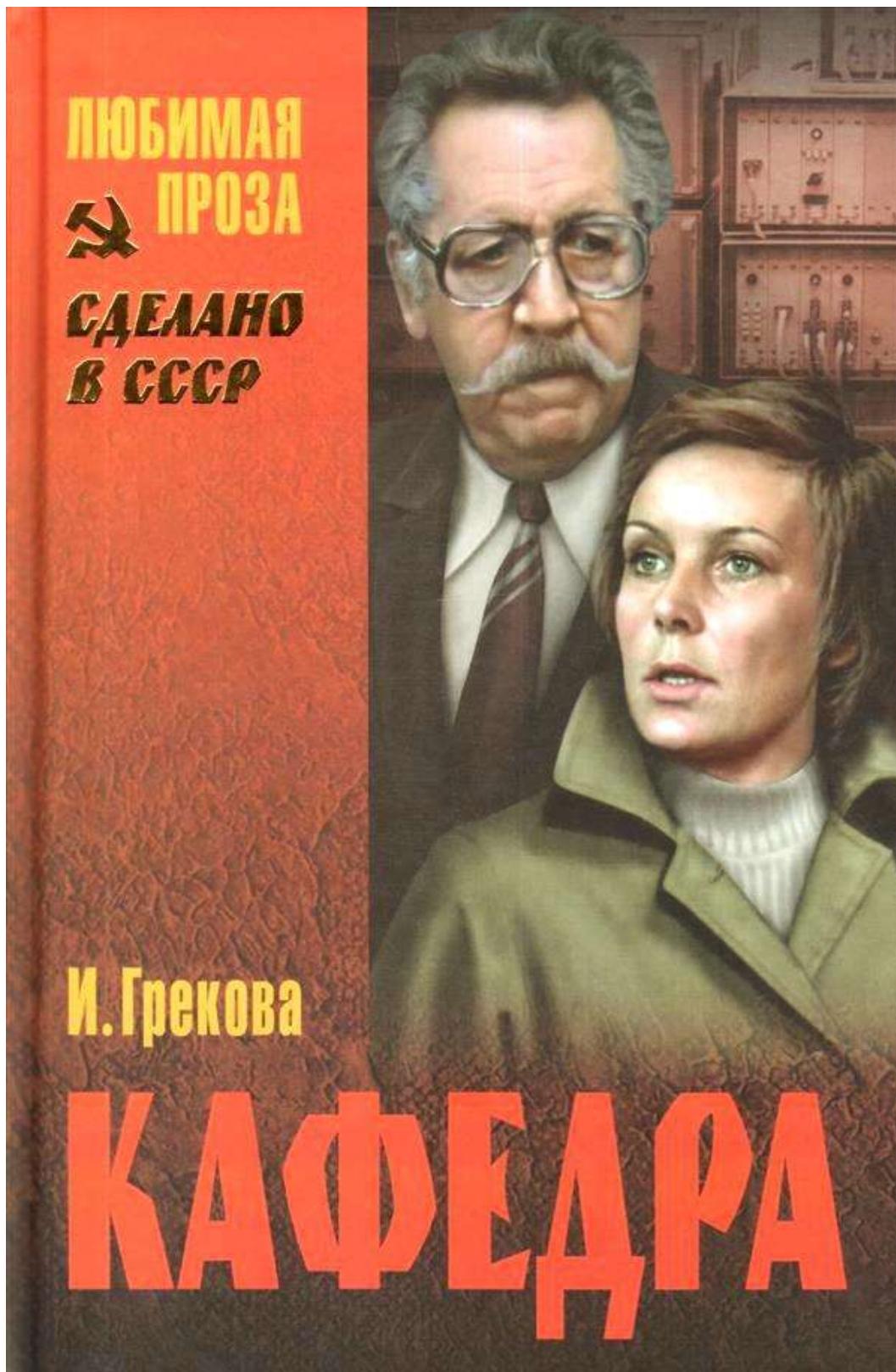


И. ГРЕКОВА
КАФЕДРА



ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ

Короткий зимний день кончается, чуть позолоченный солнцем. Паутинка, на которой он повис, вот-вот оборвется. За окном в институтском саду ветер колеблет промерзшие ветки деревьев. Кое-где на них мотаются два-три уцелевших листа.

В комнате № 387 (третий этаж главного корпуса) идет заседание кафедры. За массивным старомодным столом в углу у окна сидит заведующий кафедрой профессор Завалишин Николай Николаевич, короче — Энэн, так его зовут все за глаза, а некоторые и в глаза. Он не обижается: хорошее имя — Н. Н. В прошлом веке так обозначалось нечто неизвестное, условное. «В ворота гостиницы губернского города NN...» Он тоже неизвестен, условен.

С виду это низенький старичик с желтой конической лысиной, обрамленной снизу и сзади венчиком белых волос. Стекла очков толщиной чуть ли не в палец прикрывают его глаза, сообщая им выражение непостижимое. Седые уши, шевелящиеся вставные зубы, пегие щетинистые усы — все это делает его внешность странноватой, если не страшноватой. Впрочем, привыкнуть к ней можно. На кафедре уже привыкли. Кое-кто даже считает наружность Энэна по-своему милой, как бывает милым откровенно карикатурный персонаж кукольного спектакля. В обращении с людьми доброжелателен, не придирается — чего еще можно хотеть от заведующего? А что иной раз поговорить любит, что поделаешь. У каждого есть недостатки. Важно «не заводить».

Несколько поодаль, храня четкую самостоятельность, сидит заместитель Энэна доцент Кравцов — круглоголовый брюнет, фигура огурцом, тонкие усики. Этот крепко себе на уме. Несмотря на молодость (тридцать пять лет), у него уже практически готова докторская на модную, современную тему «Методы системотехники в теории самонастраивающихся систем». Он твердо рассчитывает после смерти Энэна (или ухода его на покой, зла он ему не желает) занять его место и навести на кафедре порядок. Дальше рисуются ему перспективы еще заманчивее: член-корреспондент, возможно — академик. Торопиться не надо, он еще молод.

Помещение кафедры — узкое, продолговатое — половина какой-то парадной приемной прежнего, дореволюционного здания. Потолки со ржавыми потеками уходят ввысь, на пятиметровую высоту; под ними затейливая лепнина карнизов. Старинное здание в полуаварийном состоянии. Институту давно уже обещано новое где-то на окраине города, больше часа езды от центра. Постройка еще не начата, но ремонтировать старое здание уже перестали.

По всему помещению в разнообразных позах сидят преподаватели кафедры — доценты и ассистенты. Профессоров, кроме Энэна, нет ни одного, что ему постоянно ставит в вину ректорат («Мало работаете над выращиванием кадров»). Первым, по-видимому, будет выращен Кравцов.

На высоком железном ящике из-под импортного оборудования, так называемом электрическом стуле, сидит Семен Петрович Спивак, богатырь-бородач в вельветовых брюках, которого на кафедре зовут «тучный-звукный». Он не тучен, а просто громоздок и занимает много места. Ноги его расставлены в стороны, ботинки (размер сорок шесть) зашнурованы невпопад. Черная борода вокруг рта обметана серебряной белизной, как меховой воротник на морозе. Среди этой белизны ярко выделяется большой влажногубый рот. Семен Петрович в целом красив, хотя излишне массивен и агрессивен на вид. Студентки по нем обмирают, несмотря на его возраст (около пятидесяти) и репутацию великого двойкостава. На железном ящике он сидит из принципа, с тех пор как однажды во время заседания кафедры под ним рухнуло кресло. Семен Петрович, вообще человек горячий, очень уж пылко с кем-то спорил, привел неотразимый довод, трах! — и готово. «Нельзя так переживать!» — упрекала его делопроизводительница Лидия Михайловна, единственный человек на кафедре, кому было дело до мебели. Остальные отпускали плоские щутки, конечно, насчет Александра Македонского, по традиции упоминаемого каждый раз, когда речь идет о ломании стульев.

Новая мебель — низкие тонконогие столы, хрупкие стулья и кресла в форме не то корзин, не то рыболовных вершней — была спущена кафедре в прошлом году по институтскому плану переоборудования. Все приняли ее безропотно, один Энэн наотрез отказался расстаться со своим столом-мастодонтом изготовления тридцатых годов. И, как видно, не прогадал: новая мебель оказалась прискорбно непрочной. Через полгода она, как говорили преподаватели, «прошла уже период

полураспада» — у стола дверцы не закрывались, а ящики, наоборот, открывались с трудом. От половины стульев остались рожки да ножки, которые институтский столяр не брался ремонтировать, говоря: «Дрова!» А стол Энэна с прибором каслинского литья (чернильница в форме головы витязя) как стоял десятилетиями, так и стоит.

Недалеко — от двери — Лев Михайлович Маркин, полуседой, взъерошенный, с выражением привычной иронии на тонком лице. Из иронии он себе сделал нечто вроде службы.

За одним столом рядышком две подруги — Элла Денисова и Стелла Полякова. Элла — лучезарная блондинка с карамельно-розовой кожей — по праву считается первой красавицей кафедры («Мисс Кибернетика», — называет ее Маркин). Это, впрочем, не слишком много значит, ибо женщин на кафедре раз-два — и обчелся. Стелла постарше ее, некрасива, с овечьим лицом, но, что называется, стильная, модно одетая и, главное, обутая. Сейчас на ней туфли на высоченной платформе. Она то и дело осматривает свою змеевидную ногу, выставив ее боком из-под стола.

Прямо за ними — ассистент Паша Рубакин, мутногла-зый, долговолосый, рваные джинсы «под хиппи», папироза за ухом. Голос у него как из подполья, разговор всегда не по существу, но чем-то интересный.

Рядом с ним как будто для контраста — Дмитрий Сергеевич Терновский, один из старейших сотрудников кафедры, немолодой, бело— и густоволосый, из тех, что в давние времена назывались педантами: ровный пробор не сбоку, а посреди головы, чеховское пенсне на цепочке, безукоризненный черный костюм, после каждой лекции чищенный щеточкой. Кроме Терновского, все преподаватели ходят с ног до головы в мелу. «Все мы одним мелом мазаны», — говорит Спивак. Он-то ухитряется измазать мелом не только перед и рукава, но и спину.

За Терновским, опершись подбородком о кисти рук, скрещенные на спинке стула, сидит Радий Юрьев — узкоголовый, с откинутой назад шапкой густых темно-рыжих волос, не первой молодости, но с полной обаяния юной улыбкой, открывающей длинные желтые красивые зубы. Улыбка Радия совершенно непобедима («проникающая радиация» — говорят о ней на кафедре). В кафедральных спорах и столкновениях Радий обычно выступает в роли буфера.

Кажется, только эти перечисленные и слушают докладчика, остальные просто томятся. Кое-кто, еле скрывая, читает одним глазом роман.

Докладывает Нина Игнатьевна Асташова — смуглая стреловидная женщина, не очень-то красивая, не очень молодая (ближе к сорока), но стройностью и стремительностью по-своему привлекательная. Что-то в ней от дикого животного — серны или косули.

Речь идет о двойках. Только что свалилась зимняя страда — экзаменационная сессия, остались досдачи и пересдачи. «Не вся еще рожь свезена, но сжата. Полегче им стало», — выразил это Маркин словами Некрасова. Он вообще по уши набит цитатами, поминутно вставляет их в разговор, иногда даже удачно. Огромная память. «Нецеленаправленная», — говорит о ней Кравцов.

Согласно плану заседаний кафедры обсуждаются итоги сессии. Асташова говорит громко, на всем лекционном поставе голоса, рассчитанного на большую аудиторию, с четкой дикцией, выделяющей концы слов, — хоть сейчас записывай. Опытные преподаватели часто так говорят — громко, складно и авторитетно, оставляя впечатление высокомерия, в общем-то ложное. Просто профессиональная выучка.

Такова обстановка. Идет доклад.

— Вопрос о двойках не нов. Каждую сессию мы его обсуждаем, толчем воду в ступе. У этого вопроса нет решения. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Что нужно деканату? Казенное благополучие. Чтобы процент хороших и отличных оценок неуклонно возрастал от сессии к сессии, а процент двоек падал. И ведь возрастает, и ведь падает! Дважды в год мы участвуем в унизительной процедуре — слушаем доклад о ходе борьбы за успеваемость. Высчитываются проценты, доли процентов, строятся диаграммы... И как не стыдно такой ерундой отнимать время у занятых людей?

— Правильно говорит! — крупным басом одобрил Спивак.

— Вам будет предоставлено слово, — сказал Кравцов. (Энэн молчал, загадочный за очками.) — Продолжайте, Нина Игнатьевна.

— Продолжаю. Мечта деканата — чтобы все студенты учились отлично. Явный абсурд, ибо само

слово «отличный» значит «отличающийся от других». Пятерка немыслима без фона. Это не эталон метра, хранящийся в палате мер и весов. Экзаменатор, ставя оценку, мерит знания студента не по абсолютной, а по относительной шкале.

— Эх, не то! — сказал, страдая, Спивак. — Дело не в пятерке, а в двойке.

Кравцов постучал карандашом по столу:

— Прошу докладчика продолжать, а остальных — воздержаться от замечаний.

— Продолжаю. С одной стороны деканат, с другой — мы. Им нужно формальное благополучие, нам — неформальные знания. Конечно, проще всего было бы пойти им навстречу: двоек не ставить совсем, троек — минимум, четверок и пятерок — по требованию. Жизнь будет легкая, никто нас не попрекнет, кроме нашей совести...

— «Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть», — услужливо подсказал Маркин.

— Да, совесть, — подчеркнула Асташова, потемнев лицом. — А это, как учит жизнь, опора хрупкая, ненадежная. Поведение человека диктует не совесть, а объективная обстановка. Эта обстановка, хотим мы или нет, толкает нас в мир фикций. Фиктивных оценок, фиктивных достижений, фиктивной отчетности...

— Не замахиваетесь ли вы слишком широко, Нина Игнатьевна? — осторожно спросил Кравцов.

— Напротив, замах чисто местного масштаба: я говорю о наших вузовских делах. Как учитывается наша работа? По среднему баллу, по проценту двоек. Это же курят на смех! Кто как не мы сами ставим себе эти оценки? Давайте сравним с другими областями производства. Где это слыхано, чтобы работа завода, фабрики, мастерской оценивалась по отметкам, которые они сами себе выставили? А у нас получается именно так! Формальные критерии, не подкрепленные объективными способами контроля, неизбежно порождают очковтирательство.

Услышав «очковтирательство», Кравцов насторожился и подал голос:

— Я возражаю. Голословное обвинение.

— Не голословное. Давайте будем честными. Пусть каждый спросит себя, сколько двоек он бы выставил, если бы давление сверху?

— Я? Столько же, сколько сейчас, — сказал Спивак.

— Верю. Но вы исключение. Правило известно: три пишем, два в уме.

— Не согласен, — сказал Кравцов. — Я ставлю оценки без всякого давления.

— Вы тоже исключение, — нелюбезно ответила Асташова, оскалив косенький зуб.

— Нина Игнатьевна права, — сказал Терновский. — Прежде чем поставить двойку, трижды задумаешься. Поставишь — всем хуже: студенту, тебе самому, кафедре, факультету... А толку что? Ты ему двойку, а он к тебе же вернется пересдавать, как бумеранг. А время на пересдачи в нагрузке не предусмотрено, идет прямехонько в перегрузку. Ну ладно, к перегрузкам нам не привыкать. Главное, приходит он, чаще всего зная не лучше, а хуже, чем в прошлый раз. Опять двойка. А деканат его еще раз пришлет. И еще, и еще. По действующим правилам нельзя пересдавать больше двух раз — на третий ставится вопрос об отчислении. А деканат, как известно, боится отсева. Вот и присыпает «в порядке исключения» раз за разом. Капля долбит камень. Учешь все это, подумаешь-подумаешь — и поставишь тройку. Все равно этим кончится.

— Нет, не все равно! — загремел Спивак. — Кому все равно, пусть убирается вон из вуза!

— Позвольте, товарищи, мы, кажется, перешли к обсуждению, не дослушав доклада, — вмешался Кравцов. — Нина Игнатьевна, мы слышали ваши критические замечания. Но критика без конструктивных предложений бесплодна. Что, в конце концов, вы предлагаете?

— Неужели не ясно? Предлагаю прекратить практику оценки работы преподавателей, кафедр, института в целом по успеваемости студентов. Ликвидировать дутые отчеты о ходе борьбы за успеваемость. Избавить нас от мелочной опеки деканата...

— Ну, это невозможно, — солидно сказал Кравцов. — В нашем обществе...

— Именно в нашем обществе это и возможно. В частности, в вузе. Пусть нашу работу оценивают по выходу, по качеству работы наших выпускников.

— Утопия. Еще предложения?

— Только самые общие. Подбирать людей тщательнее, доверять им больше, контролировать

меньше. И, главное, контроль должен быть квалифицированным.

Кругом зашумели. Кравцов застучал по столу костяшками пальцев:

— Товарищи, товарищи, вы не даете докладчику кончить.

— Да у меня, пожалуй, все. То, что я говорю, одним известно, другим неприятно, а третьим просто неинтересно. Недаром профессор Завалишин спит.

Все поглядели на Энэна — он и в самом деле спал. Такая уж у него была особенность: делящаяся речь одного человека действовала на него неодолимо. Что-то на него наваливалось, мягко давило, он погружался в сон, как в огромный, размером с мир, пуховик. Правда, спал он непрочно, все время сохраняя какой-то контакт с происходящим и отдаленно понимая, о чем речь. Как только упоминалось его имя, он просыпался. Вот и сейчас он приподнял голову, открыл глаза, дернул дважды щекой и, дважды заикнувшись, сказал:

— Я не сплю. Я все слышу.

— Значит, мне показалось. У вас были закрыты глаза.

— Веки тяжелы, — сказал Энэн, снова закрыл глаза и опустил голову.

— Тоже мне Вий, — шепнула Элла.

— Хорошо, что спит, — ответила Стелла. — Не дай бог, проснется, начнет говорить... На заре ты ее не буди.

— Может быть, есть вопросы к докладчику? — спросил Кравцов, пытаясь ввести заседание в русло. Маркин поднял руку:

— Позвольте вопрос. Тут как будто упоминались два персонажа: конь и трепетная лань. Как это понимать?

— Деканат и мы, — пояснил Спивак.

— Кто конь и кто лань?

— Конь — деканат, а трепетная лань — мы.

— Как раз наоборот, — сверкнула глазом Асташова. — Трепетная лань — деканат. Трепещет-то он, а не мы. Если бы мы трепетали, давно бы не было двоек.

— А нельзя ли, — не унимался Маркин, — рассмотреть эту конфликтную ситуацию как парную игру с нулевой суммой?

— Глупо, — ответила Нина.

— Товарищи, товарищи, не будем оскорблять друг друга, — вмешался Кравцов. — Нам еще предстоят прения по докладу. Кто хочет выступить?

Поднялся Спивак, расправил плечи, грудь колесом. Брюки его торжественно струились, не свисали — ниспадали.

— Все это чушь собачья, сотрясение воздуха. «Абсолютная шкала, относительная...» Двойка есть двойка, я ее нутром чувствую. Сам был двоечником. Двоечник — это жизнелюб, сибарит. Если его вовремя не согреть двойкой, он так и будет кайфовать. По себе знаю. Если бы не профессора нашего университета, щедро ставившие мне двойки, я так бы и кайфовал до сих пор. Низкий им поклон за эти двойки. Правда, тогда были другие нравы, ставить двойки никто не боялся. Вот если бы я учился сейчас, в нашем институте, я так бы и не превратился в человека.

— Роль труда в процессе очеловечивания обезьяны, — вставила Стелла, играя ногой.

— Вот именно! Труд, труд и еще раз труд! А не эти, как их, вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Мы, педагоги, должны бороться за свое святое право на двойку. Нас гнут, а мы не гнемся. Нас толкают, а мы упираемся. Итак, да здравствует двойка!

— Двойка, птица-двойка, кто тебя выдумал? — спросил Маркин, но смехом поддержан не был.

Кравцов раздумывал, сразу ли давать отпор демагогическому выступлению Спивака или повременить. Решил повременить. Могучего темперамента Семена Петровича он побаивался.

— Кто еще хочет высказаться? Только строго по повестке дня, без лирических отступлений. Элла Борисовна, может быть, вы?

Элла заговорила неохотно:

— Двоек, конечно, много. Борьба за успеваемость — это в принципе хорошо. Но надо и о студентах подумать. Какие там вздохи на скамейке! Им и на стуле вздохнуть некогда. Задания, задания... Даже

списать и то надо время, а его нет...

Она, сама недавно кончившая вуз, еще не успела перестроиться на преподавательскую точку зрения и всегда была на стороне студентов. В ней еще не угасла классовая вражда угнетенного к угнетателю.

— Им созданы все условия для работы, — заметил Кравцов, разглядывая свои ногти.

— Все условия?! А в общежитие номер два вы ходили?

— Пока нет.

— То-то что нет. Там не условия, а один кошмар. На днях трубы полопались, буквально нечем мыться. Ходят с чайниками на колонку. Парням-то ничего, они не страдают, а девчонкам трудно... Жаловались мне как куратору — женщина женщину всегда поймет. За исключением коменданта. Ходила я к ней — этакая скифская баба, только курган вокруг нее строить. Ничего делать не хочет...

— Естественно, — сказал Маркин. — Человек, уровень благополучия которого не зависит от количества и качества его работы, ничего никогда делать не хочет.

— А мы? — крикнул Спивак. — Наш с вами уровень благополучия если и зависит от количества и качества работы, то в обратном смысле. Меньше работаешь — лучше живешь.

— Опять преувеличение, — кисло заметил Кравцов. — Но продолжим заседание кафедры. Кто еще хочет высказаться?

Поднял руку Радий Юрьев. Встал, заразительно улыбаясь. Всем сразу стало казаться, что все хорошо.

— Товарищи, — сказал Радий, — надо искать необходимые компромиссы. Здесь многие стараются что-то перевернуть, изменить радикально. Каждый из нас, дай ему волю, таких бы дров наломал! Не надо, будучи преподавателем вуза, пытаться решать государственные вопросы. У каждого своя специальность. И только в двух вещах каждый считает себя компетентным — в медицине и в управлении государством. Нина Игнатьевна, ваши конструктивные предложения, простите, наивны. Они на уровне самолечения или, еще хуже, знахарства. Я, например, знаю одного хорошего математика, который вдруг свихнулся и занялся иглоукалыванием; возможно, это прекрасная вещь, по пусть ею занимаются врачи, а математики — своими делами. На наш век их хватит.

— Могу только солидаризоваться, — одобрил Кравцов. Радий поблагодарил его поклоном и сел. Нина Асташова сверкнула на него гневным взглядом. Встал Паша Рубакин и глухим, подпольным голосом заговорил:

— По поводу последнего выступления я вспомнил один анекдот. Можно, я его расскажу?

— Только в пределах регламента, две-три минуты, — сказал Кравцов, взглянув на часы.

— Не беспокойтесь, я мигом. Этот анекдот немецкий, но я буду переводить. Приходит домой муж и застает приятеля со своей женой, а она очень некрасива. Муж говорит приятелю: «Ich muss, aber du?» (я должен, но ты?). У меня все. Уложился я в регламент?

— Уложились, — с неудовольствием сказал Кравцов, — но анекдот ваш никакого отношения к делу не имеет. Прошу остальных товарищей беречь свое и чужое время и не уклоняться от темы. Кто еще хочет высказаться?

Он зевнул.

Преподаватели вставали один за другим, отчитывались за итоги сессии. Те, у кого процент двоек был выше среднего, нервничали, ссылались на объективные причины (чаще всего упоминалась картошка). Исключение составил все тот же Паша Рубакин: он заявил, что единственная причина плохой успеваемости в его группе — низкое качество преподавания.

— Разве я преподаватель? Такой человек, как я, только по недоразумению может работать в вузе. У меня развитие лягушки. Даже ниже — лягушачьего эмбриона. Обещаю к следующей сессии подтянуться и повысить свое развитие хотя бы до уровня курицы.

К парадоксам Рубакина все уже привыкли и внимания на них до обидного не обратили. Один Кравцов сказал:

— Вашу самокритичность можно только приветствовать. Но какой пример вы подаете студентам своим внешним видом? Мы боремся с длинными волосами...

Тут отворилась дверь и вошла высокая, белокурая, баскетбольного роста девушка в замшевой юбочке до середины бедра. Робко остановилась, держась за дверную ручку. Ноги у нее были такие

длинные, статные, тугу обтянутые, что вся мужская часть кафедры (кроме Энэна, который спал) не без удовольствия уперлась в них глазами.

— Что вам нужно, девушка? — опомниаясь, спросил Кравцов.

— Матлогику сдать.

— А в сессию почему не сдали?

— Двойку получила...

— Вот перед нами, — сказал Кравцов, картинно протянув руку, — одна из тех двоек, о которых сегодня шел разговор. Причем типичная. Вот что, девушка. У нас идет заседание кафедры. Если б не такие, как вы, оно бы кончилось много раньше. Подождите-ка в коридоре, пока мы кончим.

Девушка вышла.

— «Матлогика», — иронически повторил Терновский (он был на кафедре главным ревнителем чистоты языка). — Некогда сказать «математическая логика». Матлогика, мат-статистика, матанализ — сплошной мат...

— Веяние времени. Они и бездельничая торопятся, — сказал Спивак.

Элла, которая сама говорила «матлогика», обиделась:

— А почему нельзя? Говорите же вы «сопромат», а не «сопротивление материалов», «комсомол», а не «коммунистический союз молодежи»?

— Ну, это уже вошло в традицию.

— Но для того, чтобы вошло в традицию, кто-то должен был начать. И ему, наверно, доставалось от консерваторов.

— Вообще вопрос о чистоте языка спорный, — сказал Спивак. — В таких спорах не бывает правых.

Старые люди обычно отстаивают нормы своей молодости.

— Я не так уж стара, но говорить «матлогика» не буду, — сказала как откусила Нина.

— Нет, я за новаторство во всем, — заявила Стелла, — в моде, в языке, в поведении... Что же, по-вашему, так и носить длинные юбки? Надо упрощать, укорачивать.

— А как же макси? — спросил Маркин.

— Не привыкся, — категорично ответила Стелла.

— Не знаю, как с юбками, а в языке нужна позиция разумного консерватизма, — сказал Терновский. — Если студентов не поправлять, они бог знает до чего докатятся. Этот чудовищный жаргон, помесь английского с нижегородским... Квартира у них «флетуха», девушка — «гирл»...

— А иной раз и по-русски такое отмочат — закачаешься, — заметил Маркин. — На днях один новатор обогатил меня на экзамене термином... в смешанном обществе не решаюсь его повторить.

— А бывает и интересно, — вступилась Элла. — Вот у меня студент вместо «мощность» сказал «могущество». Разве не хорошо? «Могущество множества»...

Тут усы Энэна зашевелились, и он произнес нараспев:

— А что даст тебе знать, что такое ночь могущества?

— Николай Николаевич, вы хотите выступить? — спросил Кравцов.

— Боже упаси. Это я про себя. Продолжайте, пожалуйста.

— Что же, по-вашему, не надо поправлять студентов, когда они делают ошибки? — вскинув пленсне, сказал Терновский.

— Поправлять надо, но только кричащие ошибки, явно противоречащие духу языка, — сказала Нина не очень уверенно.

Тут Энэна прорвало — он заговорил. Сначала тяжко, с запинками, усердно помогая себе щекой и усами, а потом все бойче и гляже. Так, бывает, расходится хромающий человек.

— Зачем исправлять? Подавать пример. Помню, когда я учился, у нас читал лекции профессор Х. Он нас прямо околовывал своей речью. Слушали мы его развесив уши. Абсолютная художественная культура слова. Мы подражали ему не только в лексиконе — в интонации. Был у него один особый коротенький крик вроде клекота ястреба, им он выражал торжество правды — «что и требовалось доказать». И мы за ним, доказав теорему, вскрикивали по-ястребиному. Тогда из университета пачками выходили студенты, говорившие, как Х., писавшие, как Х. Еще теперь иногда, встретив старого человека, я вдруг у него спрашиваю: «А вы тоже учились у Х.?»

Когда Энэн говорил, он так отвлекался от всего окружающего, что чужой речи уже не слышал. Привыкшие к этому преподаватели перебрасывались словами, почти не понижая голоса.

— Ну, пошли воспоминания, пиши пропало, — вздохнула Элла. — Минимум на полчаса. А мне Витьку из садика брать, после семи не держат. Дома обеда нет — кошмар!

— А главное, — ответила Стелла, — когда он разговаривает, я просто не могу на него смотреть! Все шевелится — усы, зубы... Зубная техника на грани фантастики.

— Поглядите на цветущую липу, — говорил Энэн, усердно работая лицом. — Вас никогда не поражало, что все эти цветы, в сущности, обречены? В лучшем случае одно семечко из тысячи даст росток, один росток из сотни разовьется в дерево...

— Как это он на липу перескочил? — спросила Элла.

— Поток сознания, — пояснила Стелла.

— Правильность языка, его здоровье, — говорил тем временем Энэн, — создается коллективными усилиями людей, которым не все равно. Страсти, бушующие вокруг языка, — здоровые страсти. Губит язык безразличие. Каждый из спорящих в отдельности может быть и не прав. Творческая сила — в самих спорах. Может быть, одно из тысячи слов, как семечко липы, даст росток... Достоевский гордился тем, что ввел в русский язык новый глагол «стушеваться». Кажется, он ошибся — это слово употреблялось и до него. Но уже несомненно Карамзин выдумал слово «промышленность» — самое живое сегодняшнее слово...

— От двойки до Карамзина, — сказал Маркин, — и все по повестке дня.

— Помолчите, — одернула его Нина, слушавшая Энэна со складкой внимания между бровей. — Как раз когда заходит речь о самых важных вещах...

— О самых важных вещах лучше не рассуждать публично.

— Пошлость, — спокойно сказала Нина.

— Благодарю, — поклонился Маркин.

— И как это он терпит? — тихо сказала Элла. — Я бы на его месте обиделась. А нашей Нине только бы порассуждать, да еще публично. Ей хорошо, у нее старший, Сашка, и покупает и варит. Все равно что бездетная.

Энэн продолжал бормотать все невнятнее:

— Да, семечко липы... О чем это я? Надо так преподавать, чтобы выходила собачка...

— Какая собачка? — спросил Спивак.

— Долго рассказывать. В другой раз, — сказал Энэн и умолк.

— Товарищи, — сказал Кравцов, вставая и одергивая пиджак на выпуклой талии, — мы работаем свыше трех часов. Разрешите мне подвести итоги дискуссии.

Все радостно зашевелились. Итоги — значит, будет все же конец.

— Мы слышали здесь рад темпераментных выступлений: Нины Игнатьевны, Семена Петровича и других. Жаль, не все в этих выступлениях было по существу. Кое-что было преувеличено, излишне заострено. Конечно, критика и самокритика необходимы, но они не должны переходить в демагогию. Позиция деканата правильная. Нас отнюдь не призывают к снижению требовательности, как здесь некоторые пытались представить. Наоборот! Требовательность надо повышать, одновременно добиваясь повышения успеваемости за счет методической работы, мобилизации резервов... Гимн двойке, который тут пропел Семен Петрович, был в высшей степени неуместен...

Спивак выразил протест каким-то гневным междометием, похожим на хрюканье вепря. Кравцов заторопился дальше:

— Да, неуместен. Не воспевать надо двойку, а бороться с нею, изжить это позорное явление. На повышенные требования ответим повышенной отдачей. В условиях вуза борьба за успеваемость равносильна борьбе за качество. Задача подготовки высококвалифицированных специалистов...

И так далее, и так далее. Речь его была как галечник: много, кругло, обкатанно. Преподаватели томились, привычно скучая. Эта скуча входила в ритуал собраний, ее терпели, ловя вожделенный момент, когда голос говорящего чуть-чуть повысится: значит, идет к концу. И в самом деле, голос повысился. Кравцов закончил умеренно-патетической, приличной масштабу собрания фразой и вежливо спросил спящего Энэна:

— Разрешите закрыть заседание, Николай Николаевич?

— Да-да, конечно.

Все начали вставать, одеваться. Женщины натягивали теплые сапоги, прятали туфли в ящики столов. Стелла в безумно расшитой дубленке красила перед зеркалом зеленые веки. Мужчины, выходя за дверь, жадно закуривали. Тут и там от группы перекидывался смех.

В коридоре, грустно ожидая, стояла на своих нескончаемых ногах давешняя блондинка в замшевой юбочке. Увидев выходящих с кафедры людей, она робко выдвинулась вперед. Бледное голодное лицо выражало мольбу.

— Матлогика... — сказала она еле слышно.

— Лев Михайлович, договоритесь о пересдаче, — распо-рядился Кравцов и заспешил по коридору об руку со своим пузатым портфелем.

— Какой предмет? — спросил Маркин.

— Матлогика...

— Да-да, я и забыл. По поводу этой матлогики у нас на кафедре была дискуссия. Большинство (Нина Игнатьевна в том числе) считает, что надо говорить «математическая логика».

— Математическая логика, — покорно повторила девушка. На полголовы выше Маркина, она глядела на него, как кролик на льва.

— Кстати, на дворе Крещение, — сказал Маркин. — Я хочу задать вам классический вопрос. Как ваше имя?

— Люда...

— Этого мало. Фамилия?

— Величко.

— Отлично. Люда Величко. — Он вынул записную книжку. — Буду иметь честь. Вторник, в два часа пополудни. Устраивает это вас?

— Устраивает. Спасибо. До свидания, — поспешило сказала Люда и на рысях двинулась прочь.

— Что это значит? — спросила Нина.

— Я осуществлял свою воспитательную роль, стоя на позиции разумного консерватизма.

— Не консерватизма, а идиотизма. И почему нельзя было договориться с ней раньше?

— Вы же слышали, Кравцов приказал ей обождать в коридоре.

— Кравцов прикажет ей ходить на голове — вы и это будете приветствовать?

— Еще бы! С такими-то ножками!

— Хватит пошлостей!

Она быстро пошла по коридору мимо черных, уличными огнями умноженных окон. Маркин шел следом, слегка прихрамывая. На ходу становилось заметно, что у него одна нога короче.

— Нина, не торопитесь. Позвольте, я вас провожу.

— Не надо.

— Что изменилось со вчерашнего дня? Вчера вы меня терпели.

— Вы мне надоели своим паясничеством.

Пошли молча, она впереди, он за ней.

— Нина, это нечестно, — сказал он вдруг сломанным голосом. — Вы пользуетесь... Ну да что говорить. Она хмуро смягчилась:

— Ладно, идите.

...Лестница мраморная, перила широкие, в три ладони. Как прекрасно было бы кататься на таких перилах в детстве. Вжик — и внизу. Студенты до сих пор катаются...

Она шла легко, чуть скользя по этим перилам перчаткой.

НИНА АСТАШОВА И ЕЕ БЛИЗКИЕ

Холодный ветер гонит-гонит, и такая тревога во всем. Дымные струи поземки мечутся по голому льду. Не люблю зимних свирепых вечеров. Мимо мчатся машины в слезящихся пятнах огней; сливаясь, они превращаются в полосы, лучи, мечи.

Машины — дикие звери нашего городского мира. Пещерные медведи, саблезубые тигры. Человекоядные. Гудеть им запрещено, они мчатся молча, стиснув зубы. Лишь изредка прорывается короткий сдавленный сигнал: это шофер не выдержал, нажал гудок — опасность близка. Я вздрагиваю и вспоминаю Лелю. Любимая моя подруга и, в сущности, единственная, она погибла под машиной шесть лет назад, как раз зимой, вечером, в часы пик. Димке было всего полгода. Разумеется, я его взяла.

Помню, Кирилл, Лелин муж, незадолго перед тем ее бросивший (глупое слово, Лелю нельзя было бросить, как и меня), — Кирилл приехал ко мне разговаривать о судьбе сына. Он даже не скрывал облегчения, когда я сказала: «Беру». Брали то не я, брали мы с Сашей, моим старшим, ему тогда было десять. Я его, конечно, спросила, и он твердо сказал: «Берем». Кирилл думал, что я буду его упрекать, сидел поникший, уронив голову со спутанными редкими кудрями, сквозь которые просвечивала кожа. В юности, светлокудрявый, он был похож на Есенина. А мы в школе увлекались Есениным, томик стихов зачитывали до дыр, до россыпи. Может быть, и Кирилл-то ее привлек своей есенинской челкой, мягко и гибко игравшей на белом лбу. На поверку человечек оказался мелкий, но не в этом дело. Есенин тоже был в чем-то мелок, с цилиндром и перчатками, но в поэзии поднимался до величия...

Погасший, облезший, Кирилл сидел, опустив голову, и мне было его жаль. Уж больно единодушно все его осуждали: «если бы он, была бы жива...» Терпеть не могу эту формулу «если бы...». Кто знает, что было бы? Нельзя по произволу изменять прошлое, вынимать из него отдельные звенья. Прошлое органично растет вместе с человеком и вместе с ним образует будущее...

Кириллу я так и сказала: «Не убивайтесь, в том, что случилось, вашей вины нет». Как он обрадовался, бедняга!

Мы с ним остались друзьями, хотя раньше, при Леле, я его не очень любила. Безотносительно к тому, что он от нее ушел. Упаси бог судить со стороны о семейных неурядицах. Мало ли что там может быть! Какая тоска (физическая, духовная) может погнать человека от одной женщины к другой? С общепринятой точки зрения, бросить жену с грудным ребенком — абсолютно дурной поступок, предел непорядочности. Не знаю, как для кого. Я лично тысячу раз предпочла бы, чтобы от меня ушли, чем из жалости остались. Линия наименьшего сопротивления: лгать, продолжать тянуть. Так что Кирилла я не осуждаю.

До сих пор он иногда заходит поглядеть на сына. Смотрит на него грустно, скованно. В новой семье у него детей нет, да, кажется, и ладу не слишком много.

Димка, конечно, не знает, что дядя Кира ему отец. Я его официально усыновила, дала свою фамилию, а отчество — Григорьевич, как у Саши. Сашиного отца я когда-то очень любила, эта любовь так до конца и не погибла даже в потоке подлостей. Осталась благодарность за бывшее мое неотъемлемое счастье. Гриша, Гришка, Гришастый — до чего же он был хорош, покуда не начал врать...

Из института домой провожал меня Лева Маркин. Зря я с ним резка и зря позволяю всюду за мной ходить — все замечают и над ним посмеиваются. Мои резкости он терпит безропотно (я бы на его месте не стерпела). Конечно, гуманнее было бы прямо сказать ему «нет». Но я не решаюсь, мне страшно остаться без его преданности, без возможности в любую минуту позвонить ему и услышать: «Конечно, все что хотите, когда хотите».

Люди считают меня смелой, а, в сущности, я трусиха. Я не боюсь того, чего обычно боятся женщины: темноты, выстрелов, мышей, техники (сама чиню пробки в квартире). Не боюсь выступать публично, отстаивать свое мнение. В высшей степени не боюсь начальства. И вместе с тем втайне, внутри себя, непрерывно боюсь. Чего? Пожалуй, судьбы, чего-то нависшего, подстерегающего. После гибели Лели боюсь машин. Часто вижу сны — кто-то из детей гибнет под машиной, я кричу от ужаса и бросаюсь туда, под смерть. Просыпаюсь, сердце стучит, слава богу — сон.

Заседание кафедры было долгое, нудное. Докладывала я неудачно. Энэн спал, а потом нес обычную невнятницу. Когда он говорит, остается впечатление, будто кто-то при тебе чешет правой ногой левое ухо. Говорили и другие — каждый о своем. Никто меня, в сущности, не поддержал. Видимо, разговор о двойках, об их причинах и следствиях, попросту изжил себя.

Мою неудачу заметила не я одна. Даже Лева Маркин, не упускающий случая меня похвалить, на этот раз молчал. Шли мы домой молча. Он хромал, я старалась об этом помнить и идти медленнее.

Он довел меня до моего подъезда. Мы остановились, он явно ждал, что я его приглашу зайти (иногда я это делаю). Я не пригласила.

— До свидания, спасибо за компанию. Вы были на редкость разговорчивы.

Шутки он не принял.

Глаза у него были такие горькие, что мне стало не по себе. Надо бы сказать сразу, по-честному: люблю другого, уходите, не мучьте себя. Нет, к этому я, трусиха, не была готова. А может, сказать? Именно сейчас.

Пока я колебалась, он, ссгутившись, стал уходить. Даже не попрощался. Минуту-две я глядела ему в спину, потом потеряла ее в потоке машин. Когда кто-нибудь при мне переходит улицу, у меня всегда екает сердце. Какой-то психоз — вечное это предчувствие беды. Каждый раз, как идти домой, боюсь: а вдруг беда уже случилась?

Вошла — все тихо. Шаги — появился Саша. Неохотно помог мне раздеться.

— Все благополучно? — спросила я. Он кивнул. Отлегло.

Вошла в кухню. Отменная чистота. С помощью чистоты он обычно выражает свой гнев. Я сказала, подлизываясь:

— Ну и ну! Все так чисто и красиво...

Молчит.

В детстве его звали Сайкин. Толстенький, сдобный, глаза как изюминки. Сейчас Саша высок, строен, узок в поясе, широк в плечах. Имени Сайкин терпеть не может, говорит: «Дамское сюсюканье» (и все равно в мыслях я его иначе не называю). Строг, взыскателен.

— Есть хочешь? Обед в холодильнике.

— Спасибо, не хочу.

— В институте обедала? Ну как хочешь.

Строг, строг. И не улыбнется. Догадываюсь: пришел Валентин. Сайкин его не любит и каждый раз дуется — то больше, то меньше.

Вошла в свою комнату — так и есть, Валентин. Спит на моей тахте, ноги свесились, крупная голова глубоко провалилась в подушку.

За что, спрашивается, я его так люблю? Ведь и некрасив, строго-то говоря. Похож на актера Фернанделя огромностью, лошадиностью. Большие грубые губы, лицо костистое, все в выпуклостях. Спит и чуть-чуть всхрапывает. Вероятно, напился.

Да, мой любимый пьет. Еще не алкоголик, но на пути к этому. Путь извилист, усеян розами, терниями и женщинами. Вероятно, я должна была бы вмешаться: что-то запретить, чего-то потребовать. Но этого я и пытаюсь не буду: не мой репертуар.

И еще одна причина есть, по которой я не хочу вмешиваться. В ней мне стыдно признаваться даже себе: очарование пьяного Валентина. Напившись, он никогда не теряет облика. Напротив, становится лучше: такой добреный, веселый, раскованный.

Вспоминаю, как шли мы с ним вместе с банкета в Доме кино. Праздновали прием его картины — прошла на ура (его фильмы всегда либо с треском проваливаются, либо вдруг на ура — середины нет). Ужин был при свечах — новинка моды. Актеры, актрисы, поставленные голоса, тосты, непонятные шутки, смех, от которого качались огни свечей. Я там чужая — не понимаю шуток. Поглядывали на меня с вежливым любопытством. Я даже уловила шепоточки: Софья Ковалевская, синий чулок. Одета я была, по-моему, неплохо, но под их взглядами чувствовала себя замарашкой: то, да не то...

Удивительно, что Валентин взял меня с собой — не побоялся. Жена у него киноактриса, но он ее не снимает из принципа, а она из принципа не ходит на его банкеты. Красивая женщина, куда красивее меня. Рослая, белокурая, авторитетная. Мы познакомились на каком-то закрытом просмотре, про фильм она сказала «сырой». Красивая, безусловно. Кроме жены, у него еще дочь лет четырнадцати, очень высокая, некрасивая, похожая на него, с такими же крупными, но юными, пушком обметанными губами. На эти губы я смотрела с нежностью. Девочка где-то уже снимается; разговор о ролях, о том, кто кого продвигает... Временами, вспышкой, момент импровизированной игры: два-три слова, жест, интонация, намек на улыбку — и тогда видно, что талантлива. В матери я таланта не вижу, одна вескость. Видно, дочка в отца не только лицом, но и одаренностью, которая в Валентине видна с первого взгляда.

В их киношном мире, сколько я поняла, мнение о нем такое: яркий талант, жаль — пьяница. Он сам про себя говорит: «Я не горький, я сладкий пьяница». И правда.

…Как мы тогда шли с банкета. Валентин был пьян и прекрасен. Воплощенная грация. Странно, что при огромном росте, лошадиной голове он так грациозен. Он словно бы не шел по земле, а скользил на воздушной подушке, подныривая на каждом шагу. Пел песни (трезвый никогда не поет). Я восхищалась, на него глядя, его слушая, удивляясь: как это может быть у меня (пусть временно!) такая прекрасная собственность? Вдруг он стал на четвереньки (поза пробуждающегося льва), сказал:

— Не могу больше, зайдем к Сомовым, они нам будут очень рады.

Никаких Сомовых я не знала, а если бы и знала, все равно бы к ним не пошла. Идея зайти к Сомовым сидела в нем крепко, еле-еле я его отговорила от этого визита, подняла. Смеялся, большие зубы выдались вперед, как на лошадином черепе, — страшновато, но прекрасно. Зашли мы с ним в первый попавшийся двор. Валентин ухватился обеими руками за толстую бельевую веревку и повис на ней, раскачиваясь взад и вперед. Подошла собака, обнюхала ему ноги, села напротив, стала скулить.

— Ну что, пес? Трудно тебе? Понимаю. Мне самому трудно. Перебрал я, пес. А ты?

Собака ответила утвердительно тонким подывом.

— Ага! Товарищи по несчастью. Послушай моего совета: никогда не женись.

Собака опять проскулила согласие.

Минуты две-три продолжался их разговор. Мне кажется, они прямо так, без репетиций, могли бы выступать в цирке. Смешнее всего было то, что Валентин, вися на веревке, был слишком длинен и ноги, подогнутые в коленях, скребли по земле. Веревка оборвалась, Валентин приземлился и тут только заметил меня:

— Женщина! Кто ты такая? Вари мне обед, женщина! Впрочем, не надо, я сыт. Уложи меня спать.

— Опомнишь, где я тебя уложу?

— Здесь, под березой. Впрочем, никаких берез нет. Под этим столбом. Очень уютное место.

Лег сам, пошевелился, удобнее устраиваясь.

— Здесь же пыльно, — сказала я. — Ложись на скамейку.

— Нет, я создан, чтобы валяться в пыли.

Заснул. Я сидела над ним, сторожа его сон, глядя, как ветер шевелит редкие волосы над выпуклым лбом, как по-детски полуразинуты крупные губы, опять и опять удивляясь, за что я его так люблю, и все же любя исступленно. Когда стало светать, я его разбудила, вывела на улицу, посадила в такси, дала шоферу адрес. Валентин бормотал: «Женщина, я тебя люблю» — и по ошибке поцеловал руку шоферу. Тот был недоволен, меня осудил: «Такая приличная дамочка и такую пьянь провожают», но, увидев пятерку, смягчился и пообещал доставить в целости. Отвез Валентина туда, к жене...

…Сколько раз за те годы, что мы с ним не скажу «любим друг друга», скажем «близки», — сколько раз спал он в моем присутствии, в моем доме, в моей постели, но ни разу не оставался на ночь. Ночевать он уходил к жене. Были и другие женщины, кроме жены и меня. Он этого нисколько и не скрывает. И все-таки что-то тянет его ко мне. Приходит с поразительным постоянством. Целуя меня, говорит: «Я тебя люблю сейчас — навсегда».

Бедная Леля! Пока была жива, все пыталась меня разуметь:

— Ну что ты с ним связалась? Вульгарнейший человек. Валентин Орлеанский! Разве человек со вкусом выберет себе такой псевдоним?

Я молчала. Разумеется, его настоящая фамилия Орлов куда благороднее. Что поделаешь! Люблю такого, а не другого. Не благородного, не верного, не рыцаря «Круглого стола». Его и только его.

— Ну что ты в нем нашла?

— Я его люблю. Это я нашла не в нем, в себе.

— Он тебе изменяет.

— Знаю. Ничего нового ты мне не сказала. Кстати, он не мне изменяет, а своей жене со мной и с другими.

— Ты для него ничего не значишь. Неужели у тебя совсем нет гордости?

— Есть у меня гордость. Она в том и состоит, чтобы никогда ничем его не попрекнуть.

— Ну знаешь... Не нахожу слов.

Бедная Леля!

Впрочем, что значит бедная? Почему-то принято, говоря об умерших, называть их бедными. Бедные не они, а мы, оставшиеся. Бедная я без Лели. После ее гибели моя жизнь как-то расшаталась, словно из нее вынули стержень.

Мы были вместе с того дня (в третьем классе), когда она подсела ко мне на парту и сказала: «Давай дружить». Я обомлела. Я не верила, что кто-нибудь со мной захочет дружить, не то что Леля — любимица класса. Белоокрая, стат-ненькая, глаза серо-синие. Девочка-струнка, воительница за правду. На все отзывалась, во все вмешивалась.

А я была чумазая, этакий заморыш, руки в цыпках. Росла сиротой — отец погиб на войне, мать умерла в эвакуации, воспитывалась я у тетки из милости. Хуже всех одетая, от всех стороной-стороной, и вдруг такая принцесса подходит и предлагает: «Давай дружить». Было от чего обалдеть.

После этого — всегда вместе. Вместе готовили уроки (Леля училась куда лучше меня). Вместе ходили в госпиталь, помогали сестрам — уже тогда у Лели возникло твердое намерение стать врачом. Делились всем, что у нас было (у Лели было больше, чем у меня, но никогда ни разу мне не было трудно что-то у нее взять). Вместе праздновали конец войны, ходили на Красную площадь. А потом вместе влюбились в одного и того же мальчика из соседней мужской школы, плакали от великодушия, уступая его друг другу, а он взял да и влюбился в Наташку Брянцеву, известную воображалу (Леля сказала: «Хорошо, что не в нас»).

Окончив школу, мы пошли разными путями: она на медицинский, я на мехмат. Но все равно оставались вместе. Я знала, что есть она, и мне легче было жить. Ей, наверное, тоже. Мою путаницу с Гришей мы пережили, обговорили вместе. И когда Кирилл ушел от нее к другой женщине, старше себя, я была с Лелей. Вместе пеленали Димку. Маленький, он был лыс и изящен, как французский король. «Севрский мальчик», — сказал про него Валентин.

После гибели Лели я не могла опомниться, не спала по ночам, брала на руки Димку и носила по комнате, так мне было страшно. Прошло месяца три, и тут оказалось, что я беременна, и поговорить мне было не с кем. Первый раз в жизни я оказалась одна перед сложностью. Мысленно обговорила ее с Лелей — она посоветовала оставить. Я сказала Валентину: вот, мол, какое дело. Он чуть-чуть призадумался и произнес:

— Так они и жили. Спали врозь, а дети были. Как мы его назовем?

— Иваном.

— А что? Это идея. Пусть будет Иван. Помнишь, у Пушкина: «Нарекают жабу Иваном...» А если девочка?

— Исключено.

Почему-то я твердо была уверена, что родится мальчик. Так и вышло.

Ну не безумием ли было заводить еще сына? Димке девять месяцев, а тут уже Иван на подходе. И все-таки Иван был нужен. Тому же Димке сверстник, товарищ.

Сказала Сайкину — я всегда с ним советовалась во всех делах. Он отнесся ответственно, обещал помочь, сказал, что в некотором смысле с двоими даже легче, «они будут замыкаться друг на друга». Носили в ясли сразу двоих — я Димку, а Сайкин Ивана. Потом пришлось поменяться: младший стал тяжелее старшего. Рост он толстый, румяный, голубоглазый, «oval лица в другую сторону», как говорил Сайкин. Димка, напротив, весь нездешний, прозрачный, светлокудрый. Одевала я их одинаково, любила одинаково, даже за Димку больше болела душой. И до сих пор в вечной моей тревоге — ожидании беды — Димка на первом месте; может быть, потому, что Иван сокрушительно здоров. Все у него проявляется бурно и звучно: хохот, торжество, гнев, обида. Димка полная ему противоположность: часто болеет, терпелив, вечно думает какую-то свою абстрактную думу. «Мальчик с камушком внутри», — говорит о нем Валентин.

Не знаю, как бы я справлялась с этой парой, если бы не Сайкин. Для младших братьев он вроде отца: строг, справедлив, взыскателен. Называют они его Александр Григорьевич — в глаза и за глаза. Когда он водит их в детский сад (это его обязанность, как, увы, и хозяйство), то по дороге внушает им правила поведения. Если кто-то не слушается, берет его за шиворот и встряхивает (это у них называется

«потрясение»). Мальчики боятся брата больше, чем меня. «Ты известная оппортунистка», — ворчит Сайкин, когда я, прия с работы, не тороплюсь чинить суд и расправу, ловлю минуты простой, невоспитательной, материнской любви... Вообще Сайкин на меня смотрит свысока: «Типичная женщина, хотя и доцент». Считает, что распустила всех — Валентина, Димку, Ивана...

Сегодня, по счастью, судоговорения не было: я пришла поздно, мальчики уже легли спать. За своевременностью их отхода ко сну Сайкин следит неукоснительно: ставит будильник на половину девятого, и если Димка с Иваном еще не в постели к моменту звонка, штрафует их на конфеты или мороженое. Какая-то у них сложная система наказаний и поощрений, в которую я не вникаю...

...Я сидела, гладя на спящего Валентина, но думая о своих детях, прежде всего о Сайкине, который сейчас, после всех дневных забот, готовит уроки на кухне. Какое я имела право сбросить свои заботы на мальчика? А теперь поздно, он уже вошел в роль.

У него с братьями общая комната, так называемый мальчишатник, и там есть письменный стол, за которым он вполне мог бы заниматься. Но, видите ли, Димка не может спать при включенном свете: говорит, что у него кошмары. Слово «кошмары» он так жутко растягивает, что остается только взять его за худую спинку, прижать к себе и растрогаться. Димка худ неслыханно, неимоверно. Особенно жалко на него смотреть, когда он в трусах. «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился», — сказал однажды Сайкин, глядя на голую спину с торчащими лопатками... Непонятно, где там, в этом узеньком теле, умещается его неистощимо изобретательная душа. В их с Иваном совместных «болванствах» Димка всегда зачинщик, организатор, Иван — исполнитель, но творческий. Смолоть в мясорубке свечку, утопить ковер в унитазе, разъять пылесос на части и сделать из них рыцарские доспехи — это все «болванства», и идея всегда исходит от Димки («Я придумал мысль», — говорит он). После того как «болванство» обнаружено кем-нибудь из власти имущих (мной или Сайкиным), Димка норовит уйти в тень, а Иван смело подставляет широкую грудь (вернее, широкий зад). Я вообще-то мальчишек не бью, а Сайкин, бывает, и поколачивает. На его расправу они никогда не жалуются, а на мою (редкую) жалуются ему.

Называют они друг друга «дурак». Это не ругательство, просто обращение. «Эй, дурак!» — кричит один. «Что, дурак?» — отзыается другой без всякой обиды. Настоящие ругательства тоже у них в ходу. Откуда только они их таскают? Детский сад, не иначе (ланкастерская система взаимного общения). Был ужасный период — ни мои, ни Сайкина усилия не помогали, матерятся — и все. Потом, к счастью, забыли.

Одно время начали покуривать. Обнаружилось это случайно. Пришла я домой неожиданно рано (какое-то мероприятие отменили); на дворе весна, воробы распушились. Предложила ребятам пойти погулять. Полный восторг — прогулка с матерью, помимо всего, означает мороженое. Велела надеть вместо валенок резиновые сапоги. Что-то замешкались.

— Ты пальцы-то поджимай, поджимай! — шепотом говорит Димка. Иван пыхтит:
 — Не поджимаются.
 — Сильней поджимай! Ногу складывай пополам!
 — В чем тут у вас дело? — спросила я.
 — Ни в чем, — невинно говорит Димка. — Наверное, нога у него выросла.
 — Одна нога? Что за глупости! Дайте-ка сюда сапог! Пришло дать. Внутри сапога я обнаружила смятую пачку папирос «Север».
 — Что это такое?! — грозно.
 — Ничего, — вопреки очевидности ответил Димка.
 — Папиросы, — честно сказал Иван.
 — Вы что ж, негодяи, курите?
 — Курим, — сокрушенно признался Иван.
 — И давно?
 — Два раза, — сказал Иван. — И еще два.

Я призвала — о малодушие! — Александра Григорьевича. Оказалось, он знает, что мальчики курят, но за уроками и другими делами ему пока недосуг было этим заняться.

Курящие дети! Ужас!! Я обрушила на головы мальчиков все свои громы и молнии, пообещала им

раннюю смерть от никотинного отравления, пачку «Севера» скомкала и выбросила в мусоропровод — мальчишки ревели так, словно хоронили близкого человека. Потом мы арестовали оба велосипеда, водрузив их на полати, торжественно лишили преступников всех сладостей до Первого мая, загнали, их в мальчишатник и стали обсуждать происшествие. Сайкин отнесся к нему куда спокойнее меня («В этом возрасте все курят»), но божился, что у мальчишек есть еще в заначке запас курева («Не так бы они ревели, если бы пачка была последняя»). Вызвали преступников для объяснений. Иван (видимо, искренне) ничего о запасах не знал, а Димка финтил, выкручивался, но под перекрестным допросом раскололся и вынес откуда-то еще две пачки «Севера». Потом оказалось, что раскололся он ровно наполовину: еще две пачки утаил, Сайкин случайно нашел их в наборе «Конструктор»...

А драки? Бог мой, каких только драк у нас не бывало! И врукопашную и с оружием — на сапогах, на кастрюлях, на стульях... После одной грандиозной драки, когда в ход были пущены вилки и была пролита (в небольшом количестве) кровь, я потеряла управление, надавала обоим пощечин и заперла в мальчишатник, крикнув страшным голосом: «Навеки без драк!» Это, видно, возымело действие, и добрый час после этого в мальчишатнике царила тишина настолько полная, что я даже забеспокоилась, не случилось ли чего. Вошла — оказалось, мальчишки дерутся, но совершенно безмолвно: держат друг друга за щеки и молчат...

Когда мальчики уличены в каком-то преступлении, отруганы и наказаны, в качестве парламентера выступает обычно Иван. В этой роли он неотразим: честные голубые глаза, розовые щеки, весь нараспашку. Иван просит прощения, а Димка откуда-то из-за двери бубнит:

— Разве так просят? Жалобнее проси, жалобнее...

Валентин зашевелился, и я вынырнула из потока мыслей. Он открыл глаза, обнял меня за шею и притянул к себе.

— Милая! Наконец-то пришла! Я уже начал беспокоиться.

Рука была железная, но родная. Я сидела пригнувшись, щекой ощущая его небритость, чувствуя дыхание выпившего человека. Он мне был хорош в любом виде. Мне было отрадно в его руке, только трудно дышать, и я выпрямилась.

— Как он? — спросил Валентин.

«Он» означало Иван. Я насторожилась, отодвинулась. Для меня не было Ивана в единственном числе, отдельно от Димки. Обычно Валентин понимал это, не делал между мальчиками различий, а сейчас, видно спросонья, спутался. Сразу понял, в чем дело, и заговорил про обоих мальчиков. Хочет их снимать в своей картине. Роли чудесные. Я колеблюсь, не знаю, хорошо это или плохо. Скорее всего, плохо, но мне этого очень хочется. Детство проходит, фотографии не живут, а кинофильм с голосами, движениями остается. Как я жалею, что нет фильма с маленьким Сайкиным! Он совсем от меня заслонился теперешним стройным юношей.

— Я тебя люблю, — сказал Валентин.

— Сейчас — навсегда? — спросила я, улыбаясь.

— Ну, как обычно.

Что замечательно в Валентине — это что он не врет. Пьет, но не врет. Питье я могу вынести, вранье — нет.

ЛЮДА ВЕЛИЧКО

Люда Величко родилась и росла в провинции, в одном из среднерусских неперспективных городков. Одна фабрика, лесопильный завод, вязальная мастерская, комбинат бытового обслуживания. В так называемом центре — несколько каменных зданий. Полуразрушенная церковь со срезанным куполом, превращенная, как водится, в склад; вокруг нее кладбище с железными крестами и бумажными розами. Ленивая, медленная река с мутной черной водой, отравленной фабричными стоками. Рыбы в реке давно не водились; камыши и те не стояли, а лежали, пригнувшись, как сломанные. Старые ивы по берегам тоже почти лежали, вот-вот свалятся в воду; их стволы были изрезаны именами и буквами. Иногда на какой-нибудь из веток сидел мальчик с удочкой, без всякой надежды на поклевку опустив ее в воду. У самого берега шевелились пиявки.

Медленное детство; домик деревянный, покосившийся, обнесенный щербатым штакетником. За калиткой на улице узловатый дуб. Стук желудей, падающих на пыльную землю. Кусты рябины в садике, желтые листья по осени; летающая, льнущая к лицу паутина. Куры, купающиеся в пыли. Мать, измученная, с сумкой через плечо (работала почтальоном). Отца Люда не помнила, мать поднимала ее одна, днем разносила письма, газеты, вечером копалась в огороде. Солила огурцы с укропом, чесноком, тмином, дубовым листом. Пряный огуречный запах больше всего запомнился: руки матери.

Люда росла, и город рос, но как-то вяло, с запинками. Назначенные к сносу дома не сносились, новые строились медленно, сдавались с недоделками, временные уборные так и оседали во дворах. «Гнилые Черемушки», — говорили про эти дома местные остроумцы. Горожане не очень-то охотно туда переселялись из своих дедовских хибар. Тут все под рукою: и огород, и картошка, и куры. А там одна слава «удобства» — вода сегодня идет, завтра нет. А во дворе-то помойки, ничьи собаки, сараи, сараи, и на каждом замок. В новых домах селились больше не старожилы города, а приезжие.

Через реку паромом горожане ездили на базар, где можно было купить молоко, тыквенные семечки, кудель и рассаду. Снабжение в городе было неважное, продмаги почти пустые, одни рыбные консервы, горох, карамель, шоколад, посеревший от старости. За всем остальным ездили автобусом в соседний райцентр, а то и дальше. С культурным обслуживанием тоже было неважно: киномеханик пьянистовал, путал серии, а то и совсем отменял сеанс. Собравшиеся топали ногами, свистели и нехотя расходились.

Выше городка по течению, километрах в трех, располагался профсоюзный пансионат «Ласточка» с пляжем, пестрыми зонтиками, визгами упитанных купальщиц. Там по воскресеньям играл духовой оркестр, и его звуки доносились до городка ритмическим буханьем. Зимой пансионат замирал, кто-то там жил, но тихо.

Люда нигде не бывала, кроме своего городка, а остальной мир представляла себе по книгам и кинофильмам. Из всего этого составился у нее в воображении образ какой-то другой, нездешней, яркой жизни. Были там ограды, перевитые плющом и розами, беседки, павильоны, лестницы, мягкими уступами спускающиеся к реке, белые лилии на воде, ослик с двумя корзинами ни бокам, смеющиеся, белозубые ярко одетые люди. Все это, никогда не виденное в жизни, было тем не менее вполне реально. Где-то, не здесь, оно должно было существовать.

В школе Люда училась хорошо, хотя отличницей не была. Только по математике у нее были все пятерки. Математичка Зоя Петровна ставила ее в пример другим за «логический склад ума». Было это преувеличением: никакого склада ума у Люды Величко не было, только живое воображение, неплохая память и любовь к нездешнему (оттуда, из другого мира, были красивые слова: апофема, медиана, тангенс). В старших классах она увлеклась астрономией. Заучила названия всех созвездий, всех крупных звезд нашего северного неба. Осенью звезды светились ярче, она выходила на свидания с ними, кутая плечи в материин рваный платок. Над горизонтом вставал Орион со своим косым поясом и вертикальным мечом; позже него всходил блестательный Сириус (альфа Большого Пса), сиявший как тысячекратно усиленный, в точку обращенный светляк.

В школьной комсомольской ячейке Люда была акти-висткой, ездила на село с докладами о звездном мире, космосе, космонавтах. Колхозники слушали ее охотно: белокурая, миловидная девчушка была трогательна со своей мудреной наукой. Танцевала в самодеятельности, проявила способности, имела успех; одно время танцы чуть было не перевесили астрономию, но в девятом классе Люда начала очень быстро расти, стала выше всех в школе. Руководитель танцколлектива вынужден был ее отчислить: «Не смотришься ты, Величко, на сцене». Надежду на танцы пришлось оставить, целиком переключиться на математику с астрономией. Для некоторых девушек наука вроде прекрасного принца: явится, женится, увезет.

Окончила школу неплохо — на четверки и пятерки. Мать надеялась, что пойдет работать — все малость полегче станет, можно будет купить поросенка. Но Люда решила иначе: «Поеду в Москву учиться на астронома». Мать огорчалась, но на своем не настаивала: «Езжай, дочка, тебе жить, не мне». Насолила огурцов, помидоров, закатала в банки. Потом Люда намаялась с ними — негде хранить.

Москва с первого взгляда ей совсем не понравилась. Серое небо, серый, задымленный воздух. Огромные дома, мчащиеся машины, бегущие люди. Все торопятся. В метро даже лестницы бегут. Поначалу Люда никак не могла переступить гребенку, а сзади торопят: «Проходите, девушка, чего

встали!» С трудом добралась до университета.

Подала заявление на физфак (оказалось, именно там учат будущих астрономов). Держала экзамены, не прошла по конкурсу. Даже математику сдала на три, уж не говоря о сочинении «Образы народа в творчестве Н. В. Гоголя». Что делать? Домой ехать стыдно. Спасибо, надоумила соседка по общежитию для иногородних: подать в технический. В университет сдают в июле, а туда в августе. Растропная, не первый раз поступает, говорит: главное — не падать духом. И институт посоветовал, где, говорят, математика неплохо поставлена. Люда послушалась, свезла туда документы, опять держала экзамены, падая с ног от усталости и недоедания, но на этот раз удачно: конкурс прошла. Выбрала она факультет АКИ (автоматика, кибернетика, информация), потому что все эти слова ей очень нравились, особенно «кибернетика». Она по наивности думала, что сразу же начнет проектировать роботов. Однако на первом курсе роботами и не пахло: только математика, физика и другие общеначальные дисциплины.

Институт был огромный, надстроенный, перестроенный, перенаселенный, в нем она поначалу бродила как в лесу, потом привыкла. Понравилось ей то, что многие девушки были с нею одного роста, если не выше; называлось это модным словом «акселерация», которое Люда здесь услыхала впервые. Студенты, акселераты и акселератки, целыми взводами ходили по коридорам, среди них преподаватели терялись, как мелкая поросль. Люда, у себя в городке стеснявшаяся своего непомерного роста и ходившая чуть пригнувшись, здесь расправилась.

Учиться ей сначала было трудно. Математической подготовки, полученной в школе, явно тут не хватало. Трудна была и лекционная система. В школе все было ясно: изложение — повторение — закрепление. Здесь не повторяли и не закрепляли, только излагали. Упустишь что-нибудь — не восстановишь. Лекторы — профессора и доценты — какие-то неприступные, говорят сложносочиненными предложениями, не поймешь, где главное, где придаточное. Шуток их, на которые дружным смехом отзывался зал, Люда не понимала: что тут смешного? Словом, трудно. Усердная, она занималась целыми днями, вечерами, иногда и ночами, но успехов не получалось.

А вот с общежитием ей повезло: попала в двухместную комнату со своей однокурсницей Асей Уманской, толстой, усатой девушкой с красивыми черными глазами и маленьким ртом. Ася — отличница, золотая медалистка — все решительно знала и умела объяснить лучше всякого преподавателя. Преподаватель чем плох? Сидит где-то у себя на высоте, и ему невдомек, чего студент не понимает. Ася, хоть и отличница, всегда понимала, что именно Люде неясно.

Комната у них восьмиметровка, длинненькая, но уютная. Над Людиной койкой карта звездного неба, над Асиной — репродукция с картины Рембрандта «Блудный сын». Люда не понимала, чем Асе эта картина нравится, — одни пятки.

Жили дружно, много занимались. Обедали в институте (плохо и дорого). Вечером чаевничали, кипяток брали в титане. Купили чайник, плитку, кастрюлю, сковороду. Когда очень уж надоедала столовская пища, готовили что-нибудь дома. Вообще-то плитки в общежитии были запрещены (противопожарная безопасность), но фактически у всех они были. Так обычно обходятся явочным порядком глупые запреты.

Иногда заходили к ним гости — девушки с курса, а иной раз и кто-нибудь из ребят заявится. В принципе это тоже запрещалось (мужское и женское общежития были по-монастырски разобщены), но дежурная не всегда могла отличить, где парень, где девка. Кто их теперь разберет — все высокие, длинноволосые, в джинсах. Не раздевать же. Разве по ногам отличишь: у парней они больше.

Соседки по общежитию, разбитные, бывалые девчата, научили Люду, как причесываться, как одеваться, чтобы быть современной. Распустили по спине волосы, подстригли лесенкой, челка до бровей. Подсиинили ей веки, научили «держаться стилем» (ноги от бедра под углом тридцать градусов, одна вбок, другая прямо). В таком виде она стала не хуже других, а многих и лучше.

Сессию, как говорят, прокатила на троичках. Матери не написала, что лишилась стипендии. Жили на Асину повышенную плюс те посылки, которые Людина мать присыпала: огурцы с помидорами, маринованные грибы, черная смородина — витамин. Это у них называлось «дары русского леса». Иногда обедали одними дарами (хлеб в столовой, слава богу, давали бесплатно). Люда от полуголодной жизни похудела, а толстая Ася ничуточки.

Летом поехали добровольцами на стройку в Сибирь. Выдали им красивые защитные комбинезоны с

сине-белой надписью поперек спины (название стройки). Люда ждала многоного от этой поездки, но была разочарована. Тайга ей не понравилась, по книгам она ее себе другой представляла — хвойной, величественной, сосны и кедры один к одному. А оказалась она неприглядной: лес лиственный, низкорослый, непролазный, всюду завалы, гниль, корыте, топи. Поляны, правда, красивые: жирные травы по грудь, а в них цветы, крупные, восковые, красоты небывалой — жаль, непахучие. Хуже всего комары. Чуть отойдешь от реки, где ветер всегда подувает, шагнешь в тайгу, а там целые полчища. Лезут в глаза, в уши, в рукава, за ворот. Брезент и тот прокусывают. Не комары — волки.

Работалось ничего, хотя и трудно. Студенты дробили камни, месили раствор, таскали бревна, гатили дороги — девушки наравне с парнями, тут не до рыцарства, давай-давай. Жили в палатках, комаров оттуда выкуривали дымом. По вечерам жгли костры, бацали на гитаре, пели песни про романтику. Но, сказать по правде, никакой романтики не было. Какая тут романтика — комары. Бьешь да бьешь себя по щекам, по шее. И никакие средства не помогают — может быть, они не от здешних комаров. Единственное, чего они боятся, это бритвенного крема, и то пока не просох.

Повкалывали месяц, устали, конечно, здорово, зато и заработали прилично. Потом разъехались отдыхать — Ася к родителям на Украину, а Люда к матери в родной городок.

Там все было по-прежнему, но Люде показалось как-то милее, отраднее. Даже горбатые улицы чем-то трогали. Так же, как в детстве, падали желуди с дуба на землю, так же возились куры в пыли, слушая вежливое кокканье белого петуха... Но теперь, когда Люда знала, что это ненадолго, тишина знакомого захолустья ей даже нравилась. Редко-редко по улице проходила машина, и петух удивлялся, глядя вбок оранжевым глазом.

Мать рада была без памяти, не знала, чем и ублажить дочку-студентку. Даже на юбку мини и синие веки только косилась, ни слова не говоря: надо так надо. Первые дни Люда отдохала, отъедалась, лечилась от комариных укусов. Потом, придя в норму, начала выходить. Зашла к Зое Петровне, школьной учительнице. Рассказала про свой институт, невольно преувеличивая его «кибернетичность». Так и сыпала звучными словами: Алгол, Фортран, оперативная память, подпрограмма, цикл... Зоя Петровна слушала и только глазами хлопала: вот до каких высот добираются ее ученики!

Встретила на улице кое-кого из бывших соучениц. Работали кто где: на фабрике, в мастерской, в магазине. Самая выгодная работа в магазине, но туда только по блату можно попасть. Зарабатывали все прилично, одеты были не хуже ее, разве что подолы подлиннее и веки не крашены, да это пустяки, дело наживное. Одной бывшей закадычной подруге Люда подарила помаду для век, другие завидовали. Московская Людина жизнь казалась отсюда сказочной — Люда и сама начинала потихоньку в это верить.

Отдыхала ничего — ходила с подружками в «Ласточку», купалась, загорала. Однажды на пляже подобрался к ней парень, на вид симпатичный, в импортных плавках на руке часы плоские, модные. Лег рядом с ней на песок животом вниз, завязал разговор. Люда сначала помалкивала, потом начала отвечать. Поговорили о том о сем, зовут Гена, профессия неопределенная («Деловой человек», — сказал он). В «Ласточке» оказался случайно, по горящей путевке, пансионат дрянь, не стоило ехать, бабы — одна другой старше, одна другой толще. Рассказывал об Адлере, Сочи, Закарпатье — Люда и уши развесила, слушая про красивую жизнь. Гена поглядел на ее ноги, сказал: «А ты ничего чувиха!» — и пригласил вечером на танцы. Люда, акселератка, стеснялась своего роста (парень был невысок), но согласилась. Вечером встретились на танцплощадке. Ветер разевал серпантинные змеи, звезды плыли по реке. Оркестр играл старомодные танцы — вальс, падекатр, танго. Люда вспомнила дни самодеятельности, танцевала с увлечением, он — небрежно, снисходя. Предложил: «Твистанем?» В Москве девочки научили Люду и твисту, он уже выходил из моды, но тут она робела: никто на всей площадке не твистовал. «Ничего, — сказал Гена, — пошли!» И пошли, да как! Махали локтями, коленями, приседали чуть не до земли. Тут подошел милиционер, вежливо взял под козырек и предложил уплатить штраф «за некорректное исполнение танцев». Люда перепугалась (у нее и денег с собой не было), но Гена отвел блюстителя порядка в сторону и о чем-то с ним договорился, тыча пальцем в ладонь. Вернулся, сказал «все о'кей», предложил опять танцевать. Но у Люды как-то пропала охота. К тому же стало прохладно, от реки потянуло сыростью, ей захотелось домой. Гена вызвался ее провожать, сказал, что знает самый короткий путь, с дороги завел ее в лес и там в кустах начал к ней

приставать. Люда отбивалась, вырвалась из его рук и со всей своей силой акселератки стукнула его в глаз. Он, матерясь, дал сдачи; подрались, сила оказалась на ее стороне (била сверху). Он прорычал: «Ну берегись, падла, подстерегу тебя с перышком!» Люда ринулась прочь, прорвалась сквозь кусты на дорогу, он за нею не гнался. Но она все-таки бежала как угорелая. Исцарапанная, избитая, в разорванном платье, бежала и плакала. Вот тебе и красивая жизнь...

Несколько дней Люда отсиживалась дома, стыдясь своих синяков (Генка таки отдал ее неплохо). Матери сказала, что упала, ушиблась. «Что ж тебя по дороге, что ли, катали?» — «Так, вышел один разговор», — ответила Люда.

Генка не показывался. В «Ласточку» больше она не ходила. А там подошел и срок отъезда. Быстро прошел отпуск и бестолково: первую половину лечилась от комаров, вторую — от синяков... С удивлением заметила, что соскучилась по институту, по товарищам, а главное, по Асе. Там, в общежитии, теперь был ее настоящий дом.

Мать провожала ее на вокзал — низенькая, худая, с серым лицом. Плакала, обнимая дочь на прощанье. У той тоже глаза были на мокром месте. Но стоило ей оказаться в вагоне — все мысли были уже дома, в Москве.

В институте все было по-старому, разве что в общежитии шел ремонт и титан не работал. Ася вернулась еще толще, чем была. Люда обрадовалась ей ужасно, в первый же вечер поделилась насчет Генки. Ася сказала: «Сама виновата, нельзя так, познакомилась — и сразу идти».

Начались занятия. Люда училась успешней, чем в прошлом году, конечно, с помощью Аси, но и у самой у нее появились нужные навыки. Начала понимать что к чему, какое задание надо делать, а какое необязательно. Научилась сваливать контрольные, умело пользуясь шпаргалкой, готовиться к лабораторкам, долбить на память важные формулы, не вникая в их смысл. Так называемый учебный процесс она воспринимала как некий ритуальный танец со своими правилами, никакого отношения к научным знаниям не имеющий. Важны были другие знания: кто что спрашивает, кому как отвечать (один любит сразу, другой — подумавши), как легче заучить наизусть формулу или формулировку... Для этого передавались из уст в уста какие-то самодельные стишкы с нужными сочетаниями букв. Всему этому научилась Люда, так же как горожанин выучивается переходить улицу, избегая машин.

Подошла зимняя сессия. Люда начала ее хорошо — без троек. И вдруг как снег на голову — двойка по матлогике! Уж как она ее, проклятую, выучила! Спереди назад и сзади наперед — от зубов, как говорят, отскакивало! И Ася проверяла — все, говорит, хорошо, четверка как минимум. Отчего же на экзамене так растерялась? Наверно, из-за Маркина, странный человек, все шутит. Говорит замысловато, какими-то петлями. Люда вообще преподавателей боялась, а Маркина особенно. Никак не понять, что ему надо. Скажешь ему точно по книге, а он: «Что вы имеете в виду?» Она опять по книге, а он: «Расскажите своими словами». А какие могут быть свои слова в матлогике? Она и так и сяк, а ему все не то. Так и прогнал. Приходите, говорит, после сессии. А что у Люды стипендия погорела, это его не касается. Вредные они все-таки, преподаватели!

С такими мыслями Люда вошла в комнату № 387. А там шло заседание кафедры. За столом спал сам заведующий — смешной старикиш. А его заместитель Кравцов, самый главный, ткнул в Люду пальцем и сказал, что она типичная двойка и что из-за таких, как она, им приходится долго сидеть. Велел обождать в коридоре. Ждала-ждала... Потом вышел Маркин с какой-то чернявой старухой, ну не старухой, а пожилой, и начал над Людой по-своему издеваться: «Как ваше имя?» Из «Евгения Онегина».

Люда шла домой, утирая слезы варежкой. Чувствовала она себя без вины оскорблённой, оплеванной. Ну поставь двойку, если так уж нужно тебе, но зачем издеваться? Как будто студент — не человек.

Ася — толстая, черноглазая — встретила ее улыбкой:

- Людка, ну ты и даешь! Где была?
- В коридоре. Ждала Маркина.
- Только-то? А я думала, опять с каким-нибудь Генкой. Ну как, назначил?
- Угу. На вторник.
- Ладно, подготовимся. Садись, пей чай.

Каждый праздник, получая поздравительные телеграммы, профессор Завалишин читал в них стандартные пожелания «успехов в работе и личной жизни». Работа-то была. Успехов в ней пожалуй что не было. А личная жизнь? Если и была, то состояла главным образом из воспоминаний и размышлений. Что ж, в его возрасте это естественно.

Жил он размеренно и однообразно, недалеко от института, в большом вычурном доме эпохи так называемых архитектурных излишеств. И в самом деле, чего там только не было накрученено! Колонны, галереи, лоджии, арки, венки, медальоны — все вместе это смахивало на гигантский каменный торт. Подъезды, обширные как паперти, резные дубовые двери со львиными мордами, держащими кольца в зубах. Словом, чтобы все было, как прежде у богатых людей.

Задумано было как будто на века, а на деле излишства оказались крайне непрочными. Уже через два-три года после постройки и заселения дом, как говорится, пошел прахом. Цементные столбики выкрошились, обнажив ржавый каркас, загогулины обвалились, ступени лестниц просели и частично обрушились. Спускаясь по этим щербатым ступеням, особенно зимой в гололед, Энэн каждый раз горьким словом поминал архитектора (торжественней — зодчего), который ради величия лишил лестницы обыкновенных перил. Впрочем, виноват ли был зодчий? Вряд ли он, проектируя дом, входил в психологию старика, которому, спускаясь по лестнице, надо за что-то держаться. Город вообще жесток к старикум.

Время от времени в связи с какой-нибудь датой ЖЭК срочно проводил «косметический ремонт» — громоздил доски, леса, ведра, кое-как замазывал цементом щербины и щели — ненадолго, лишь бы как-нибудь. В обычное время, между датами, дом стоял страшноватый, как престарелая кокетка с офорта Гойи. К проживанию он был мало приспособлен, главным образом из-за шума. Обращенный всей своей парадностью на крупную магистраль, он день и ночь выбирал, вторя потоку мчащихся мимо машин. Оконные рамы дрожали, посуда подпрыгивала, с потолка сыпались хлопья побелки. Зимою заклеенные окна чуть-чуть умеряли шум; летом он становился невыносимым. Из четырех комнат квартиры обитаемыми были, в сущности, только две, самые маленькие и темные, выходившие окнами на двор; в одной жила соседка Дарья Степановна, в другой сам Энэн. Две большие комнаты, окнами на проспект, как говорил Энэн, были заняты шумом. Он, впрочем, привык к своему дому и даже в каком-то смысле его любил. Так, вероятно, старый дуб ощущает свои мозолистые, выпершие из земли корни.

...Глубокий двор за окном. Там, внизу, время от времени светит солнце непрямым, уклончивым светом, готовым в любую минуту пресечься. Тени домов ждут наготове. А на асфальте — жизнь. Дети крутят скакалки, играют в классики. Ряд прямоугольников, неровно начертенных мелом, — в его детстве они процарапывались стеклышиком по земле, асфальта тогда не было, земля дышала, голая, со своими песчинками, крошками кирпича, влажная от дождя или сухая от жары — в общем, живая. В классики тогда играли его сестры, девочки-близнецы, Надя и Люба; ему, мальчику, играть в них не полагалось. Он с завистью смотрел, как они прыгали на одной ножке, неся на носке башмачка кидалку-стеклышко. Не дай бог уронишь — все пропало!

Теперь все по-другому. В классики играют не только девочки, но и мальчики. Оба пола вперемешку топчутся вокруг меловых фигур, прыгают, толкаются, спорят. Вместо стеклышка банка из-под гуталина, ее не несут, а толкают ногой...

Энэну почему-то очень важно было знать, какие теперь правила игры и как они изменились за полстолетия с лишком. Он все хотел узнать, расспросить, но не решался. Боялся испугать детей своим видом, говором, дергающейся щекой. Он молча останавливался неподалеку и следил за игрой, пытаясь воссоздать ее правила по крикам и спорам, — безуспешно. Но вот однажды он расхрабрился и вступил в разговор. Прыгала девочка, очень маленькая, размером с пуговицу, но бойкая, кудрявая и речистая. Одета она была в школьную форму, замурзанную и мятую (один по идеи белый, но грязный манжетик болтался у рукава в ритме прыжков — вот-вот оторвется). На Энэна, наблюдавшего за ней со стороны, она то и дело оборачивалась. Взгляд ее ярко-серых глаз был такой озорной и дружеский, что он не выдержал и спросил:

- Как вы играете в классики?
- Как? Обыкновенно, как все.

— Видишь ли, я очень старый, — сказал Энэн, шевеля щекой. (Девочка кивнула: мол, вижу.) — Когда я был маленьким, рисунки были другие и правила другие. Ты мне объясни, пожалуйста, ваши теперьшие правила.

Девочка остановилась и затараторила:

— Первая, вторая — простые. Третья — другая нога, если было на правой, то на левой. Четвертая озорная, а можно и больная. И лягушки делать и подвишки делать. Пятая — проклятая, без топтушек и без отдыха. Шестая — немая, или золотая, не издавать звуков и дышать с закрытым ртом. Все золотые без топтушек, тоже как простые, только без топтушек. Если на ней ошибка, иди на первую. Шестая может быть кочерга. Седьмая — слепая, кидать с закрытыми глазами. Восьмая может быть запятая, или запятая золотая, или золотая без топтушек. Запятая — это ногу за ногу. Больная — за ногу держаться. Ясно?

— Ясно, — соврал Энэн, ошеломленный потоком обрушившейся на него информации.

Все-таки как усложнилась жизнь! Единственное, на что он был бы способен, это «не издавать звуков и дышать с закрытым ртом».

— Видишь, как просто?! Давай сыграем, я тебе свою биту дам.

Стало быть, банка из-под гуталина называется «бита». Девочка протягивала ему биту и улыбалась всем своим маленьким, лихо запачканным лицом.

— Спасибо, — сказал Энэн, — мне теперь и на двух ногах трудно, не то что на одной.

— А ты попробуй. Увидишь, это очень просто. Все ребята выучиваются, даже шизики.

Энэн встал на одну ногу, другую несмело поджал и попытался подпрыгнуть. Ничего не вышло. Словно бы он пытался не свое тело приподнять в воздух, а весь шар земной, намертво прилипший к его подошве...

— Не выходит? — сочувственно спросила девочка.

— Как видишь.

— Даже на сантиметр?

— Даже на полсантиметра. — Энэн опустил ногу. Девочка глядела все так же весело, но с сожалением.

— Ничего, может, ты еще поправишься. От живой воды. Махнула ему рукой и запрыгала, толкая биту. С тех пор, проходя мимо классиков, Энэн всегда искал глазами свою маленькую наставницу, но ни разу больше ее не видел. Наверно, она жила не здесь, явилась издалека, как дворовая фея с запачканным лицом.

Живая вода, живая вода...

Для профессора Завалишина живой водой было все, что он вокруг себя видел. Оно не могло его омолодить, но наполняло его неиссякаемым умилением. Не только жизнь, но и неодушевленность: сараи, гаражи, косвенный луч солнца, надпись на стене «Светка + Вова = любовь» — во все эти подробности он вглядывался пристально, внимательно, жадно. Ощущение, которое он при этом испытывал, скорее всего, можно было назвать страстным приятием — именно так.

Как он научился любить жизнь теперь, когда ее осталось уже немного! Не имея возможности и оснований ждать счастья себе, он все больше, все обширнее и горячее желал счастья и, главное, существования всему окружающему — двору, детям, домам, голубям. Когда голубь, упитанный, серо-синий, с зеленым ореольцем на шее, идет по асфальту, важно переступая с одной розовой ноги на другую, поводя туда-сюда плоским хвостом, какое это, в сущности, величавое зрелище! Кажется, сама жизнь, неторопливая и важная, переваливается вместе с ним, наклоняется, клюет крошки.

Профессор никогда и никуда не выезжал из своего дома. С тех пор как умерла его жена Нина Филипповна. Выезд с нею на дачу в год ее смерти был последним. С тех пор только здесь — как привязанный. Первое время это было близко к состоянию собаки, изыхающей на могиле хозяина. На самой-то могиле он почти не бывал, мало связывал ее с памятью Нины, другое дело — квартира, где они жили вместе. С годами острота горя, конечно, убавилась, но подвижности он так и не обрел. Жил тут безотлучно, врос корнями в свое обжитое место. Дом — институт, институт — дом, только и всего перемещений.

От дома до института минут десять ходьбы неспешным шагом. Мимо больницы, где умерла Нина.

Здание больницы старинное, темно-желтое, с колоннадой. Колонны высоки, массивны, слегка утолщены к середине, как бы пузаты, именно эта пузатость странным образом придает им изящество. На треугольном портике надпись славянской вязью — какая-то молитва о страждущих, о спасении их душ. Прочна старинная архитектура, надежны рамы, упорны надписи. Упорен восьмиконечный крест на дверях мертвецкой... Вокруг больницы старый сад, обнесенный чугунной оградой. Каждый столбик, каждый завиток этой ограды за долгие годы выучен наизусть.

Всякий раз, проходя мимо больничного сада, Энэн вглядывался в него и приобщался к его благородной растительной жизни. Ограниченнная, утесненная городом, это все же была Природа. Начиная с земли: в саду она была жирная, черная, богатая перегноем от множества листопадов. Эти листопады он наблюдал из года в год с неистощимым интересом: ни один не был похож на другой. Менялись цвета, осанка деревьев, и листья летели по-разному: ветер косо, стремительно, а в тихую погоду кружась и планируя. Глядя на их кружение, он вспоминал теорию плоского штопора, над которой работал, когда он еще был молод и авиация — молода.

Основным состоянием сада было ожидание. Осенью деревья теряли листья, готовясь к зиме, а зимой костенели и мерзли, стуча обглоданными ветками, жалуясь на бездолье; грачные гнезда их угнетали, черными шапками топорщась на стыках ветвей. Под ними на ноздреватом нечистом снегу вразброс лежали крылатые семена; сама эта крылатость была ожиданием. И в самом деле, чем черней становился снег, тем ближе весна. И вот приходила весна, и сад пробуждался к жизни, чуть покрывался зеленым пухом, прозрачным, как первый мазок кисти на грубом холсте. А летом все разворачивалось, темно-зеленое, и безоглядно, пиршественно шло к увяданию. Белесыми облаками обметывались тополя, заметая землю легким, бродячим пухом.

...Тополиный пух — память о смерти. Там, на последней даче, тоже пушили тополя. Стол стоял на террасе. По нему бродил пух. Нина Филипповна, подобрав со стола горсточку пуха, сжала его невесомыми пальцами и сказала, чуть-чуть усмехнувшись.

— А до будущего тополиного пуха я уже не доживу.

Разжала пальцы, подула на пух, и он разлетелся. Энэн забормотал что-то стандартно фальшивое:

— Ну что ты, тебе уже лучше, скоро поправишься...

Так советовали друзья и врачи: лгать, поддерживать бодрость. Он и лгал, но получалось это у него плохо. А она знала, что умирает, и знала, что ей лгут. Каждый раз потом, когда цвели тополя, он видел перед собой парящую в воздухе, косую, легкую усмешку Нины, ясно говорившую: «Зачем лгать? Умру».

Дача была снята по совету врача не слишком далеко, в одном из тех подмосковных поселков, которые вот-вот будут поглощены растущим городом, но пока что зелены, погружены в тишину, разве что кричат по утрам петухи. Дряхлый, деревянный, чешуей облупившийся дом; терраса с каменными ступенями, сквозь которые росла трава; небольшой, сырой, но зеленый участок.

Целое долгое лето он мучительно наблюдал, как она гасла, переставала быть. Целыми долгими днями она сидела в шезлонге под вишнями, с каждым днем желтея, ссыхаясь, суживаясь. Как четко проступают кости черепа на лице обреченного! Нет, он не верил в ее обреченность, несмотря ни на что. Пахла зелень, пели птицы, Дарья Степановна тихо гремела кастрюлями в кухне; время медлило, торопилась болезнь. В начале лета вишни цвели, Нина сидела, осыпанная лепестками. Когда цвет опал, появились зеленые шарики по два на сдвоенной ножке. Понемногу они росли и краснели, а когда покраснели совсем, Нине было уже трудно дышать. И все же смерти так скоро никто не ждал, даже лечащий врач, видевший ее накануне. Внезапно ей стало плохо, сказала «Это конец». Вызвали неотложную, отвезли в больницу, но поздно — умерла на другой день.

...Тут в воспоминаниях пробел. Нет, не пробел, а яма, провал — разве можно назвать пробелом черное? Кто звонил, распоряжался, заказывал машину? Кто его самого отвез в город? Полная неясность, память черна. Он даже не помнил, на машине ехал или на электричке. А ведь должны были бы сохраниться воспоминания хотя бы о деревьях, которые мчались мимо. Поразительно, как выпадают из памяти самые страшные, важные минуты. Может быть, это защитная реакция организма? Вряд ли, потому что Нину в гробу он уже помнил. Она лежала, лишенная красоты и торжественности мертвых, даже в этом судьба ее обделила.

Потом, уже осенью, приехав с Дарьей Степановной за оставшимися на даче вещами — собственно говоря, ему незачем было ехать, сам напросился, — он еще раз оглядел участок, неузнаваемый, засыпанный мертвыми листьями, пронизанный криком ворон, и проклял его за то, что он убил Нину. Если б не эта дача, она, возможно, была бы еще жива, хотя доктор говорил «вряд ли».

Нагрузили машину, поехали, он — в кабине шоferа, мимо мелькали деревья, это он помнит точно. Дарья Степановна уехала электричкой. У шоferа была лиловая футболка. Странно, пустяки такие помнятся, а на важное — провал.

Прошло уже немало лет без Нины, горе сгладилось, воспоминание уже не рвет сердце, а, задетое, звучит музыкой. Даже что-то отрадное, как ни странно, есть теперь в этом воспоминании. Сладкое горе. Тогда, на поминках, незнакомая старушка сказала ему: «Горе твое не навек, пройдут года, и прорастет оно солодом». Так и есть, проросло. Но и теперь еще, просыпаясь ночью, он иногда слышит дыхание Нины на соседней кровати. Самой кровати давно уже нет (вынесли, подарили, продали?), но столик, стоявший между кроватями, цел и в полусне легко себе представить, что там, за ним, — Нина. За стаканом с позвякивающей ложечкой, за фланкончиком валокордина, за подвижными полосами света. Ночью дом сотрясается идущими мимо грузовиками — это от них звенит стакан, кочуют полосы света.

Хорошо бы сейчас уткнуться лицом в подушку жены, почуять тот особый, прелестный запах, который всегда, с юности, был ей присущ.

Словами этот запах описать невозможно. Припомнить его усилием мысли тоже нельзя. Какой он был? Сладковатый и странный? Мало этого. С чуть уловимой горчинкой? Верно и это, но мало и этого. Может быть, перец? Ваниль? Левкой? Нет, не то.

Он всю жизнь был особо чувствителен к запахам. «Талантливый нос!» — говорил про него отец, невысокий, обожаемый человек; об отце отдельно, сейчас о запахах. Николай Николаевич — тогда еще Кока — обладал исключительным обонянием. Например, мог по запаху различать подушки — какая чья. Сестры Надя и Люба выкладывали перед ним на диване все подушки, которые были в доме, завязывали ему глаза (иногда — ой! — с волосами вместе), а он вслепую распознавал: «Мамина, папина, твоя...» Теперь ему хотелось до боли душевной узнать по запаху подушку Нины, отличить от своей. Но подушки не было. Он тогда раздал очертя голову все вещи умершей — платья, белье, постель, — о идиот! Фотографии сохранил, а вещи с их запахом отдал. Фотографии мало были похожи, да она и не любила сниматься. Теперь ему нужно было напрягать память, чтобы увидеть Нину, свою жену.

Девушкой она была стройна, голубоглаза, с двумя белокурыми косами на груди. Да, именно на груди, не на спине запомнил он ее косы. Заплетенные от висков (такая была мода), ничем не перевязанные, вольно кинутые на грудь. Бледноватое лицо, узко сходящееся треугольником книзу. Милая родинка на щеке. Выражение лукавой готовности к счастью. А главное, чувство любви в себе самом, страшное, непреодолимое. Что с собой делать, когда так любишь? Нет, Нину-девушку он отчетливо помнил.

А вот дальше провал (те же фокусы памяти). Какой была Нина между юностью и старостью, он уже забыл.

...Двое детей было у них — Лиза и Коля, девочка на два года постарше. Мальчик рано — двух лет — умер от ложного кroupa. Задохся. Теперь бы спасли...

Вот эта страшная ночь смерти сына запомнилась ему как врезанная, во всех подробностях. Закатанные рукава врача, чайник с горячей водой, таз, в котором мочили губки — красные, резиновые, резко пахучие; их не выжимая клали ребенку на грудь, и мысль: «Обожжет?» — и ответ мыслью на мысль: «Пускай обожжет, остался бы жив». Не остался. Когда все было кончено — глаза жены, Нины. Только глаза, не лицо.

Дочке, Лизоньке, было четыре года. Когда Коля стал задыхаться, ее увезли к соседям. Через три дня взяли обратно. Про смерть брата ей ничего не сказали. Она как будто удивлялась, ходя из комнаты в комнату и не видя его кроватки, игрушек. Сама придумала объяснение: Коля уехал на дачу. Кто-то во дворе сказал ей, что Коля умер. Пришла к отцу:

— Что значит «умер»?

— Значит, человека нет, — ответил он.

— Совсем нет? — не понимала Лиза. — Даже ничуточки не осталось?

Он взял ее на руки, прижал к себе (волосы пахли соломой и солнцем).

— Нет, не совсем. Мы его помним, значит, немножко он есть. Ты ведь помнишь его?

Лиза важно кивнула.

Коля умер, Лиза осталась: ствол и смысл жизни, ее оправдание. Нина Филипповна жила только Лизой, в вечном молитвенном восторге: и красива-то, и умна, и добра. Он тоже любил дочь, мало сказать любил, но дара пристрастия у него, увы, не было. Если по справедливости, то, пожалуй, так: умна, добра, но не красива.

Теперь он уже мог без боли душевной, даже с тихой радостью смотреть на портрет Лизы, висевший у него над изголовьем. Последняя ее фотография, уже фронтовая, увеличенная и, как водится, безбожно отретуированная в мастерской. Откуда-то взялись на ней черные брови, которых у Лизы отродясь не было. Нет, не красива. Простое, даже грубоватое, русское лицо. Гимнастерка с мятными погонаами, полевая сумка через плечо. Прямые, ровно подстриженные, будто обрубленные волосы (светлые в жизни, они на снимке казались темными). Пилотка надета прямо, и взгляд прямой, ни тени кокетства — вся как есть.

Лиза такая и была — бесхитростная. Любила все простое, обыкновенное: бегать босиком, грызть семечки, смеяться на кинокомедиях. В школе училась неважно: нет-нет да и троечка. Пробовали учить ее музыке, языкам — никакой охоты. Спрашивала у отца: «Ну почему у нас такая особая семья — никого не учат музыке, а меня учат?» Хотела быть как все, наравне со всеми...

Зрительное воспоминание о Лизе: коротенький нос в веснушках, честные серые глаза (один с карим пятнышком) и на розовой нижней губе печатью обыкновенности скорлупка от семечка.

В начале войны Лизе было семнадцать лет. Она сразу же ушла на фронт. Убили ее в декабре сорок третьего...

Что тут сказать? Бывают в жизни вещи, о которых сказать ничего нельзя: слова падают, мертвые, оземь. Удивляешься, как ты это вообще перенес, выжил. Удивительной прочности существо — человек. Убит, но живет.

Николай Николаевич сам получил у почтальона извещение о гибели Лизы. Развернул, прочел, не понял. Еще раз прочел — не осознал. В голове было пусто, одна только мысль: как сказать Нине? Но говорить не нужно было. Она по его лицу все поняла и стала от него отступать, пятаясь, вытянув перед собой руки, словно обороняясь. Эти дрожащие бледные руки с обращенными к нему толкающими ладонями он до сих пор видит отчетливо. Только руки, опять не лицо.

После гибели Лизы Нина Филипповна как-то молниеносно, круто постарела, поседела, выцвела. Вот такой — старой, бесцветной — он помнил ее превосходно. Грустные глаза — потрескавшийся бледный фаянс. Сухие пальцы, вечная манера что-то ими трогать, перебирать, словно не лежалось им нигде, ни на ручке кресла, ни на колене. Вялое ухо, полуприкрытое седенькой прядью. В последние годы волосы у нее стали катастрофически выпадать, как шерсть у линяющего животного, — прямо горстями обирала она их с головы, целыми клубками наворачивала на гребень. Грустно шутя, говорила: «Лысею, скоро будет нас двое лысых — ты да я». Ошиблась, до лысины не дожила.

Ему было легче, чем ей. Кроме горя, у него было еще многое. Институт, кафедра, ученики, семинары, конференции, доклады — со всем этим он мог кое-как жить между «плохо» и «очень плохо». В конце концов, когда улеглось и обмялось горе, ему временами было почти хорошо. А ей?

Все это он понял, когда остался один.

ДАРЬЯ СТЕПАНОВНА И ТЕЛЕВИЗОР

Дарья Степановна, квартирная соседка профессора Завалишина, его домоправительница и домашний тиран, была в своем роде человек примечательный. Седая, прямая, красивая. Редкой правильности лицо — северная камея. Целые блестящие волосы стрижены в скобку, гладко забраны назад ото лба круглой гребенкой.

Дарья Степановна была из тех людей, которые знают, «как надо». Сам Энэн никогда этого не знал. Вечно его терзала проклятая объективность, привычка смотреть на вещи с разных точек зрения. Эта черта особенно усилилась у него к старости. Мир для него был как одна из тех хитрых картинок,

оптических фокусов, где, меняя настрой и прищур, можно увидеть одну и ту же фигуру то выпуклой, то вогнутой. За последние годы он стал страдать от этого почти физически, как, вероятно, страдал буриданов осел между двумя охапками сена.

Люди, знавшие, «как надо», одновременно и привлекали его и отталкивали. Дарья Степановна больше привлекала, чем отталкивала; в ее определенности была драгоценная для него черта — нелогичность. Если человек, знающий, «как надо», еще и логичен — спасенья нет.

Дарья Степановна, ныне пенсионерка, прежде была поварихой. Начала она свою рабочую жизнь в экспедиции «по апатитам», на Кольском полуострове. Видно, это было для нее светлое, достопамятное время. Рассказывать о нем она не любила, но иногда произносила загадочную фразу: «Апатиты оправдают», сопровождая ее мгновенным блеском улыбки, чуть приоткрывавшей стальные, нержавеющие резцы. Улыбку ее, вообще редкую, Николай Николаевич любил, как ни странно, именно за стальной блеск зубов, нарушающий неприступную безупречность лица.

Там, на апатитах, встретила она своего суженого, вышла замуж. Брак был недолгим: муж скоро сгинул, «ушел по преступлению», как она выражалась. В чем было преступление, долго ли сидел муж и куда потом делся, не говорила. Слава богу, детей не успели нажить. Дальше было у нее «мотание жизни», пока не вывело на прямую дорогу: поваром в рабочей столовой, где и проработала она до пенсии. Готовила без особых затей — просто, чисто и честно, до шефа, однако, не дослужилась — образования не хватило. Уходя на пенсию, получила памятный подарок — весы, которыми очень гордилась, особенно надписью, выгравированной на чашке: «Уважаемой Дарье Степановне Волковой от коллектива столовой № 85 за честный труд и нерасхищение». Охотно показывала весы любому желающему с тем же отблеском улыбки на бледных красивых губах, но вообще о прошлом говорить избегала. На расспросы профессора (он на старости лет стал болезненно любопытен) отвечала кратко и сухо:

- Жила, и все. Как люди, так и я.
- Люди по-разному живут.
- И я по-разному.

Помогать Завалишиным по хозяйству она начала еще при Нине Филипповне, жалея больную, слабую, неумелую женщину. Конечно, ей за это платили, но дело было не в деньгах, а в жалости (из-за одних денег не стала бы прислуживать никому). В последний год жизни Нины Филипповны, когда та совсем уже ослабела, Дарья Степановна ходила за ней как сиделка, строгая лицом, нежная руками: умывала, кормила, причесывала.

Как-то само собой получилось, что после смерти жены, похорон, соболезнующих визитов, когда все это схлынуло, Энэн оказался целиком на попечении Дарьи Степановны. Она заправляла всем в доме: покупала ему одежду, обувь, стирала и сгребала, ведала квартирной платой, счетами за газ и электричество; сама себе выдавала зарплату, уменьшив ее против прежнего вдвое: «Один человек, не два». На все истраченное она представляла хозяину счета, точные до копейки. Писать и читать она вообще не любила, составление счетов было для нее тяжкой работой, а то, что он их никогда не проверял, — обидным пренебрежением. А вообще она была к нему по-своему даже привязана, он был для нее как ребенок — лысый ребенок, ничего не смыслящий в жизни. И любопытство его она воспринимала как зрячное, ребячье:

— И все-то вы спрашиваете, чего, почему да как. Самим пора понимать. До таких лет дожили, ума не нажили.

Только о своем детстве она рассказывала охотно, даже в подробностях.

— Бедность была. Родилась я, царство небесное, мать рассказывала, окрестить нечем. Всех нас семеро: пять парней, две девки, да еще два парня, спасибо, померли. Я из девок-то вторая была. Старше меня здоровущая, об дорогу не убьешь, сыпняком померла в гражданскую. Родилась я, значит, крестить, тогда без этого и не знали чтобы. Мать попу яиц крашеных, луковая скорлупа, о Пасху было, с-под икон полотенце вышитое, елки да солнышки. А он, поп, пьяный с праздника, не Дарьей окрестил, а Дареем, мужеска пола. Так и метрики дал.

— Может быть, Дарием? — робко спрашивал Энэн.

— Говорю, Дареем, знаю, что говорю. Надо бы Дарья, а он Дарей. Так и была распетушие, ни

парень, ни девка, до самой паспортизации. Родителям один хрен — парень, девка, лишь бы не рот. Отец сам пьющий, да с каких денег? Разве кто угостит, песни поет, голова боком. Жизнь-то какая была? Дыра на дыре. Пошла в школу, ребята признали — парень по метрикам, стали дразниться, я плакать. В школе-то не роняла, домой несла. Мать прижмет: «Даша, не тоскуй. Еще ты лучше других девок, найдешь своего, полюбит». А я все тоскую. Ученые у нас какое было? Ничего не знали, не ведали. Учитель сам не больно знал. Диктовки делает, а сам усами шурк-шурк, как таракан, не знает "о" или "а". Раз так, раз инак. Много мы могли выучиться? За поросенком — это мы могли, овцу стричь или прядь — это тоже, а знание какое — нет. Это теперь учение стали, плюнуть, и то надо высшее. Я в булочной вафли читаю и обмолвилась. Рядом от горшка два вершка, зуба нет, оскаляется. Говорю: ах ты пузырь с вонью, скалишься, я неученая? А тебя кто учил? Государство рабочих и крестьян. А я с крестьян в рабочие, всю жизнь трудилась, не училась. Я у плиты все здоровье надорвала, верхнее двести, нижнее сто, РОЭ тридцать. Я те фыркану! Мырнул как растаял. Они все теперь беса, ни одного чтобы путный. Мы-то корку делили, нам не до скалиться. Мать жалела; уткнусь — плечо мокрое: «Не плачь, дочка». Потом померла. Ну натерпелись! А там колLECTIVизация. Люди как люди, вступают, а отца враги подговорили не вступать, он и не вступил. Его — в кулаки. А какие мы кулаки? Ни матери, ни коровы, пустые ясли, сено запаривали. Вывезли в Сибирь. Зимой было. Отец поскучал, тоже помер. Что делать? Кого куда. Меня — тетка, малых по детским домам, постарше в фабзайцы. Двух в войну убило, один майор, город Новосибирск, жена полная. Зовут внуков нянчить, не еду, чего я поеду? Кидаться будут: то не так, это не так. Жизнь хорошая, вот и кидаются.

Дарья Степановна твердо была уверена, что все грехи и беды от хорошей жизни. Раньше жизнь была хуже, зато люди лучше.

— Мы-то как жили? Чего видели? Ни радио, ни телевизора. Хлеба и то не каждый день. Вот и не кидались, себя помнили. Теперь народ заелся, денег девять некуда. И в колхозе не за птичку работают, и им подай. А где взять на всю ораву? По магазинам, ищут получше: «Это не наше?» Нашего им не надо. Мы не то что наше — не наше, мы никакого не разбирали. Нам бы такого показали, как в уцененке, мы бы «ах», а не разбирать: наше — не наше.

Энэн всегда слушал ее с интересом. Особое своеобразие речи Дарьи Степановны предавали провалы и зияния, от которых многие фразы становились какими-то ребусами. Провалы заполнялись интонацией, иногда с помощью контекста. Нечто вроде титлов в церковнославянском, заменяющих пропущенные буквы, только здесь пропускались не буквы, а смыслы. Дарья Степановна обращалась с родным языком царски свободно, на мелочи не разменивалась. Собеседник — не дурак же он! — сам должен был понимать, о чем речь. В эту априорную осведомленность каждого о ходе ее мыслей она верила свято, обижалась, когда ее не понимали, считала за насмешку. Энэн, человек привычный, уже приспособился и обычно ее понимал, лишь изредка и ненадолго становился в тупик перед фразой вроде: «Эта, века синяя, портки, кругом ковров, рулит», что означало просто знакомую женщину в брюках, с накрашенными глазами, самостоятельно водящую машину с коврами на сиденьях... Иной раз он сам удивлялся, сколько надо слов, чтобы перевести на стандартный русский сжатую, энергичную фразу Дарьи Степановны и как это в конце концов получается плохо... А некоторые ее фразы он и не пытался переводить, воспринимая их как некие сгустки мировоззрения, например: «Ну, если баба, так что, а если мужик — все».

Запутанность речи — и твердость мысли. У Дарьи Степановны обо всем было твердое мнение. Нелогичное, но непробиваемое. Любые возражения от него отскакивали, как пули от брони.

Заходил, скажем, разговор о мясе. Нет хорошего — одни кости. Дарье Степановне было ясно отчего: собак развели.

— Ведь это выйти во двор: каждая с собакой. Через одну: одна с ребенком, другая с собакой. Стоит, смотрит, ногу кверху, пошла. А ее накормить надо, не все овсянкой-геркулесом, надо и мясца. Где тут людям хватить? От хорошей жизни водят. Мы разве водили собак? На цепи сидели, от воров. А теперь им лечебница, пенициллин. В других странах, по телевизору, тоже собаки. Идет, хвостом крутит, как путная. Вот и кризисы, гонка вооружений. Отчего они против мира? Мяса им не хватает.

Или возникал вопрос о погоде — и тут у Дарьи Степановны было свое мнение. Капризы погоды она объясняла нерадивостью метеорологов:

— Выучились, им деньги платят, вот и делай, чтобы хорошо. А эти сами чего не знают — лялякаются, а дела нет. Вчера одна с указкой, плечи до полгруди, парик, серьги качаются. Тыкает в карту, прогноз да циклон, а погоды нет. Чего есть будем?

— Люди еще не научились управлять погодой, — пытался возразить Энэн (все же метеорологи, научные работники, были, так сказать, товарищами по оружию).

— Учились-учились, а все не выучились? Нет уж. Им за это деньги платят. А вы за них не оправдывайте. Это раньше, по Евангелию: тебя в правую, а ты левую. Так не пойдет.

Религиозна она не была, но праздники уважала. В воскресенье стирать нельзя: раз постирала, в руку вступило. Рождество, Пасху, Николу — все это помнить надо. Мороз отчего? Крещенье.

Для профессора Завалишина Дарья Степановна была загадкой. Скопище парадоксов, домашний сфинкс. Вера в науку — и презрение к ней. Разговоры о деньгах — и бескорыстие. Уважение к слову слышимому, произнесенному-и презрение к печатному, писаному. Книг не читала. Если он, уходя, оставлял ей записку, обижалась: «А что, сказать вас убудет?» Над странностями этой психологии Энэн размышлял усердно, но безуспешно.

Может быть, идти через пристрастия, систему ценностей? Здесь, по крайней мере, все было ясно. Главной ценностью в жизни Дарьи Степановны, главным ее стержнем и страстью был телевизор. Предмет культа, кубический бог. Не возвращаемся ли мы через телевизор к первобытному язычеству, из которого нас насилиственно вывело крещение Руси?

Служа своему культу, Дарья Степановна долгими часами сидела перед телевизором, устремив к экрану красивое внимательное лицо. Перламутровые волосы отливали голубизной. Они еще гладже, нос еще строже обычного. Смотрела она все подряд: спектакли, цирк, торжественные собрания, концерты, новости, спорт. Не одно фигурное катание, как многие женщины, но и бокс, хоккей, футбол. Больше всего любила передачу «Человек и закон». Невнимание профессора к этому зрелищу понять не могла, осуждала:

— Все с книжками да с книжками, вот и прозевали. Про шпану передача шестнадцать тридцать. Жене восемь лет, наточил ножик — раз! Ее в реанимацию, три часа, умерла.

— Восемь лет жене? — с ужасом спрашивал Энэн.

— Все вы понимаете, слушать не хотите. Не жене, а ему восемь лет. Мало. Я бы больше дала. Он восемь и не просидит, выйдет, а ее уж нет. Круг, по подъездам ходит.

Круг, ходящий по подъездам, даже для привычного восприятия был непостижим.

— Какой круг?

— Будто не понимаете! Ножик точить. Вы что, в подъезде не видели? Жик-жик, искры. Сам точил. Вот она какая, шпана, без никакого закона, а еще «Человек и закон». Бритый под машинку, зарос, пуговицы косые. Она: «Раскаиваетесь?» — а он и глаза опустил, совесть перед народом. Костюмчик-кимплэн, плечики подложены, бровь дугой.

— Это у кого? — нечаянно спрашивал Энэн, еще не пришедший в себя после восьмилетней жены. Как-то не вязались у него в один образ косые пуговицы и костюмчик-кимплэн.

— Ясно, судьиха. Не жена из могилы встала. Какие-то вы странные, все в насмешку. Не буду рассказывать.

— Дарья Степановна, не сердитесь, я и в самом деле не понял.

— Только манеру делаете.

Почти наравне с «Человеком и законом» она любила пение, особенно мужское («Мужик не баба!»). Певцов узнавала по голосу из другой комнаты, из кухни. Любое дело бросала.

— Чевыкин поет, надо послушать. После домою.

— Откуда вы знаете, что Чевыкин? — удивлялся Энэн. Он-то по голосу певцов не различал.

— А вы будто не знаете? То Зайцев, а то Чевыкин, и тот и тот баритон. Зайцев с залысиной, у Чевыкина зад торчком. И голос другой. Как не узнать?

Вообще Дарья Степановна поражала Энэна редкой своей музыкальностью. Безошибочно различала мелодии, запоминала имена композиторов. Иногда задавала вопросы:

— «Роями белых пчел» — это что, Бетховен написал?

— Да, Бетховен.

— Который «Ода к радости»? Хороший человек. Радости тоже людям надо. А про пчел у него хорошо. Только зря он про гроб. В гробу радости мало.

— Какой гроб?

— Поставим гроб на стол.

— Не гроб, Дарья Степановна, а грот.

— Что еще за грот?

— Напиток. Из кипятка с ромом.

— Придумают тоже. Он что, не наш?

— Немец. Жил в Австрии...

— В Австрии много композиторов. Моцарт, Штраус, «Венский вальс», теперь Бетховен.

Когда Энэн удивлялся ее осведомленности, Дарья Степановна сердилась:

— Как будто я из зоопарка. Серая, а разум какой-никакой.

Телевизор стоял в проходной комнате, бывшей столовой. Энэн купил его как-то для больной жены, чтобы ей не скучно было одной дома. Но ей не было скучно: хватало страданий, болезни, памяти. К телевизору она подходила редко и сидела недолго — вздохнет и уйдет. После ее смерти он перешел в ведение Дарьи Степановны. Энэн хотел было ей вообще его подарить, но получил суровый отказ: «Зачем тысячами бросаетесь?» Ящик остался на прежнем месте, в парадном углу, а напротив него как слуги — два кресла.

Мимо этого камина Энэн всегда проходил с опаской. Он телевизор не любил. В его поздней любви ко всему существу именно для телевизора места не нашлось. Редко-редко (и то чтобы угодить Дарье Степановне) он присаживался рядом с нею на второе кресло и смотрел передачу с тем вежливым отвращением, с каким заядлый холостяк смотрит на грудного ребенка друзей. Все его раздражало. А главное, ему стыдно было за все! За лживые заученные интонации актеров. За разинутые рты певцов с дрожащими внутри языками. За манерно сжатые руки певиц, за их вздывающиеся декольтированные груди. А больше всего за сами песни, так называемые лирические, за их жанр — проникновенный, вкрадчивый, якобы до души доходящий... Посидев немного, он вставал.

— Уходите? — строго спрашивала Дарья Степановна. — Смотреть надо, развиваться, а то отстанете.

— Не нравится мне, — с тоской говорил Энэн.

— Почему не нравится? Сильный состав. Деньги-то им платят? За плохое не будут.

Дарья Степановна твердо верила: зря платить не будут; раз платят — значит, хорошее. Как эта вера уживалась с ее отношением к метеорологам, которым зря платят деньги, неясно, но уживалась. Может быть, у нее разные были мерки для искусства и науки? Вряд ли. Скорее всего, здесь проявлялась божественная нелогичность, так его восхищавшая. Сам он, раб логики, мечтал быть от нее свободным.

А с телевизором у него были отношения сложные. Казалось бы, чего проще: не нравится — не смотри, сиди в своем кабине. Нет, этого он не мог. У него было ощущение, как будто в соседней комнате поселился кто-то посторонний. Не просто посторонний, а хуже: дальний родственник со своими правами, претензиями. Нахальный, навязчивый, лезущий в душу. Этот человек говорил и пел разными голосами, высокопарно вещал, фальшиво смеялся, кощунственно плакал... Стоило Энэну услышать гадкий гусиный голос, как у него шли мурашки по коже. И вата в ушах не помогала: все время напоминала о том, от чего заткнулся...

В те вечера (нечастые), когда Дарьи Степановны не было дома, Энэн устраивал себе пир тишины. Садился в глубокое кожаное кресло (из приемной деда-врача), погружался в него по уши. Брал какую-нибудь любимую книгу. Тоже словно бы садился, погружался в нее. Отправлялся в путешествие по чужим судьбам. Неторопливо, как в dormez. Или рыдване (хорошее слово «рыдван»). Какое наслаждение — читать не торопясь, если надо, вернуться назад, заложить пальцем страницу, задуматься... Осуществить святое право на свой темп поглощения духовной пищи. Этого права многие лишены: рабы массовых средств информации, они вынуждены смотреть и слушать в навязанном темпе.

Пир тишины скоро кончался. Возвращалась Дарья Степановна, шаркала в передней ногами. Энэн замирал: авось пронесет? Не тут-то было! Щелк — и возник из тишины фальшивый проникновенный голос, сел на интонацию и поехал, поехал... От раздражения, от бессильной злобы у Энэна зябла лысина. Но он тут же себя осаживал: "Экий я нетерпимый. Это старость, старческий эгоизм, узость

души. Шире надо быть, справедливее. Да, конечно, мне телевизор не нужен. А миллионам других? Сколько людей, как Дарья Степановна, только из телевизора узнали, что есть на свете Гоголь, Шекспир, «Ода к радости»...

А если представить себе те далекие, затерянные деревни, где телевизор — окно в мир? Кругом глушь, сугробы, месяц синий, а в избе на экране полураздетая певица с микрофоном в руках поет, приплясывая, о море, тепле, любви... И вот уже расступаются сугробы, раздвинулся мир, и телезритель летит в пространство, и крылья у него за спиной... Нет, я несправедлив".

Иногда после таких размышлений он даже выходил из кабинета и садился поглядеть на экран глазами того деревенского жителя. Дарья Степановна спрашивала:

— Ну как передача?

— Ничего, — лицемерно отвечал Энэн. Крыльев за спиной он что-то не ощущал.

— Любить не люби, а поглядывай. А вот я хотела спросить: актер — это квалификация?

— Конечно.

— А вы почему не в актеры? Одного видела: старый, лысый, смотреть противно. Пряткий, однако, не на возраст. Пляшет, ногу крючком, поет не по-нашему. Вы вот ученый, по-всякому лялякаете, французский-английский, вот и выучились бы на актера.

— Что вы, Дарья Степановна, тут нужен талант.

— Всему можно выучиться. Бей кошку — залает по-собачьи.

— Я уж не залаю.

— Я не к тому, чтобы сейчас да учиться. Кто старость, того что. Нам, старикам, в крематорий, под органом лежать. Я к тому, что в молодости, пока не поздно. Ваша-то еще не выучилась? Майка-Лайка?

— Нет еще, — отвечал Энэн, пряча глаза.

— А когда выучится, будет по телевизору петь?

— Может быть.

— Карапулиз надо, не пропустить. Дудорова ее?

— Угу...

Вопрос о Майке был больной. Каждый раз как булавка в сердце.

ЭНЭН И МАЙКА ДУДОРОВА

В жизни профессора Завалишина Майка Дудорова появилась года через два после смерти его жены. Он тогда начал уже опоминаться от горя, но был еще в неустойчивом состоянии. Хотелось ему тишины, а на кафедре было шумно. Именно тогда стал он все чаще удаляться в свой так называемый рабочий ящик — узкий закуток, выгороженный для него при лаборатории. Была у него там половина окна, книжный шкаф и небольшой стол, пробираться к которому приходилось ужавшись. Зато не было телефона. Считалось, что Энэн там работает; в самом деле, перед ним всегда лежала бумага, что-то он на ней, наклоняясь, писал. Когда кто-нибудь входил к нему, он прикрывал исписанное папкой и ждал в охранительной позе, пока посетитель уйдет. Естественно, заходить к нему без особой надобности избегали.

Если бы кто просмотрел исписанные за день листы, он удивился бы: хаос, неразбериха. Отрывки текста, формулы, кучи вопросительных знаков, а всего больше рисунков и все на одну тему: ножи. Прямые и искривленные, кинжалы, палаши, сабли и ятаганы. Мастерски нарисованные, тщательно отделанные, с желобками и жалами лезвий. Энэн, вообще к рисованию способный, в своих ножах поднимался до артистизма. В конце дня он собирал все листы в портфель и уносил домой, оставляя стол и ящик пустыми.

На кафедре принято было считать, что Энэн в своем уединении тайно работает над какой-то проблемой мирового значения. Каких только названий для нее не придумывали: «Машинные эмоции», «Роды у роботов» и даже «Гирокопы и гороскопы». Тревожить Энэна в его уединении старались как можно меньше, и он подолгу сидел там наедине со своими ножами и мыслями. Мысли были неутешительные. Вот уже много лет наблюдал он в себе убыль таланта, а теперь присутствовал при его гибели. Как будто, потеряв жену, он потерял и себя.

Главное, он уже ничего не мог придумать. Подстегивал свою мысль, а она повисала в бессилии. Ничего, кроме вариаций на старые темы, он не мог из себя выжать. Знал это пока что он один, но скоро узнают все.

Он все еще был знаменит. Его имя произносилось с почтением, его книги издавались и переиздавались у нас и за рубежом. Его приглашали на все конференции, семинары, симпозиумы — ездить туда он избегал, зная за собой позорную привычку спать. Все-таки иногда являлся, садился в президиум и спал.

Лекции? Ну, лекции еще были хороши. Не то что прежде, но хороши. Этого даже он, вечный свой критик и отрицатель, не мог отрицать. Стоило ему выйти на помост перед доской, взять в руку мел (шершавое счастье!), как он преображался. Исчезало подергивание лица, голос становился звучным и приятным, фраза — четкой и красивой. Слушали его всегда затаив дыхание. Даже парочки на задних скамьях переставали шептаться, даже самые заядлые игроки в «балду» настораживались. «Давайте подумаем», — говорил он, и зал погружался в счастье коллективного думания. Ну что ж, многолетняя тренировка, умение владеть аудиторией. Старый клоун с ревматизмом в коленях тоже уверенно делает заднее сальто; новым трюкам он уже не научится.

Все остальное, кроме лекций, было ниже всякой критики. Аспирантами своими он, в сущности, не руководил, ничего не мог дать им, кроме своего имени, которое еще звучало. Особенно он тяготился экзаменами. Приходил ненадолго, принимал двух-трех человек, ставил им пятерки и уходил. Слушая студента, он погружался в некую внутреннюю нирвану: вспоминал, купался в прошлом. Голос студента доносился к нему откуда-то издалека, из другого мира. Когда студент умолкал, нужно было задать ему дополнительный вопрос. Какой бы такой вопрос задать? Энэн думал, сморкался, иногда спрашивал что-нибудь неожиданное, вроде: «Скажите, чего бы вы больше всего хотели?» Студент пугался и мямлил. Нестандартность поведения профессора, его очки, лысина, склоненное седое ухо — все это действовало гипнотически, особенно на нервных субъектов. Отвечая Энэну, такой студент как бы тоже впадал в нирвану. Иногда оба замолкали и качались на волнах мыслей. Кончалось это всегда одним и тем же: пятеркой. Но, странное дело, студенты экзаменоваться у него не любили, предпочитали ходить к Спиваку, который был щедр на двойки, пятерок не ставил почти никогда, зато был шумен, звучен, эмоционален — одним словом, понятен.

Да что экзамены! Главное было в другом. Энэн знал — иногда твердо, иногда с оттенком сомнения, — что ничего нового он уже не создаст. И все-таки упорствовал. Его сидения в «рабочем ящике» были, в сущности, сеансами борьбы со своим бессилием. Исход был предрешен, но он боролся...

Как он рад был любому предлогу отвлечься! Воробью, севшему за окном на ветку клена; паутинке, колеблющейся в углу; обыкновенной мухе, гуляющей по столу, почесывая друг о друга скрещенные ножки...

Однажды, сидя в таком тягостном уединении, он услышал за перегородкой поющий девичий голос. Небольшой и прозрачный, отточенной чистоты, он тек, как ручей с перепадами, меняя высоту и тембр. Дуэт-диалог Ромео и Юлии:

— Нет, милый друг, то песни соловьиной ты испугался...

И пониже:

— То не соловей.

Опять сопрано:

— Он каждый день на дереве гранатном...

Тут что-то упало с грохотом, и юный голосок чертыхнулся.

Ругающаяся Юлия была забавна. Посмотреть, что там? Энэн вышел в лабораторию. Металл стоек, стекло шкафов, молчавшие экраны осциллографов. Как будто ничто не разбито. Ах вот что упало: стремянка! Возле нее, потирая колено, стояла тонкая девушка в темно-розовом платье.

— Кажется, вы ушиблись? — спросил он с полупоклоном. — Не могу ли я чем-нибудь помочь? Был бы счастлив.

Старомодная учтивость профессора Завалишина на фоне всеобщего упрощения нравов была заметна и чуть смешна (говорил «спасибо» автомату). Девушка улыбнулась:

— Ничего, до свадьбы заживет, она еще не скоро. Она выпрямилась и поглядела прямо ему в лицо светлыми водяными глазами. «Морская вода, aqua marina», — по-думал он с какой-то непонятной самому себе умиленностью.

— Дудорова Майя, — представилась она, подавая ему тонкую детскую руку. Забавная современная манера — ставить фамилию впереди имени.

— Капулетти Джульетта, — поправил Энэн, — а я Зава-лишин Коля.

Она засмеялась. Легкие волосы вокруг лица вспорхнули и опять легли.

— Я-то вас знаю. Вы завкафедрой, правда? А я ваша новая лаборантка.

— Позвольте узнать, — спросил Энэн, — зачем вам понадобилось лазить на лестницу?

— Пыль со шкафов вытирала. Там ее накопилось кошмарно.

— Это, кажется, дело уборщицы.

— Что вы! Ей некогда, на двух ставках работает. Во всех лабораториях сотрудники сами убирают.

— Хочу сделать вам комплимент, — сказал Энэн, — вы очень музыкальны, у вас прелестный голос. Только петь лучше не на стремянке. Ромео лазил по лестнице, но, кажется, в другой сцене.

Она чуть-чуть покраснела. Все краски на ее лице были как будто размыты, разведены водой.

— А я и не знала, что меня слушают.

Она усмехнулась — словно рыбка шевельнулась в сети. Целая цепь водяных ассоциаций — волна, рыбка, прохлада — шла от нее прямо ему в сердце. И еще — жалость. Сложная смесь жалости и восхищения. Особенно щемил ему душу контраст тонкости тела с его излишней обтянутостью (по его старомодным понятиям, женская стройность должна была прятаться в широких, реюющих одеждах). Полудлинные рукава Дудоровой Майи пониже локтя чуть-чуть врезались в нежную желтоватую кожу, образуя на ней еле заметную складочку, — ему одинаково хотелось и устраниТЬ ее и сохранить. От очень высоких каблуков вся фигурка при общей миниатюрности устремлялась вверх. Чем-то Дудорова Майя напоминала Русалочку Андерсена, ходящую по ножкам (еще одна водяная ассоциация). Он был умилен, растроган, сдвинут с места тем, что перед собой видел.

Если теперь сменить точку зрения и поглядеть ее глазами, то она видела перед собой смешного старого человечка, смесь Карлсона и Швейка, в толстенных очках, с желтой лысиной, обрамленной сиянием белых волос. Что-то вроде судороги время от времени поводило его правую щеку, и тогда все лицо начинало барабаниться... «Смешной старишкашка, — подумала Майя, — откуда-то из дореволюции».

— Вы, я вижу, любите музыку, — продолжал разговор Энэн, которому очень не хотелось возвращаться к рабочему месту.

— Жутко люблю. Особенno вокальную.

— И, судя по репертуару, у вас хороший вкус. Дуэт из «Ромео и Юлии» Чайковского мало кто знает. Большинство предпочитает Гуно.

— Нет, я Чайковского. По радио передавали. Мировой дуэт.

Словцо «мировой» чуть-чуть покоробило Энэна, но, в конце концов, дело не в словах. Девочка явно музыкальна.

— Желаю вам удачи. Пойте, только не падайте, — сказал он, повернулся и ушел к себе.

Лист бумаги с ножами показался ему отвратительным, он разорвал его и бросил в корзину. Прислушался, не раздастся ли снова прозрачный голос. Нет, в этот день она больше не пела.

Лаборатория со своим оборудованием, мастерской, заведующим, двумя инженерами и теперь вот лаборанткой Майкой Дудоровой была на кафедре своего рода государством в государстве. Формально она подчинялась кафедре, а на деле жила сепаратной, обособленной жизнью. Завлаб Петр Гаврилович, лохматый энтузиаст, похожий на дворового пса с репьями по всему загривку, был из тех немногих людей, причастных к технике, кто ее любит личной любовью. Неутомимый изобретатель с десятками авторских свидетельств, он не утратил способности любить и чужие творения. Лаборатория была его детищем. Всеми правдами и неправдами он раздобывал для нее новейшее оборудование, уникальные образцы. С материнской нежностью ухаживал за ними, дохнуть на них боялся! Ужасали его студенты — галдящая, жующая, топающая толпа, которой было все равно, уникальный прибор или собачья будка! «Это же техника! — говорил он свирепо, уличив кого-нибудь в недостаточно бережном с ней обращении. — Вот ты, скажем, палец поранишь, у тебя заживет, а у нее черта с два заживет, она

нежная!» Студентов он в принципе, как добрый человек, любил, но лабораторное оборудование берег ревниво. «Разбойники, — говорил он, — ну чистые разбойники! За ними недоглядишь — все разнесут».

И в самом деле студенту в лаборатории непременно надо что-то потрогать, пощупать, повернуть. «Послушай, — говорил Петр Гаврилович такому активисту, — вот я, например, не врач. Что ты скажешь, если я, например, возьму нож и разрежу тебе живот? Небось заплачешь? Так вот от тебя, глупого, приборы плачут».

Ничего не помогало. В результате бестолковой активности студентов приборы то и дело выходили из строя. Для отвлечения праздных рук Петр Гаврилович перед каждым из особо ценных приборов смонтировал специальное устройство типа дверного звонка с заманчивой красной кнопкой, которую так и тянуло нажать. Звонок ни к чему в приборе подключен не был, но по замыслу должен был отвлекать внимание от других, более ответственных деталей. Куда там! Доставалось и звонку и ответственным деталям. После каждой работы лаборатория превращалась, по словам Петра Гавриловича, в Мамаево побоище (он очень картинно изображал это на заседании кафедры, махая крыльями, как стервятник над полем боя). Весь персонал во главе с самим завлабом, вооружясь отвертками, тестерами, запасными деталями, проверял, ремонтировал, отлаживал аппаратуру. Вскоре к этим работам была привлечена и Майка Дудорова — легкие пальцы, тонкое внимание, сообразительность. Зачастую она находила неисправность быстрей инженеров. Петр Гаврилович своей лаборанткой не мог нахваливаться: «Золото, а не девка! Одна беда — хорошенъкая. Уведут».

Когда Майя пришла в лабораторию, ей было за двадцать, но казалась моложе: что-то школьное, с большой переменки. Родилась она тут, в Москве, от матери-одиночки и неизвестного отца; мать о нем никогда не говорила и спрашивать не позволяла: «Молчи, Маенька, моя ты, и ладно». В то время у «незаконных» еще ставились прочерки в метриках; Майка от своего самолюбиво страдала.

Жили они с матерью в густонаселенной коммунальной квартире. Окно их узенькой комнаты выходило на пасмурный двор с рядами мусорных баков, по которым шмыгали кошки. Квартира была старобуржуазная, с двумя лестницами (парадной и черной), с двумя уборными — для хозяев и для прислуги, — из-за которых коммунальное население постоянно вело войну Алой и Белой розы. Дом был хронически под угрозой капитального ремонта, который должен был вот-вот начаться, но все откладывался. Краны текли, трубы рыдали и гоготали, пугая жильцов по ночам.

Майкина мать, когда-то живая, красивая, но рано постаревшая, обделенная и напуганная, работала бухгалтером на фабрике мягкой игрушки. Больше всего на свете она боялась обсчитаться (такое однажды уже было). За долгие годы работы она так привыкла к жесту, которым бросают костяшки на счетах, что все время повторяла его и в жизни — пуговицы на груди перебирала, как бы подводя баланс.

Майка с ранних лет знала, что такое бедность, и всем сердцем ее ненавидела. Знала, что не все живут так стесненно и убого, даже в окнах напротив шла совсем другая, веселая жизнь. Там не экономили электричество, собирались по вечерам, танцевали под радиолу. Красивые женщины в парчовых платьях высоко поднимали тонконогие бокалы, а мужчины раскачивались, держа руки в карманах. Своего неизвестного отца Майка тоже представляла себе богатым, непринужденным, с руками в карманах. Мечтала: явится, возьмет к себе, а там — ковры, хрусталь, радиола...

Мать умерла еще нестарой, от долгой, изнурительной болезни. В больницу ее не взяли как хроника, имеющего родных. Майка весь последний, десятый класс в школу почти не ходила. Делала все по дому сама: готовила, стирала, покупала продукты, высчитывая каждый грош. Проворная, легкая, ходила, как Меркурий, с крылышками у пят. В свободные минуты сидела у постели больной и шила. Мать лежала молча, закрыв глаза, ни на что не жаловалась, только слеза времени от времени созревала в углу глаза и катилась по желтой щеке. Майке было страшно: одиночество подступало вплотную. «Мама, скажи все-таки, кто мой отец?» — шептала она про себя, но вслух спросить не решалась. Время шло; приходило краешком и вновь уходило солнце, трогая на спинке стула сложенное прямоугольничком платье. Мать была аккуратна даже в смерти. До самого последнего дня вставала сама, держась за стены, доходила до коммунальных мест общего пользования, а если было занято, ждала, прислоняясь головой к косяку. Умерла тоже аккуратно, как жила. Попросту в один ничем не примечательный день — не лучше ей было и не хуже — заснула и не проснулась. Заснула и умерла все с тем же привычным жестом — с широко откинутым указательным пальцем, занесенным над незримыми счетами. У Майки навсегда остался

страх прожить жизнь, как мать, и умереть считая.

Хоронили мать сослуживцы, почти все женщины. Плакали, говорили хорошие слова о покойнице: «Культурная, а ничем не выделялась...» Гладя на Майку, еще пуще плакали: такой у нее был жалкий вид, озябла, посинела, топталась в своих худых туфельках по грязному снегу, то на одной ножке попрыгает, то на другой. Провели подписку, собрали порядочную сумму (помог фабком), и до весны, до окончания школы, Майка вполне могла перебиться. В школе ее жалели и кое-как, на троеках, довели до аттестата зрелости. Был и выпускной вечер и белое платье (мать загодя купила отрез, а шила Майка сама). Отгуляла, оттанцевала, простилась со школой. Что дальше — она и сама не знала. Втайне мечтала о карьере певицы...

Данные кое-какие у нее были. Музыкальный слух и голосок, чистый и верный, проявились еще в раннем детстве. «У моей девочки абсолютный слух!» — говорила мать, сама любившая музыку болезненной, бессильной любовью. В детстве она учились играть, недоучилась — помешали разные беды, — но ни в каких бедах не могла продать свое пианино, дряхлое, желтозубое, с трещиной в деке. Майка еще носом едва доставала до клавиатуры, а уже научилась сама взбираться на винтовой табурет и что-то одним пальцем наигрывать. Ноты узнала раньше, чем буквы. Мать учила ее играть, сама плохо умела, учila петь, сама почти безголосая.

Другим источником музыки было радио, даже не приемник, а репродуктор, намертво подключенный к трансляционной сети. Он стоял на полу возле печки (несмотря на центральное отопление, печи в доме еще сохранились) и что-то бормотал под сурдинку. Засыпав хорошую музыку, Майка запускала его погромче. Слушала, подпевала, запоминала. Память у нее была как у скворца-пересмешника. Могла запомнить и спеть наизусть целую оперу.

Кроме музыки и, пожалуй, с не меньшей силой (возраставшей с годами) Майка любила хорошую одежду. Этой одежды у нее никогда не было. Трудное, серое, скучное ее детство было ко всему еще плохо одетым. Одно служившее ей без конца клетчатое пальтишко чего стоило! Майка ненавидела его как живого врага, колотила, щипала. Во дворе мальчишки дразнили ее: «Эй, Карандаш!»

В старших классах ее мучения усилились: она завидовала хорошо одетым подругам, а таких становилось все больше. В быту появлялись красивые заграничные вещи — как бы она сумела их носить! Главное, она понимала саму себя, свою узкую стать, нежное изящество, легкие краски, и страдала оттого, что все это оставалось непроявленным, незавершенным. Какая-нибудь девчонка с толстыми ногами щеголяла в чудесных платьях, как будто задуманных для нее, Майки, и бедрами расpirала нежную ткань... А у Майки платьев почти не было — два-три, не больше. Она их без конца перекраивала, перешивала, одной какой-нибудь черточкой ухитрялась сделать их модными, но чего это стоило, каких усилий!

Мать Майкиного пристрастия к тряпкам не разделяла: «Надо жить духовными ценностями». Другое поколение: ее молодость пришла на время войны, тут поневоле будешь жить духовными ценностями... И как ей объяснить, что одежда тоже красота, тоже духовная ценность?

Эпизод прошел в Майкиной жизни не то чтобы роман, а так. Героем был школьный учитель пения Владимир Антонович Задонский, бывший оперный тенор, давно пропивший и прогулявший голос, но не утративший любви к искусству и к вечно женственному. Учителей-мужчин в школе было раз-два и обчелся; среди них Владимир Антонович выделялся, как материальный индюк среди щипаных петухов. На уроках пения девочки толкались и перебравливались, воюя за место поближе к нему. А он сразу отметил Майкин чистый тоненький голос, ее легкие волосы, водяные глаза и стал ее отличать, к зависти остальных. Не один щипок достался Майке от ревнивых соперниц.

В старших классах уроков пения не было, но старый тенор продолжал заниматься с подросшей Майкой бесплатно и очень усердно; не бросил ее и тогда, когда ушел из школы и стал руководителем самодеятельности в большом, недавно отстроенным клубе. Выдвигал Майку на какие-то смотры и конкурсы (на одном из них она даже получила почетную грамоту "за лучшее исполнение русской народной песни «Сарафан»). Голосок у нее был маловат, грудь узковата, дыхание поверхностное; как говорят, «перспективной по вокалу» она не была. Тем не менее Владимир Антонович, укушанный в сердце ее акварельной прелестью, внутренне стонавший от ее точенных высокоподъемных маленьких ног, обманул ее и себя, пообещал ей оперную карьеру, заниматься стал чаще и ревностнее... И вот среди

занятий, протекавших в его захламленной квартире многократного разведенца, как-то нечаянно сошелся с нею. На Майку это особого впечатления не произвело. Владимира Антоновича она не любила, разве что самую чуточку, уступила ему отчасти из благодарности, отчасти в слабой надежде на будущее (женится, обеспечит, выведет в люди?). Сам Владимир Антонович жениться на Майке и не помышлял (он еще не был разведен со своей последней законной и вообще по уши был сыт женитьбами и разводами). Потом заболела мать, и Майке стало не до пения. Встреченный ею однажды на улице Владимир Антонович поглядел сквозь нее, боком-боком прижался к стене и пропал из виду.

После окончания школы сослуживцы матери взялись за Майкино трудоустройство. Вариантов было несколько; из них Майка выбрала Дом моделей, место регистратора. Все-таки возле одежды... Надеялась стать манекенщицей, но не подошла. «Рост мал, колени несовременные», — сказала художница-модельер, окинув ее с ног до головы одним взглядом. Так и осталась Майка со своими коленями в регистратуре. Обязанности были несложные, но скучные: отвечала на звонки, подзывала к телефону чванных тучных закройщиц, которые с одними клиентками говорили свысока, не выпуская из губ качающейся папирозы, а перед другими, напротив, лебезили. Майка скоро по голосу научилась отличать тех от других... Иногда ей хотелось что-то такое выкинуть, скажем плюнуть в телефон...

А жизнь Дома моделей шла себе своим чередом. Перед Майкиными завидущими глазами мелькали модные туалеты один другого проще, один другого изысканней. Она давно знала, что секрет хорошей одежды не в пышности, а в лаконизме, но такого, как здесь, еще не видела. Одной скупой линией создавался силуэт — приталенный, расклешенный, спортивный. Как лейтмотив повторялась модная черточка — пелерина, обшлаг, низкий карман. На показах моделей манекенщицы ходили особой, маршево-напряженной походкой, поворачивались, блестя подведенными глазами, становились в позы, широко расставляя свои современные колени. В перерывах садились отдохнуть в одном белье, неслыханно импортном, нога на ногу (это называлось расслабиться), курили, сплетничали. Где-то в этой среде циркулировали заграничные вещи, приносимые с заднего хода, осматриваемые коллективно. Обсуждалась не цена, а качество, стиль. Денег у всех почему-то было много, хотя зарплата и скромная. Тут был какой-то секрет, непонятный Майке. Манекенщицы вместе с закройщиками и модельерами были аристократией Дома моделей, а Майка находилась где-то на уровне гардеробщицы тети Маши, принимавшей от клиенток норковые манто как живые, хрупкие существа. Но та хоть получала чаевые, а Майка нет. Ее, незаметную у своего телефона, равнодушно обтекала чужая роскошная жизнь. Шло время, менялись моды, а в Майки-ной судьбе ничего не менялось. Главное, и волшебного принца в поле зрения не было. Коллектив был почти сплошь женский. Два-три закройщика верхнего платья в женских передниках, с сантиметрами через плечо погоды не делали. Как-то один из них, плотно-кудрявый брюнет лет пятидесяти, заметил Майку в коридоре, взял ее за подбородочек, сказал «цыпа, ай?» и пригласил в ресторан. Она отказалась, а потом пожалела: зря не пошла, потанцевала бы... Он ее больше не замечал, все шло по-старому. Майке казалось — так она и засохнет за столом регистратора в Доме моделей. Глаза бы ее на этот Дом не смотрели...

Тут как раз встретила она на улице свою школьную учительницу физики, разговорилась с нею, пожаловалась на свою работу («ни уму, ни сердцу»), и та предложила устроить ее на место лаборантки. Преимуществ в зарплате по сравнению с Домом моделей не было, но все-таки что-то новое... Майка согласилась: уж очень ей захотелось сменить судьбу. Так она оказалась в лаборатории при кафедре Завалишина. И так познакомилась с самим профессором, лысым человечком в толстенных очках, — и в самом деле смирила судьбу.

Майку Дудорову всегда жалели, такой у нее был дар: вызывать к себе жалость. Скорее веселая, чем печальная, она вызывала ее тонким обликом, нежной расцветкой лица и глаз, неопределенностью чуть косящего взгляда... Энэн тоже жалел ее и, жалея, любил. Недаром в русском народе извечно «жалеть» означало «любить».

Жизнь его теперь стала заполнена — он ждал. Услышав Майкин голос за перегородкой (работая, она всегда напевала), он светел лицом и шел на голос, как птица на посвист манка. Увидев ее, сразу же погружался в жалость, не мучительную, а светлую, сладкую.

Нет, он не был влюблен, как шутя говорили на кафедре (его внимание к Майке не прошло незамеченным и вызвало комментарии). Пропасть лет была так велика, что он и в мыслях ее не

перешагивал. Ручей, цветок, ребенок — вот что была для него Майка. Минутная встреча в лаборатории, несколько дружелюбных слов — ему этого было достаточно.

Майку внимание старика забавляло и чуточку раздражало. Он не был ни в каком смысле «серъезным поклонником», но беседовать с ним бывало приятно. Мало знакомая с хорошо воспитанными людьми, она чувствовала себя как в театре (учтивость была для нее условностью вроде плаща и шпаги). Но именно чрезмерность учтивости раздражала.

Он внимательно расспрашивал ее о жизни, вкусах, планах на будущее. Тут она отвечала неопределенно, но однажды, нежно покраснев, призналась, что мечтает о консерватории. Энэн обрадовался, оживился, зашевелил лицом:

— Так в чем же дело? Это ваша прямая дорога!

— Нужно брать уроки, готовиться, — ответила она и молча, с усмешкой, договорила: — А деньги?

Нет, боже упаси! — она не просила о денежной помощи. Он сам о ней мечтал, но не смел предложить. Не знал, как подступиться, чтобы не ранить юную гордость. Прошло немало времени, пока решился. Заикнувшись, дернув щекой больше обычного, он предложил оплачивать ее уроки пения. Договорил — и сам испугался. Но Майка приняла предложение неожиданно просто:

— Ой, как хорошо! Можно, я вас поцелую?

Обхватила за шею, клюнула в щеку. Его и обрадовала и огорчила такая простота. Почему огорчила? Разве он хотел, чтобы она отказалась? Нет, со стыдом признался он себе самому, хотел, чтобы согласилась, но не так скоро, не так просто. Словом, «девочки, церемоньтесь!», как напутствовала его сестер, провожая их в гости, старая гувернантка.

Теперь надо было организовать уроки. Энэн и в этом принял активное участие. Отыскал давнюю свою приятельницу, старую певицу с остатками голоса и великолепной школой. Сам отвез туда и представил Майку. Варвара Владиславовна прослушала ее, отбивая тakt пухлой рукой, и сказала:

— Попробовать можно. Музыкальность, слух — все это есть, а налет самодеятельности мы быстро снимем.

Энэн тут же договорился об условиях (уроки стоили недешево). В заключение Варвара Владиславовна сама села за пианино и спела неаполитанскую песенку — грациозно, жемчужно, искусно (Майку особенно поразил итальянский язык).

Начались уроки. Сперва Энэн хотел подключиться к ним вплотную, быть непрерывно в курсе успехов своей подопечной. Но Майка упросила его этого не делать:

— Разве вы мне не доверяете?

Он, конечно, ей доверял. К тому же у Варвары Владиславовны не было телефона, а ездить к ней специально за справками было бы далеко и неудобно. «В самом деле, пусть девочка учится спокойно, — решил Энэн, — я ли оскорблю ее докучной опекой?»

Каждый месяц он вручал Майке деньги на уроки — разумеется, в конверте. Так было принято в его кругу — не заставлять людей лишний раз прикасаться к деньгам. Условность? Конечно. Майке такие условия были чужды: она хватала конверт, пересчитывала деньги, совала их в сумочку Беглое «спасибо», ласковый кивок — и все. Энэн и тут ловил себя на том, что хотелось ему «церемоний», какой-то другой, более выраженной, развернутой благодарности. А, собственно, за что? Давать деньги еще не значит делать добро. Он ведь себя ничего не лишал — деньги у него были; при его скромных потребностях даже в излишке. Вот снять с себя последнюю рубашку, отдать другому да еще забыть о ней — это добро.

Виделись они теперь не только в лаборатории, но и дома. Впервые он пригласил ее на Первое мая, не без задней мысли — по праздникам Дарья Степановна пекла пироги. Оба они едоки были нерезвые, и пироги частенько пропадали зря. Иногда Дарья Степановна даже его упрекала:

— Хоть бы кого пригласили, пироги счерстнут.

Так он отважился пригласить Майку. Вообще-то гости у него бывали редко, а женщины и того реже.

Майка пришла с букетом цветов, весенних тюльпанов, поставила их в вазу, пораскидала — сразу загорелась вся комната. Волнуясь, потирая руки, Энэн пригласил ее к столу. Дарья Степановна внесла пироги. На гостью глядела исcosa, поджимая губы: что, мол, за пигалица? Но отчасти была обезоружена Майкиным восторгом по поводу пирогов и всего остального. «В чем душа, — думала она, — и ест-то,

поди, недосыта». Однако сесть за стол решительно отказалась: «Без меня бушуйте, своей компанией», ушла на кухню. Майка разливала чай, высоко подняв фарфоровый чайник, придерживая крышку стройным узеньким пальцем. Откуда только она набралась такого изящества, певучей слитности жестов? Все ее бытовые движения были как-то условны, слишком грациозны для скучной действительности; глядя на них, Энэн вспоминал танец Золушки с метлой в балете Прокофьева...

После чая Майка встала из-за стола, обошла комнату, все осмотрела (для него всюду, куда падал ее взгляд, вспыхивал как будто солнечный зайчик). Обстановка ее поразила — в первый раз она видела старинные вещи, альбомы, красное дерево.

— Прошлого века? — спрашивала она. Энэн кивал утвердительно, а один раз сказал:

— Позапрошлого.

Пианино тоже было старинное, кленовое с инкрустациями, с бронзовыми подсвечниками, в которые по традиции все еще были вставлены свечи. Майка села за пианино, откинула крышку, спросила:

— Можно?

— Ну конечно!

Тронула клавиши, запела. Он уже и пошевелиться не мог — весь слушал, всем своим старым телом, утонувшим в кресле, каждым волоском, каждым ногтем... «Нет, не любил он», — пела она старинный романс, прославленный когда-то Комиссаржевской в роли Ларисы. Энэн его в том знаменитом исполнении не слышал (в год смерти Комиссаржевской он еще был ребенком), он только читал о том, как она пела и как плакал весь театр — партер, галерка и ярусы... И сейчас, когда Майка пела, все те давнишние традиционные театральные слезы в нем закипали. Он слушал и плакал за своими очками, не смея достать из кармана платок. Даже Дарья Степановна вышла из кухни, стала в дверях с железным лицом, прослушала романс до конца и кратко сказала:

— Гоже.

Когда гостья ушла, Дарья Степановна учинила профессору форменный допрос: кто, да что, да как зовут, сколько получает, какая площадь. Имя Майка не одобрила:

— Корова Майка, коза, а не баба. У нас в деревне две Майки коровы, одна коза.

О пении отзывалась одобрительно:

— Дело хорошее, не червяки.

«Червяками» она звала интегралы, осуждая их обилие в книгах Энэна: «Люди почитали бы, а у вас не по-русски с удочкой ходить».

С тех пор каждый раз, как приходила Майка, Дарья Степановна требовала: «Нет, не любил он». Всегда определенная во мнениях, к Майке она относилась двойственno. С одной стороны, легкомыслие, неозабоченность (в ее модели мира совесть и озабоченность были почти равнозначны). С другой стороны, пение, хоть по телевизору показывай. Только зачем ей учиться, деньги переводить? Пора самой зарабатывать, поет лучше другой артистки.

А Энэн к Майке Дудоровой привязался всем сердцем. По возрасту она годилась ему во внучки — он ее не удочерил, а «увнучил», если не формально, то по существу. Составил завещание на ее имя. Даже не нашел в себе великодушия скрыть это от нее — хотел сам видеть искру радостной благодарности в ее глазах. Искры, впрочем, не получилось — Майка и бровью не повела. Не то чтобы она была равнодушна к деньгам, материальным ценностям — просто отдаленное будущее для нее не существовало. Само слово «завещание» было ей так же чуждо, как, скажем, «вексель» — откуда-то из мира капитализма. Зачем писать завещание? Хочешь порадовать — дари. И сейчас, а не после смерти. Он и дарил — то одно, то другое. Приходила она часто, но ненадолго и почти всегда что-нибудь уносила с собой. Не выпрашивала — просто он ей дарил от души, опасаясь только зорких глаз Дарьи Степановны.

— Куда бокал? — спрашивала она голосом богини правосудия. — Опять Майке-Лайке?

Приходилось признаваться — да.

— Ваше добро, — говорила Дарья Степановна, — в землю не унесешь, на том свете с фонарями ля-ля-ля.

А сама Майка безотносительно к подаркам привязалась к Энэну, по-своему его полюбила. Никогда не было у нее ни отца, ни деда, а это нужно человеку: отец, дед. Называла его «дядя папа» — эта нежная детская пара слов трогала его до сердцебиения. Нет-нет да и приласкается — поцелует, погладит.

Ощущение прохладных губ на своей щеке Энэн берег часами, чтобы не спугнуть. Он был счастлив.

Крушение началось не скоро и произошло не сразу. Началось с того, что Энэн случайно встретил на улице Варвару Владиславовну. Та шла, осторожно ступая распухшими крохотными ногами, разглядывая тротуар в лорнет, этакий прелестный анахронизм. Энэн обрадовался: сама судьба посыпала ему случай узнать об успехах своей любимицы. Подошел, поздоровался и:

— Ну как у вас учится моя protежe? Делает успехи? Варвара Владиславовна удивилась:

— Ваша protежe? Она у меня больше не учится. И проходила-то всего месяца два. Я тогда же вам послала записочку — неужели не помните? Конвертик с фиалочкой.

— Простите, забыл. Напомните, что там было, в записке.

— Писала вполне откровенно: дальнейшего смысла в уроках не вижу. Перспектив нет, голосок не держит, диафрагма жесткая. О консерватории речи идти не может. Я ей все вполне откровенно высказалася, она, кажется, не очень и огорчилась. Просила ее передать вам записочку. Неужели не передала?

— Теперь припоминаю, — солгал Энэн, — да, именно, передавала вашу записку. Простите, совсем забыл.

— Старость не радость, — вздохнула Варвара Владиславовна, — я теперь лечусь у гомеопата, чудеса делает, вдохнул в меня новую жизнь. Хотите, дам адрес?

— Нет, спасибо. Простите за беспокойство, будьте здоровы.

Приподнял шляпу, отошел, деревянно переставляя вдруг онемевшие ноги и оставил Варвару Владиславовну размышлять о том, как он сдал и как старит мужчину вдовство и одиночество.

А Энэн шел совсем оглушенный и думал: «Бедная девочка! Не хотела меня огорчать. Может быть, рассердить боялась? Это меня-то? О, я ее поддержу, успокою».

Ждал встречи. Когда забежала Майка — свежая, воздух весенний, — спросил как будто невзначай (сердце ужасно билось):

— Ну как твои уроки с Варварой Владиславовной?

Спросил, нарочно глядя ей прямо в глаза.

— Уроки? Хорошо.

— Что же вы сейчас проходите?

Опять — прямо в глаза. Там все чисто — прозрачная правда.

— Арию Лизы из «Пиковой дамы». Хотите, спою? — И завела:

Ах, истомилась, устала я.

Дарья Степановна немедленно вышла из кухни и стала в дверях.

Ночью и днем.

раскатилась Майка.

Рассказать ей про встречу? Нет, он не мог.

— Знаешь что, девочка, — сказал Энэн, — я сегодня неважко себя чувствую. Ты уж меня извини.

— Истомились? Устали? — подразнила она.

— Просто болит голова.

— Бедный дядя папочка! Сейчас мы вас полечим. — Прижалась прохладной щекой к его лбу. — Ну как, помогает?

— Пока нет. Знаешь что, деточка, я хочу лечь. Другой раз приходи, ладно?

— Может быть, врача вызвать? — обеспокоилась Майка.

— Не надо. Просто полежу. Иди, пожалуйста.

Никогда еще он ее от себя не гнал. Майка ушла неохотно. Что-то здесь было не совсем обычное, и она тревожилась. И не только эгоистичной, но и человеческой тревогой. Смешной старичок был ей все-таки дорог. Снова, как перед смертью матери, горлом ощутила она подступающее одиночество. Если дядя папа умрет, она останется совсем одна на земле... К ее чести, о завещании она и не вспомнила.

А Энэн лег и думал целую ночь. Назавтра встал желтый, как после тяжелой болезни. Попробовал ноги — вдут.

Ну что ж? Ничего нового он, в сущности, не узнал. Что Майка, мягко говоря, не слишком правдива, он догадывался давно, но закрывал на это глаза. Водились за нею мелкие, с виду невинные выдумки.

Рассказывала о каких-то происшествиях, которых будто бы была свидетельницей. Уличная катастрофа со всеми подробностями, вплоть до окровавленной джинсовой куртки водителя. Или умершая вдруг от обычного гриппа подруга. Или град необычайных размеров — с куриное яйцо. Беда в том, что, любя Майку, он ее рассказы слишком хорошо запоминал. Когда случалось ей в забывчивости их повторить, то какие-нибудь подробности не совпадали: джинсовая куртка превращалась в свитер, имя подруги менялось. Что же касается града с куриное яйцо, то его принадлежность к области чистой фантазии была ясна с самого начала. Майка врала, чтобы привлечь внимание, поразить, выделиться, — так врут дети, рассказывая небылицы. Не врут — фантазируют. И Энэн, зная эту черту за Майкой, ее не осуждал, скорее умилялся, любуясь.

Бывали черточки и похуже. Узнав от него о рано умершем сыне Коле, придумала себе брата, тоже Колю, тоже рано умершего. И не то страшно, что придумала, а то, что говорила о нем со слезами на глазах. О том, что никакого брата не было, Энэн узнал потом из слов самой же Майки:

— У мамы, кроме меня, других детей никогда не было.

— А Коля? — спросил Энэн.

Она удивилась, начисто забыв сочиненного брата, а сообразив, вывернулась, быстро перевела Колю в двоюродные. Вообще не затрудняла себя хитросплетениями, на авось громоздила выдумку на выдумку, не заботясь об их внутренней связи. Это опять-таки была черта ребячья, птичья, чем-то даже трогательная.

Все это о Майке он знал и раньше. Почему же теперь его так поразила выдумка с уроками пения? Пожалуй, потому, что это был обман не внезапный, а длительный, не эпизод, а система. Отнести его к категории детских выдумок было трудно.

А в сущности, почему нет? Детское легкомыслие было и в этой системе. Она не была даже внутреннее скреплена. Ведь знала же Майка, что он знаком с Варварой Владиславовной, что в любую минуту обман может открыться? Знала, но это ее не беспокоило. Она жила данной минутой, без мысли о будущем. Он, привыкший всегда обдумывать свои поступки, строить мысленно все «деревья» их возможных последствий, понять этого не мог. А был ли он прав?

Мучительно пытаясь поставить себя на место Майки, понять ее психологию, он мысленно сконструировал ее беспечный, мотыльковый, непрочный внутренний мир и понял, что она лгала, в сущности, безгрешно — лгала как поет птица. А его собственное фанатическое отвращение ко лжи — не предрассудок ли это? Не результат ли воспитания, строгого, традиционного, с детства вколовившего в его сознание заповедь «не лги»? Жизнь учит, что хочешь не хочешь — лгать все равно приходится. Одним больше, другим меньше. Одни от этого страдают, другие нет — вот и вся разница.

Есть французская поговорка «все понять — значит, все простить». Кажется, он понял Майку. И, безусловно, простил. Когда она забежала на другой день, искренно обеспокоенная его болезнью, был растроган. Вопроса об уроках пения решил не касаться. Все шло по-прежнему. По-прежнему переходил из рук в руки конверт с деньгами, звучало беглое «спасибо». В Майкином репертуаре появлялись новые арии — может быть, сама, может быть, с другим педагогом, но она, безусловно, работала, шла вперед. В конце концов обман с уроками пения был прощен и почти забыт.

Куда серьезнее был случай, когда Энэн, войдя в свой кабинет, застал Майку спешно задвигающей ящик стола, где он хранил деньги, конечно, несчитанные. Нежно вспыхнувшие щеки, невинные глаза: «Я искала...» Он не дослушал, что она искала, вышел, пил воду.

Вот это был не толчок — удар. Видно, заповедь «не укради» была в него вкочечена крепче, чем «не лги». Но и тут он пытался чем-то оправдать Майку. Зачем не дослушал? Может быть, не за деньгами полезла она в этот ящик? Может быть, просто из любопытства? «Я искала...» Может быть, искала какие-то бумаги, интересуясь его внутренним миром? Нет, не может быть. До его внутреннего мира ей явно дела не было. А если брала деньги, то почему, зачем? Неужели он не дал бы ей, если бы она попросила? Он бы все ей отдал, все. Почему же не попросила? Не хотела унижаться? Вряд ли.

Понять он не мог. Не понял, но простил. Он не разлюбил Майку, но между той частью души, где он любил, и той, где не понимал, как будто выросла стенка.

Время шло. Подошел срок экзаменов в консерваторию. О них говорилось задолго. Майка к ним готовилась, волновалась, худела, реже стала к нему заходить. Из общеобразовательных: история,

сочинение. Из специальных: сольное пение (два тура, русская народная песня и романс) и самое трудное — сольфеджио.

Начались экзамены. О каждом она рассказывала во всех подробностях: что спрашивали, что отвечала, что забыла, сколько получила. Он слушал, боясь за нее и радуясь, с каждым словом веря ей все больше и больше. Самый страшный экзамен — сольфеджио — сдала на четверку. «Гоняют безбожно! Главный хотел поставить пятерку, но ведьма не согласилась». Тут же был дан вполне реалистический портрет «ведьмы».

Наконец прибежала сияющая:

- Дядя папа, поздравьте, меня приняли!
- Поздравляю. От всей души! Поцеловал ей руку.
- Дядя папа, это все вы. Спасибо, спасибо!!

Повисла на шее — душистая, легкая. Был счастлив. Очевидно, все же брала уроки, хоть и не у Варвары Владиславовны...

Когда Майка ушла, задумался: «Брала уроки. Принята. Похоже на правду... Неужели унижусь до проверки?» Унизился. Позвонил. Услышал:

- Дудорова Майя Алексеевна? Нет такой в списках.
- Может быть, экзаменовалась, не приняли?
- Сейчас проверим... Нет, не экзаменовалась.
- Спасибо, — сказал Энэн и положил трубку. (На кафедре говорили, что он и палачу сказал бы «спасибо» за отрубленную голову.)

Так. Отошел. Сел, уронил руки, вспотел лысиной. Ну что ж? В конце концов, и к этому он был готов.

Одно его терзало: зачем? Каков был смысл всей этой сложной выдумки? Именно бессмыслица его угнетала. Будь все это оправдано любой целью — пусть низкой! — он не был бы так убит. Подло, низко, но целесообразно и, значит, по-своему объяснимо. Здесь было нечто мистическое, вне разума. Он же, пожизненный раб разума, не мог от него отречься. Подłość отвратительна, но постижима. Бессмыслица непостижима.

Человеческие отношения основаны на возможности вмыслить себя в другого. Посмотреть в глаза и представить себя на его месте. Тут такой возможности не было, чувствовалась полная инопородность. Между человеком и собакой такой пропасти нет. Между человеком и рыбой в аквариуме — есть. Заглянув в желтый выпуклый глаз рыбы, можно ли человеку войти в ее психологию?

...Вскоре после своего «поступления в консерваторию» Майка уволилась с работы. Петр Гавrilovich из себя выходил, пытаясь ее удержать, сулил разные льготы — напрасно. Ссыпалась на серьезность предстоящей учебы, ушла.

Что она делала с тех пор? Где болталась? С кем была связана? Энэн и не спрашивал. Денег она не просила — он сам давал ей каждый месяц не меньше, чем прежде, а то и больше. Она прятала деньги в сумочку не считая, благодарила небрежно, как будто ни для нее, ни для него это значения не имело. Заходила не часто, пела совсем редко (говорила, надо беречь связки). Одета всегда была прелестно (впрочем, он в одежде плохой судья). Смущало его то, что свитеры, кофточки, юбки слишком часто менялись. А еще украшения: кольца, кулончики, брошки... Он говорил осторожно:

- Маечка, этой вещи я на тебе не видел.
- Ах, это? Мне подруга дала поносить.

Там, в ее неизвестном кругу, видно, было принято «давать поносить». В его время в его среде таких обычаем не было. Люди носили вещи пусть бедные, но свои. Да, времена меняются, пора привыкнуть.

Однажды пришла деловая, обыкновенная, сообщила новость:

- Дядя папа, я выхожу замуж.

Неужели и это выдумка? Оказалось — нет. Привела жениха знакомиться: высок, строен, молчалив, похож на индуза (так и видишь его в чалме). По профессии инженер. Энэн жениха одобрил.

Деньги на свадьбу конечно же дал он. Церемония, на его взгляд, была ужасна. Дворец бракосочетания, в своем пластмассовом великолепии очень похожий на крематорий, гнездо-дилище оптовых искусственных ритуалов. Пока одна пара брачуется, несколько других с «сопровождающими

лицами» ждут очереди, топчутся, перешептываются, хихикают. Белые платья невест, черные костюмы женихов (все куплено в одном и том же магазине для новобрачных). Изукрашенная машина с розовыми накрест лентами, с куклой на радиаторе, с непристойно надутыми, бьющимися на ветру резиновыми цветными колбасами... «Боже мой, — тоскуя думал Энэн, — для того ли мы в свое время расставались с церковными обрядами, чтобы заменить их этакой синтетической чепухой?»

Дальше — хуже. Ресторан, множество людей, пьяных, остряющих на современном жаргоне, кочующих между столиками (кто чей гость — уже неясно). Галдеж, хохот. Курящие синевекие девицы в брючных костюмах, юнцы с волосами до плеч и прыщами на подбородках. Кто-то требует еще коньяку, машет розовыми десятками. Крики «горько!» перекатываются над мокрыми скатертями. Жених-индус невозмутимо встает и целует Майку, она в фате, жеманится... И опять «горько-о-о!».

Молодые въехали в кооперативную квартиру, деньги на которую дал опять-таки он. Да что деньги! Месяцев через пять после свадьбы Энэн, разбирая свою библиотеку (подчищаться он стал перед смертью), обнаружил пропажу многих любимых книг. Книги были отобраны с толком: редкие издания, экземпляры с авторскими надписями. Случайно из чьего-то разговора на кафедре Энэн узнал, что Майкин муж не только инженер, но еще и известный по всей Москве книжник, у которого можно за хорошую цену достать что угодно...

Он и тут промолчал. В конце концов, он никого не поймал с поличным и, правду сказать, не хотел ловить. Пусть все идет как шло. Не так уж долго осталось.

Пусть, пусть... Размышляя об этом, он обвинял себя в грехе попустительства. Где граница, за которой оно переходит в беспринципность? Кажется, он эту границу уже перешел. Что делать — иначе он не мог. Стар, устал.

Одно только сделал: пошел к нотариусу и изменил завещание. Деньги, вещи по-прежнему Майке. Кое-что не без робости — Дарье Степановне. Книги — институту.

Майке будет досадно, когда узнает: книги теперь в цене. Что поделаешь — пусты.

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Производственная деятельность кафедры профессора Зава-лишина — лекции, групповые занятия, лабораторные работы, консультации, зачеты, экзамены. — шла как-то сама собой, без особого руководства, и шла, в общем-то, на высоком уровне. Так нередко бывает в давних, удачно сложившихся коллективах с хорошей изначальной закваской, где традиция органически противостоит халтуре. Преподаватели, нагруженные как ломовые кони, тянули исправно, и понукать их не требовалось. Лодырей и очковтирателей здесь практически не было; если и появлялся случайно кто-нибудь, не слишком-то расположенный «вкалывать», его просто внутренним давлением выпирало наружу, в какое-нибудь НИИ.

Преподавательская работа вообще тяжела, а здесь она была поистине каторжной. Кафедра вела множество курсов, большинство из них новые, необкатанные, без учебников, без задачников, без готовой методики — словом, научная целина. Эту целину поднимали скопом, ошибаясь, исправляя ошибки и тут же впадая в новые. Учебные планы менялись нервно, с быстрой хамелеона: только-только приспособишься к одному, а уже другой на подходе. Нагрузка была чудовищная, на грани физической выполнимости. А требовалась еще научная работа, для которой нужно было ходить по библиотекам, знакомиться с периодикой. А откуда время? В ход пускались ночи, выходные дни, отпуска — и их не хватало. Временами какое-то веселое отчаяние помогало людям тянуть свою лямку. Лева Маркин как эмблему кафедры повесил на стене копию с репинских «Бурлаков»...

Помимо производственных, были еще дела организационные — отчетность, расписание, переписка, оформление. Всеми этими делами ведала секретарь-делопроизводитель кафедры Лидия Михайловна — немолодая худощавая женщина с черно-бурой стрижкой, горбатым носом и походкой «бегущая по волнам».

Вузовская жизнь, как и всякая другая, имеет две стороны: действительную и мнимую, реальную и бумажную. Рядом с каждым реальным фактом растет его бумажная тень. Взд и вперед, вверх и вниз ходят волны переписки: циркуляры, отчеты, акты, сводки, распоряжения, запросы и ответы, пояснения

по поводу и без повода. В этой фиктивной бумажной жизни есть свои законы, свои приличия, своя лексика и стилистика, свои скрупулезные требования к формату, шрифту, ширине полей, размеру отступов. Свежему человеку душно в бумажном мире; человек привычный и искусный находит в нем даже некую прелесть.

Таким артистом бумажного мира была Лидия Михайловна. Законы канцелярской кухни она превосходно знала, и благодаря ей кафедра Завалишина по бумажной линии всегда числилась в передовых: отчеты и сводки сданы вовремя, с соблюдением всех правил ГОСТА, все циркуляры пронумерованы и подшиты, все календарные планы в ажуре. Приходи любая комиссия, проверяй — придраться не к чему. Естественно, преподаватели охотно передоверили всю бумажную часть Лидии Михайловне и даже свои индивидуальные планы подписывали не читая...

Странное явление, фантом вузовской жизни — индивидуальный план преподавателя! Никогда и никем не читаемый, кроме составителя и машинистки, пылящийся в нескольких экземплярах в шкафах различных инстанций — кафедры, деканата, учебной части... А ведь на его составление затрачивается труд, и немалый. Для непривычного человека написать индивидуальный план — целая задача. Надо знать, что можно писать, а чего нельзя, а если можно, то куда: в первую или вторую половину нагрузки? И если писать, то в каком количестве? Где надо проставить точные сроки выполнения, а где можно ограничиться неопределенным «в течение года»? Сколько в часах «стоит» дипломник, курсовик, аспирант, соискатель? На все это существуют нормы, зафиксированные в руководящих документах двадцатилетней давности и более поздних поправках к ним. Эти нормы, отлично известные Лидии Михайловне, были неизвестны, а главное, не нужны преподавателям. В свой индивидуальный план они никогда не заглядывали. Часы аудиторных занятий регулировались расписанием и были святы; все же остальное делалось не по плану, а по необходимости (хоть лопни, а надо!). Огромное время занимала подготовка к занятиям, но именно этот вид работы в плане ставить было нельзя. Никак и nowhere не учитывались переэкзаменовки, тоже съедавшие уйму времени. А рецензии на чужие научные работы, свалившиеся как снег на голову и всегда срочно? А участие в конференциях? А индивидуальная работа со студентами? Разве можно предвидеть, сколько времени придется провозиться с неуспевающим или (того хуже!) с успевающим, у которого вдруг не заладится научная тема? Всякий, кто когда-либо сам занимался научной работой, знает, какая это капризная вещь и как плохо поддается планированию и учету.

В общем, жизнь преподавателя была непрерывным барахтаньем в куче неотложных дел, в вечном заторе недоделанных... Нет, никакого отношения к этому барахтанью индивидуальный план не имел; он был чем-то вроде молитвы перед учением в дореволюционной гимназии (такое сравнение сделал однажды на заседании кафедры сам Энэн, немало смущив Кравцова).

От всей этой нудной формалистики преподавателей освобождала Лидия Михайловна. С ее толковостью, энергией и цепкой памятью она была больше чем секретарем — деловым стержнем кафедры. Энэн отчетностью давно не интересовался, на бумагах ставил подписи не читая. Кравцов, за последние годы вошедший в силу, по всем деловым вопросам обращался к Лидии Михайловне, да и остальные преподаватели тоже.

Бывают семьи, где ничего нельзя тронуть, переставить или найти без матери. В роли такой матери-хозяйки на кафедре была Лидия Михайловна. Работая, она всегда была окружена облаком табачного дыма (ей единственной Кравцов разрешал курить на кафедре) и казалась со стороны этаким канцелярским заводом со своим оборудованием — папками, скрепками, дыроколами. У нее всегда можно было достать что понадобится — клей, ножницы, иголку с ниткой, точилку, резинку. На бумагу она была скуповата и порицала легкомысленных преподавателей, зря рисовавших на ней чертей и другие предметы. Она ведала на кафедре всей материальной частью — мебелью, клавишными машинами, средствами наглядной агитации, табелем-календарем. Разводила и холила на окнах цветы — самые строптивые кактусы у нее цвели. Гибель каждого кресла или стула была для нее личной потерей, а непомерный вес Спивака — постоянной угрозой: «Семен Петрович, вы бы как-нибудь бочком садились, поаккуратнее!» Приходила она раньше всех, уходила позже...

Человек, на которого другие взваливают свою неприятную работу, часто приобретает над ними власть. Поработление — плата за комфорт. Кафедра слегка роптала на власть Лидии Михайловны,

но вынуждена была с нею мириться. И, как это часто бывает в отношении людей первой необходимости, самой Лидии Михайловне уделялось очень мало внимания. Мало кто даже знал о ее семейном положении, совсем никто — о семейных невзгодах.

А между тем жизнь Лидии Михайловны была сложная и не очень счастливая. Вдова, она жила с дочерью Ларисой и ее мужем Борисом («Ларисы-Борисы» называла она их, сердясь). С зятем она не ладила, из-за этого перестала ладить и с дочкой. Сама болезненно аккуратная, она терпеть не могла беспорядка, а в комнате молодых он просто клубился, время от времени убегая через край, как молоко на плите. Из двух смежных комнат Лидия Михайловна, выдавая дочь замуж, великолушно взяла себе проходную и теперь горько об этом жалела. Проходя через ее комнату, Ларисы-Борисы то и дело что-нибудь в ней оставляли: брюки, тапки, окурки. Лидия Михайловна, сама курящая, окурков терпеть не могла. Особенно ее раздражала манера Бориса замачивать свои грязные носки прямо в раковине и ждать — авось кто-нибудь да выстирает. Покойный муж Лидии Михайловны при всех своих недостатках (бабник, пьяница, характер тяжелый) такого себе не позволял, всегда скажет: «Постирай».

А что у молодых творилось в комнате — уму непостижимо! Грязная посуда, сухой хлеб, одежда, обувь — все навалом, без толку. Книги на окнах, на столах, на полках, прямо на полу... Борис, когда в духе, называл все это «культурным слоем» и смеялся. Не смешно! «Сгноили комнату», — бормотала про себя Лидия Михайловна. Прибирать у них она не решалась, с тех пор как однажды Борис устроил ей нагоняй, а она всего-то сложила книги стопочками и вытерла пыль. А у него на пыли, оказывается, был важный телефон записан.

Когда родился внучек Миша — пухлявый, черноглазый, косенъкий, — Лидия Михайловна вспыхнула было душой, полюбила мальчика, готова была ради него даже бросить работу, всю себя посвятить ребенку. Но от внука ее отстранили. Носили его в ясли, ребенок простужался, кашлял, а Лариса хоть бы что, как будто и не мать. Быть матерью в представлении Лидии Михайловны значило непрерывно тревожиться. Молодые не тревожились, были беззаботны, вечно без денег, часто звали гостей, шумели, курили (тут же, при Мишеньке!). Треникали на гитаре, орали туристские песни, заводили магнитофон (все вместе это называлось «романтика на дому»). Мишенька просыпался, хныкал, наверно, мокрый; вместо того чтобы перепеленать, успокоить, его сажали за стол, давали пригубить вина (это с таких-то лет!). Однажды ночью ходот был: накрутили Мишеньке волосы на бигуди, нашли игрушку! Отдали бы ребенка ей, она бы совсем иначе его воспитала: режим, сон, еда, прогулка, все вовремя, ходил бы чистенъкий, нарядный... Да разве отпадут? Как собаки на сене.

Была мечта разменяться — квартира-то ее! Себе отдельную однокомнатную, а молодым комнату в коммуналке. Пусть-ка попробуют со своими привычками да в чужие люди! Те небось не простят: хочешь не хочешь, а в свое дежурство изволь мыть-убирать все места общего пользования. Да еще какой-нибудь дотошный сосед, проверяя, хорошо ли вымыто, чуть не в унитаз голову сунет (был у нее такой дотошный на прежней квартире). Странным образом Лидия Михайловна не столько мечтала о своей однокомнатной, сколько о том, как трудно будет в коммуналке без нее Ларисам-Борисам. Мечты покамест так мечтами и оставались: на размены и переезды не было денег. Те сбережения, что были скоплены за долгую жизнь, ухнули в один день, когдаправляли свадьбу, даже в долги пришлось войти, чтобы показать себя не хуже людей. Думала тогда — заживем по-хорошему, при полном взаимном уважении, а вышло вот как. Родила, вырастила дочь, а она чужая, совсем «обо-рисилась». Хуже нет одиночества, чем в своей семье.

На работе Лидия Михайловна привыкла ко всеобщему уважению и, не находя его дома, страдала. Ей бы развернуться, расправить плечи, взяться за дом с той же сноровкой, с какой хозяйничала на кафедре, а нельзя. Там хороша, здесь не нужна. Так, видно, и уяннет без толку ее полустарая жизнь. Не успеешь оглянуться — и настоящая старость придет. Как подумаешь — и вспомнить нечего. Мужа-то не очень любила, хоть и терзалась его изменениями. Дочку Ларису обожала, пока та была маленькая — головка светлая, шелковая, бант качается на трех волосах, ручки-ножки пухлые... Но становясь старше, дочь отходила — в сторону и вверх. Все ничего, пока не вышла замуж, а теперь — ну копия Бориса. У того каждое слово с насмешкой, с подковыркой. Вроде бы не грубит, а вежливо издевается. И Лариска туда же, за ним. Думают, мать не видит, как они между собой взглядами перекидываются. А написано в этих взглядах — устарела. Когда приходила Лариса с работы, спрашивала: «Мама, как насчет заправки?» —

Лидия Михайловна грела ей обед молча, кормила без радости. Это же последнее дело — свое родное дитя без радости кормить! Довели. А Борис ест, читает газету, насвистывает, спичкой в зубах ковыряет. Если в настроении, скажет: «Спасибо, товарищ теща», а то и так, без благодарности встанет из-за стола. Оставит в тарелке раздавленную сигарету и спичку, которой в зубах ковырял. Лидия Михайловна мыла посуду по-своему, добросовестно, в трех водах, а про себя думала с горечью: «Единственno, чем нужна и полезна, так это питание, но и за него доброго слова не слышу».

Заставил ее призадуматься один случай — подруга Настя, ее ровесница, взяла да и вышла замуж. Познакомились в кино, рядом сидели. Он вдовец, пенсионер, солидный, непьющий-некурящий, пенсия сто двадцать да ее зарплата сто. На эти деньги вдвоем вполне можно прожить, даже в отпуск съездить раз в году. Настя, говоря объективно, не такая уж интересная; она, Лидия Михайловна, пожалуй, получше. У Нasti одно преимущество — полнота, но теперь она не очень котируется. И как хозяйка Лидия Михайловна гораздо выше. И вот надо же — одна вышла, а другая нет.

С тех пор Лидия Михайловна наряду с мечтой о размене квартиры стала мечтать еще о замужестве. Конечно, не по страстной любви (стара уже для этого), а по взаимному уважению. Стала присматриваться к дворовым старичкам, вечным игрокам в козла или шахматы, — никто не годится. Кто выпить любит, у кого любовница (у одного даже две!), у кого взрослые дети на шею сели. А главное, никого из них не могла она от души уважать.

Трудно сказать, в какой именно день пришла ей в голову мысль, что ее заведующий Николай Николаевич тоже, как и она, одинок и вдов и что можно было бы в принципе выйти за него замуж. Сперва она эту мысль отвергла как несбыточную, а потом стала думать: почему бы и нет? У нее тоже образование среднее, законченное, а женятся и на простых. Женятся не для научных разговоров, а для уюта, тишины, ухода. Стала все чаще к этой мысли возвращаться, допускать в свои мечты и в конце концов до того домечталась, что Николая Николаевича от души полюбила. Нравилась ей его старомодная учтивость (поздравляя с праздниками, каждый раз целовал ей руку). Сама наружность Энэна, отнюдь не вдохновляющая, стала ей со временем нравиться. Умиляла ее белая бахромка вокруг лысины, чисто промытые старикивские уши, выпуклые розовые ногти на сухих маленьких руках.

Неизъяснимыми путями ходит иногда чувство. Мечтала о счастье для себя, а полюбила — и нету себя, только он, все для него. Угодить, позаботиться, облегчить ему жизнь. Пока что выражала она свое чувство как могла — множеством мелких услуг. Подписывалась для него на газеты и журналы, всеми правдами и неправдами отвоевывая дефицит. Точила ему карандаши до самой изящной тонкости (знала, что любит рисовать карандашами). Держала в порядке его письменный стол, до блеска начищала голову витязя. Только успевали появиться на рынке подснежники, как они уже украшали обширное черное поле энэновского стола. Осенью разноцветные листья, зимой хвойные ветки. Все это ставилось не наобум, веником, а по-японски, со вкусом. Когда Энэн, наклонясь близоруко, искал что-то в ящиках стола, она сразу была тут как тут — помочь, найти, вытащить. Преувеличенная вежливость, с которой он всякий раз ее благодарил, умиляла Лидию Михайловну — что значит старинное воспитание! Именно такой — заботливо-вежливой — представляла она себе идеальную семейную жизнь.

Как-то раз Энэн забыл на кафедре очки. Лидия Михайловна занесла ему их домой, посмотрела внимательно, как он живет. В квартире было чисто, но не особенно; кое-где зоркий глаз Лидии Михайловны заметил даже пыльцу. Под тахтой стояли маленькие, почти женские тапки с примятymi задниками, стояли не параллельно друг другу, эту непараллельность она тоже ревниво отметила. Меньше всего ей понравилась Дарья Степановна, не удостоившая ее поклоном и сразу же с громким щелканьем включившая телевизор.

После этого визита облачные мечты Лидии Михайловны приобрели своего рода конкретность. Именно в этой квартире с ее высокими потолками, большими окнами, дрожащими от уличного шума, видела она себя с ним. На окнах развесить цветы, повесить портьеры для заглушения шума. Мебель починить, сменить обои, рисуночки выбрать повеселее. Много значит умелая женская рука! А главное — ласка, преданность. Проснуться утром рядом с ним на широкой тахте (у него под ухом думочка с вышитым уголком, край уха завернулся беспомощно, лоб морщится от мыслей), встать потихоньку, чтобы не разбудить, легко, на цыпочках скользнуть в кухню... А он все-таки проснулся, тянется к ней, берет ее руку, нежно с закрытыми глазами ее целует, а у нее просто сердце заходится... Боже ты мой, о

чем только не мечтает одинокая женщина, а смысл один: тепла, ради бога, тепла!

Когда на кафедре появилась Майка Дудорова и все стали замечать смешное пристрастие Энэна к этой пустышке, Лидия Михайловна была уязвлена в самое сердце. Видеть любимого неверным — это еще туда-сюда, видеть его смешным — вот что ужасно! Шуточки по поводу Энэна и Майки она выслушивала с каменным лицом, ничем себя не выдавая. Мечта отодвинулась, но не погибла. День, когда Лидия Михайловна узнала, что Майка уволилась, был для нее светлым праздником. Любимый снова как бы ей принадлежал. Каждый из редких с ним разговоров она хранила в памяти, даже отмечала легким, ей одной понятным крестиком в табель-календаре. За последние месяцы крестики становились чаще. Иногда за толстыми очками Энэна она замечала как будто искру ответного чувства (на самом деле это было просто универсальное внимание, сострадание к людям, донимавшее его в последнее время). Но трудно было переступить черту одиночества — две черты двух одиночеств, окружавшие каждого из них как два непересекающихся круга. Вот если бы по какому-то счастливому случаю им удалось объясниться...

Случай такой представился неожиданно. Праздновалось семидесятипятилетие со дня основания института. На самом деле семьдесят пять лет назад был основан не этот институт, другой, но этот по праву считался его преемником («Другой Юрий Милославский», — съязвил по этому поводу Маркин). Так или иначе, юбилей праздновался. Ряд старейших сотрудников (Н. Н. Завалишин в том числе) были награждены орденами и почетными званиями. На торжественном заседании совета читались адреса, вручались награды. Вечером банкет. На другой день ректорат организовал увеселительную поездку по речному маршруту. Было арендовано несколько теплоходов, оборудованных буфетами, громкоговорителями и киосками разного направления. Билеты на кафедре распространяла Лидия Михайловна, профорг. Почти все изъявили желание ехать — была весна, ранняя жара, повальное цветение деревьев. Молодежь соблазняло купанье, загоранье, танцы на палубе; людей постарше — просто возможность прокатиться по воде, всегда имеющей особую притягательность для горожанина. Лидия Михайловна подошла, предлагая билеты, и к Энэну: в том, что он ехать откажется, она ни минуты не сомневалась. Энэн никогда не участвовал ни в каких коллективных мероприятиях, ни в праздниках, ни в экскурсиях, даже на юбилейный банкет отказался пойти наотрез. Лидия Михайловна обратилась к нему только из вежливости и вдруг вместо обычного учтивого, но решительного отказа, каким он отвечал на все предложения, увидела за толстыми очками какое-то колебание...

— А то и в самом деле, возьмите билет, поедем! — сказала она, и сердце у нее подпрыгнуло до потолка. — Вы себе не представляете, прямо сказочная поездка! Каюта отдельная, все удобства. Устанете — приляжете...

— Да нет, — сказал он, но в его «нет» был оттенок «да», и Лидия Михайловна возликовала:

— Ну поедемте, честное слово. Весь коллектив умоляет.

Случившаяся тут же Нина Асташова ее поддержала, правда довольно сурово:

— В самом деле, почему бы не поехать раз в жизни?

— Вы так считаете? — спросил Энэн.

— Безусловно, — ответила за Нину Лидия Михайловна.

— Желание дамы — закон, — неожиданно сказал Энэн, полез в карман за бумажником, вынул требуемую сумму и взамен получил билет первого класса, с отдельной каютой.

«Он согласился!» — ликовала Лидия Михайловна. Это значило почти «он мой!». Она не могла знать, что как раз в этот день Энэн был смятен духом: он только что изменил завещание, сомневался в своей правоте и готов был ехать куда угодно, лишь бы не оставаться в своей квартире с книжными полками, в которых зияли бреши. Точно такая брешь была сейчас в его душевном хозяйстве — каких-то важных элементов он недосчитывался. Всего этого Лидия Михайловна не знала и поэтому взыграла духом. Сама судьба посыпала ей вожделенный случай. Не сумеешь им воспользоваться — пеняй на себя.

В день экскурсии погода была чудесная — умеренно жарко, с ветерком, с золотыми поденками, пляшущими над водой. Энэн в каюту пойти не захотел, остался на палубе в плетеном кресле, на диво удобном, красноречиво скрипевшем при каждом движении. Он с удивлением замечал, что тяжесть, лежавшая у него на душе, становится легче, вот-вот улетучится, пузырем взлетит в небо. Причиной,

вероятно, был речной воздух, удивительно прозрачный, светлый и живой, — Энэн вдыхал его с наслаждением. Люди подходили к нему, улыбались, обращались с приветливыми словами; многие из них были ему незнакомы. Какой-то иностранец с киноаппаратом через плечо присел с ним рядом, сказал «оу!», улыбнулся. Энэн приветствовал его по-французски, по-английски, потом по-немецки; ни один из этих языков, видимо, не был иностранцу понятен. Он наставил на Энэна свой аппарат; тот, закрывшись руками, показал, что не хочет сниматься; иностранец опять сказал «оу» и отошел к киоску с сувенирами, стал прицениваться к серии матрешек. Кто-то подходил еще и еще. Но в конце концов Энэн остался один и с наслаждением погрузился в некое подобие счастья. Счастье — это когда у тебя болел зуб и вдруг перестал. Его обтекала свежая и яркая прелесть речных берегов, воды, солнца и ветра. Берега плыли, вода сияла, ветер хлопотал, разевая шарфы, косынки и волосы. Мелкие волны рябили и морчились, светясь отраженным блеском. По реке мчались нумерованные «метеоры» на подводных крыльях; от каждого острым углом отделялась головная волна, доходившая с плеском до берегов и качавшая какую-нибудь плоскодонку с рыболовом, его удочкой и его отражением. Все это сновало, сияло, светилось. Энэн, глядя кругом, не переставал удивляться легкости, вливавшейся в его душу. Окончательно растрогал его синий овал озера, видневшийся далеко, где-то у горизонта, да еще большая птица — то ли аист, то ли журавль, — летевшая поперек неба, медленно и низко махая крыльями и как бы овеявшими повисшие длинные ноги. Грация, покой и прелость всего живого были не только вовне, но и внутри, в нем самом.

Лидия Михайловна издали наблюдала за Энэном, посылая ему незримые любовные сигналы, видела у него на лице улыбку и говорила себе: «Нет, еще не сейчас. Вечером, на обратном пути». Она знала, что при вечернем освещении выглядит гораздо лучше...

Была длинная стоянка в какой-то бухте с ракат-лукумным названием. Молодежь купалась, загорала. Кое-кто шел в лес за ландышами, но возвращался, гонимый комарами, которые этой весной поторопились расплодиться. По сходням, качая их с теплоходом вместе, туда и сюда сновали люди. Разгоряченные лица, огромные букеты черемухи, сладкий запах которой был так густ, что казался тяжелым, вещественным. Увеселения шли полным ходом. Волейбол на берегу, шахматы в салоне, напитки в киосках. Энэн ни в чем этом участия не принимал, выпил за весь день один стакан чая с пирожным, все сидел на палубе в своем разговорчивом кресле, глядя с бесконечным доброжелательством на все окружающее: как канарейкой выглядывала из ветвей черемухи, взобравшись на дерево, Элла Денисова в желтом купальном костюме; как прыгали на одной ножке купавшиеся, вытряхивая воду из уха; как костлявый иностранец, раздевшись, потрогал ногой воду, сказал «оу!» и уронил туда свой киноаппарат. Люди, в общем, оставляли его в покое. Один только Паша Рубакин, успевший порядочно нагрузиться у киоска (в теории на теплоходе продавались только безалкогольные напитки, но практика всегда опережает теорию), — Паша Рубакин присел рядом с Энэном и начал своим подвальным голосом объясняться ему в любви, называя его то «всемирным корифеем», то «мировым парнем». Пьяный Паша Рубакин, как и многие русские пьяные, питал особую страсть к поцелуям и так извозил и обслонявил обе щеки своего патрона, что тот не знал куда деваться. К счастью, заряда любви у Паши хватило недолго и он упокоился, заснув сном праведника на скамье у борта. Энэн облегченно вздохнул, утерся платком и вновь погрузился в неомраченную любовь к миру.

Под вечер, приветственно и хрипло прогудев, теплоходы отправились в обратный путь. На каждом из них гремела своя музыка, и, так как они шли близко один от другого, нужно было специальное усилие, чтобы слушать свой теплоход и не слышать других. Это в обычное время раздражавшее бы его усилие Энэн в своем размягченно-благословляющем состоянии духа делал с радостью.

Тот теплоход, на котором ехали в полном составе кафедра и лаборатория профессора Завалишина, был оборудован не только мощным громкоговорителем, но и особо звучным затейником который по радио, оставаясь невидимым, эхал и ахал, щелкал и присвистывал, призывая народ веселиться. На корме под его активным радиоруководством сорганизовались танцы. Как всегда в таких случаях, танцующих женщин было куда больше, чем мужчин. Покуда шли бальные танцы — фокстрот, танго, летка-енка, — мужчины еще как-то обнаруживали себя: один-два в поле зрения. Но когда затейник с молодецким посвистом Соловья-разбойника объявил «русские народные пляски» — мужчин словно ветром сдуло. Плясать остались одни женщины, и среди них Лидия Михайловна — помолодевшая, раскрасневшаяся,

окрыленная. Как она лихо, как тонко выплясывала! Платочек в руке, плавная грация поступи, а главное, азарт счастья в каждом движении... Энэн, наблюдавший за танцами из своего говорящего кресла, прямо диву давался — откуда в ней столько огня? Видишь человека изо дня в день и не замечаешь огня, а он горит...

Лидия Михайловна по-своему истолковала любопытные взгляды Энэна и решила: пора! Как только затейник объявил перерыв («Дамы отдыхают, обмахиваясь веерами, кавалеры оказывают им знаки внимания»), она подошла к Энэну и присела рядом с ним на трехногий табурет грациозно, как бабочка опускается на цветок. Энэн не без труда встал, чтобы уступить ей кресло, она отказывалась:

— Сидите-сидите, мне так гораздо прохладнее.

Произошла невинная борьба вежливостей. Когда она кончилась (в пользу Лидии Михайловны), Энэн погрузился обратно в кресло, чуть запыхавшись от усилий («Пришла пора, — думал он, — когда уступить dame кресло уже задача»), а Лидия Михайловна вернулась на табурет. Вместо веера она обмахивалась книгой.

— Как вы хорошо танцуете, я и не знал! — сказал Энэн все с тем же выражением любовного внимания, которое было обращено к шевелящейся жизни, но ей казалось направленным на нее лично.

— Ну что вы, какие танцы в моем возрасте! Вот в молодости я и правда была плясунья, в Доме культуры выступала. Все в прошлом. В мои годы...

— Сколько же вам лет? — простодушно осведомился Энэн.

Лидия Михайловна засмутилась:

— Разве такое у женщины спрашивают? Сколько ни есть, все мои.

— Это я потому, — тоже смущаясь, объяснил Энэн, — что вы говорили о молодости в прошедшем времени. Я бы на вашем месте употреблял настоящее.

Хоть и сложно выраженный, это безусловно был комплимент.

— По секрету могу сказать, только вы меня не выдавайте, — сказала она лукаво. — Сорок шесть стукнуло, бабушка! Я не против. Пусть без молодости, но при жизни.

Она таки сбавила себе два года, не удержалась. Он вздохнул и сказал совершенно искренне:

— Вы еще молоды. Перед вами, можно сказать, вся жизнь.

Как расцвела в лучах этой фразы, как рассиялась Лидия Михайловна! «Вот он, случай, — подумала она, — ловить его, пока не поздно».

— Знаете, Николай Николаевич, я очень много о вас думаю и сильно переживаю. Как вы там живете совсем один? По себе знаю, какой бич одиночество. Некому за вами последить, поухаживать, просто улыбнуться, в конце концов. Я ничего особого про себя не скажу, образование среднее, звезд каких-нибудь не хватаю, но по хозяйству, безусловно, одарена. Дома ничего этого не ценят. Подай, принеси. Раб без права на амнистию.

Сказала и сама прослезилась.

— Не горюйте, — ответил Энэн, — надейтесь на лучшее.

— Сейчас я думаю не о себе, исключительно о вас. Знаете, я бы могла из чистой дружбы к вамходить, ну, раза два-три в неделю: пострипать, постирать, поубираться. Все-таки женская рука в доме. Я совершенно бескорыстно предлагаю, от души, от чистого сердца.

Николай Николаевич испугался:

— Нет, что вы, большое спасибо, но у меня хозяйством ведает Дарья Степановна, вполне квалифицированный специалист.

Лидия Михайловна засмеялась:

— Вы просто не знаете, что такое квалификация в домашнем хозяйстве. Делает она вам когда-нибудь меренги?

— Нет, но мне и не нужно никаких меренг, уверяю вас.

— Это вы только потому говорите, что не пробовали. Ну дайте я вам для опыта хоть один раз сделаю меренги. Пальчики оближете!

Энэн представил себе на минуту Лидию Михайловну у себя на кухне и ужаснулся:

— Нет, спасибо, честное слово, не надо. Мне и врачи запрещают сладкое.

— Хорошо, меренги отставим. Я ведь и диетическую кухню умею. Овощные зразы, паровые

котлеты, суфле...

— Ничего не надо, спасибо, спасибо.

— Но дело даже не в питании, а вообще в образе жизни. Ваша Дарья Степановна, если хотите знать, страшная старуха! Типичный деспот. Идет и не кланяется. Нет, ее необходимо от вас изолировать. Или вас от нее.

Энэн еще больше перепугался:

— Уверяю вас, вы ошибаетесь. Это достойнейший человек. — И тут же, чтобы перевести разговор, спросил, глядя на книгу, которой она обмахивалась: — Это что у вас?

— Лев Толстой, «Анна Каренина». Очень глубокая книга. Исключительно освещаются переживания женской души. Вы читали?

— Конечно.

— И какого вы мнения об этой книге?

— Самого высокого.

— Вот и я тоже. Только в одном я не согласна с автором — в его сочувственном отношении к героине. Я ее категорически осуждаю. Любовь не любовь, а старого мужа надо жалеть. Я на ее месте окружила бы его вниманием. Старый человек больше молодого требует внимания...

Из рупоров что-то загремело. Затейник громко отчихался, откашлялся и объявил:

— Перерыв окончен! Дамский вальс! Дамы приглашают кавалеров! Дамы, не стесняйтесь, приглашайте, кто нравится: это ваш вальс!

Загремел вальс, какой-то допотопный, кажется «Дунайские волны». Лидия Михайловна встала и протянула руку Энэну:

— Разрешите вас пригласить!

Он съежился, весь ушел в кресло:

— Помилуйте, я не танцую. Устарел.

— Ничуть не устарели!

Она настойчиво тянула его за руку, он сопротивлялся мучительно. Только бы оставили его в покое наблюдать шевеление жизни...

Внезапно словно из-под земли возник Кравцов. Акку-ратненький, голубая тенниска, серые брючки, тонкие усики.

— На правах, так сказать, заместителя заведующего кафедрой беру этот вальс на себя.

И поплыл, и завертелся, и увлек за собой по белым доскам палубы Лидию Михайловну. Та сперва сопротивлялась, рвась назад к Энэну (он просто погибал от испуга и нервности), но потом увлеклась танцем, откинула голову, закрыв глаза, и понеслась, полетела... «Какие красивые у нее ноги, — думал Энэн, — какая она еще, в сущности, привлекательная женщина, только подальше от меня, пусть будет счастлива, но подальше...»

Он встал, с трудом разогнул затекшие ноги, сопровождаемый сложными скрипами кресла и щелканьем коленных суставов, отошел вперед, к носу теплохода, и остановился, держась за металлический столбик. Мимо тихо текли берега, воздух был темен и прохладен, на воде качались огни. Отражения огней дробились в струистой ряби. Пахло свежей листвой и цветами. Теплоход шел, окруженный океаном прекрасных запахов. Энэн держался за столбик и как бы руководил этим вплыванием в запахи. Он удалялся в страну запахов от своего мелкого, ненастоящего горя...

Поодаль, еще ближе к носу, стояла тонкая женская фигура, тоже обхватив рукой столбик. Он испугался: «Лидия Михайловна?» — но тут же понял, что ошибся. Это была Нина Асташова. Она стояла неподвижно, его не замечая, вся вытянутая навстречу запахам, думая о чем-то своем.

Экскурсия кончилась. Автобусы развозили экскурсантов в разные концы города. Вопросы, восклицания: «Кому на Юго-Запад?», «Нет, мне на Красную Пресню!», «До института кому?» — и недоумевающее «оу?» кинофицированного иностранца, забывшего название своей гостиницы. Кравцов вызвался его сопровождать. На каком-то полуматематическом языке с примесью международных латинских терминов они кое-как начали понимать друг друга.

Энэн сел в тот автобус, который шел к институту. Было тесно от людей и черемухи, но для него сразу нашлось место. Он тут же переуступил его Лидии Михайловне, потом ей самому опять уступил

место кто-то, пошла цепная реакция уступок, и в результате, к его облегчению, они с Лидией Михайловной были разъединены.

Он побаивался ее соседства. В ее предложении помочь ему по хозяйству он усмотрел одну лишь властность, попытку подчинить его не только на кафедре, но и дома. А главное, посягательство на его сложную дружбу с Дарьей Степановной... А что бы он подумал, если бы узнал, что речь идет о любви, преданной женской любви? Кто его знает. Может быть, тоже испугался бы. А может быть, был бы растроган. Даже скорее всего был бы растроган.

Лидия Михайловна вернулась домой поздно. Села она не в свой автобус, только чтобы быть поближе к Николаю Николаевичу, но люди их разъединили.

Может быть, ошибкой было, что она пригласила его на вальс?

Дома шел очередной ночной галдеж — молодые принимали гостей, кричали, гитарили, пели (и все при Мишеньке!). Лидия Михайловна, не зажигая света, добралась до своей тахты, села на нее и заплакала.

АСЯ УМАНСКАЯ

Из всех отличников факультета АКИ самой твердой была Ася Уманская: одни круглые пятерки, без колебаний и срывов. Ее портрет не сходил с доски передовиков учебы. Шла прямым ходом на диплом с отличием. Одно время ставили ей в вину слабую активность в общественной работе, и зря. Работа у нее была, и немалая: преподавала в вечерней физико-математической школе, где собирались школьники, желторотые, со всего города, а лучшие студенты читали им лекции, учили решать задачи. Но в комсомольском бюро работа в физико-математической школе почему-то за общественную не считалась. «Они же делают это с удовольствием!» — возражал секретарь институтского комитета комсомола комсоргу курса Сереже Коху, на что Сережа Кох отвечал иронически:

— Тогда дадим новое определение: общественной называется работа, исполняемая бесплатно, но с отвращением.

— Бросьте, Кох, — говорил секретарь, — ирония — это нерусская черта.

Сережа был с ног до головы русским, а фамилию Кох носил потому, что одному из его предков, крепостному повару, фантазер барин дал ее в порыве изысканности. До объяснений этих обстоятельств Сережа Кох не снисходил, но иронией пользовался широко. Был он высок, широкоплеч, белокур, курнос. По вопросу об общественной работе — что считать за нее и что не считать — у них с секретарем бюро разгорелась борьба (уже не в порядке иронии), в которую были вовлечены широкие круги студентов и даже преподаватели. Кончилось это полной победой справедливости: секретаря сняли, а сменивший его новый провозгласил научную и педагогическую формы общественной работы самыми важными и почетными. Это вознесло Асию Уманскую на небывалую высоту, а Кох занялся очередной кампанией — борьбой за упорядочение домашних заданий. Эта задача была потруднее, и Сережа застрял на ней надолго, если не навсегда. Что касается Аси, то на нее никакие почести впечатления не производили, она продолжала быть такой, как всегда, — приветливой, трудолюбивой и скромной. Товарищи ее любили: всегда поможет, объяснил, даст спланировать. Конспекты вела под копирку, сразу в трех-четырех экземплярах (потом за ними становились в очередь). Профессора привыкли видеть в передних рядах Асины внимательные глаза, улыбчивый рот и маленькие руки, ловко перекладывавшие копиркой листы тетради; иногда даже останавливались и ждали, пока она закончит эту нехитрую процедуру.

Однокурсники удивлялись: чего только Аська Уманская не знает! И по специальности и по общему кругозору (литература, музыка, живопись). Надо было состряпать стишкы для стенгазеты — шли к Асе. Она брала шариковую ручку, подпирала рукой щеку, чуть-чуть задумывалась — и хлоп, стихи готовы. Люда Величко, соседка по комнате, подозревала, что Ася пишет стихи не только по заказу, но и для себя, хотя никому их не показывает. Это ее не удивляло: Асины способности ко всему на свете она воспринимала как нечто заданное. Но с точки зрения Люды, Асина жизнь была чересчур сложна. Она словно не жила, а все время себя нагружала. А куда еще нагружать? И так дохнуть некогда.

Громоздкая, тяжелобокая, с прекрасными черными глазами и маленьким ртом, Ася была и хороша и

дурна собой. В давние времена, когда «красивая женщина» означало «женщина с красивым лицом», Ася безусловно могла считаться красивой. В наше время, когда женщина смотрится целиком, как предмет в пространстве, скорей некрасивой. Прелестное лицо на грунном основании. Полнота болезненная, чрезмерная, не полнота, а тучность. Ребята иногда вздыхали:

— Всем ты хороша, Аська, только зачем ты такая толстая? Она краснела и отвечала:
— Углеводный обмен.

Девочки-подруги, все как на подбор тонкие, стройные, Асию жалели: и ест-то как будто не больше других, а разносит ее и разносит...

Ася мучительно стеснялась своей толщины, всегда носила юбку много ниже колена. Другие толстые (были в институте такие, хоть и немного) — те не стеснялись, смело открывали ноги, ходили по коридорам, потряхивая бедрами. Ася так не могла.

Единственная и поздняя дочь, Ася родилась, когда ее матери было уже сорок два года. Что-то было неладно с беременностью, врачи советовали прервать, она — ни за что. Долго лежала на сохранении, рожала тяжело, со щипцами. Некоторые врачи Асину тучность связывали с родовой травмой. Софья Савельевна чувствовала себя безмерно виноватой: родила поздно, исковеркала девочке жизнь. «Не мучь себя, Соня, — говорил ее муж, Михаил Матвеевич. — Что теперь делать? Разве лучше было бы, если нашей Асеньки не существовало?» Что за вопрос! Даже подумать об этом было страшно...

Единственный обожаемый ребенок вообще дело опасное. Если этот ребенок к тому же и поздний, опасность возрастает вдвое. Как его вырастить не эгоистом, не пупом земли? Асины родители об этом не задумывались, просто растили, безгранично любя. Для некоторых счастливых натур безгранична любовь и есть воспитание.

Жили они в украинском районном центре, небольшом городке возле синей речки, петляющей, заросшей краснокорыми лозняками. Городок был уютен со своими палисадниками, мальвами, подсолнухами, любовно белеными хатками. Пирамидальные тополя, растрепанные, возносились в небо; старая ветряная мельница — один скелет — поскрипывала нерабочими крыльями. Скрип этих крыльев, скрип грачей. Жизнь тоже шла спокойная, с уютным скрипом. Словно все всегда так было и будет, и слава богу, что будет.

Асин отец преподавал математику в средней школе. Прекрасный педагог, он был снисходителен и нестрог, двоек почти не ставил, но как-то добивался неплохой успеваемости. Главное, умел привить детям любовь к своему предмету — вещь редкая, особенно у девочек.

Софья Савельевна была учительницей музыки по классу рояля. Музикальная школа, единственная на район, стояла в тенистом переулке, осененная липами; облупленный деревянный домик весь щебетал и пилякал, источая разноголосое пение скрипок, переливы флейт и гобоев, пламенные монологи фортепьяно, а то и зычное рявканье трубы. Стекались туда лопоухие серьезные мальчики в косо завязанных красных галстуках, голенастые девочки с бантиками в волосах, все талантливые, все обещающие (так, по крайней мере, думала Софья Савельевна).

С самого раннего Асина детства шел между родителями любовный мирный спор о ее будущем: математика или музыка? Способности были и к тому и к другому. Учили тому и другому: в конце концов, разберется сама.

С отцом у нее была дружба научная, деловая. Он с ранних лет обучал ее высшей математике; девочка умела интегрировать в возрасте, когда другие еще с таблицей умножения плохо справляются. С матерью был связан другой мир — мир музыки, ноктюрнов Шопена, сонат Бетховена, фуг и прелюдий Баха. У Софьи Савельевны — красивой, темноглазой, нарядно седой — были сильные маленькие руки, прекрасное туше. В свое время она подавала большие надежды, но короткие пальцы, плохо растяжимая кисть (еле брала октаву) помешали ей сделаться виртуозом. Она была виртуозом в душе и мечтала о музыкальной карьере для дочери. С этой мечтой ей пришлось расстаться: стало ясно, что и у Асеньки руки малы. «О, если бы ты унаследовала руки отца!» — вздыхала Софья Савельевна. Ася, здравомыслящая не по возрасту, прекрасно понимала, что далеко по пути артистической карьеры она не пошла бы даже с отцовскими руками, но не возражала. Рано усвоила то, что другим дается с годами: не надо трогать волшебное «если бы», которым тешат себя люди.

С математикой никакого «если бы» не было нужно: девочка была явно одарена. Есть вещи, которым

нужно учить рано: математика, языки, плавание. Софья Савельевна, ничего не смысля в математике (из школы она вынесла только робкое к ней отвращение), часами слушала, не понимая, разговоры отца с дочерью, ловя выражение их лиц, улыбалась, когда они смеялись. Казалось бы, что может быть смешного в математике? Оказывается, может.

В Асиной коротенькой жизни были уже свои переломы, свои эпохи. Самым трудным переломом, на котором она едва не сломалась сама, было поступление в школу. Из домашнего замкнутого мирка, нежно вращавшегося вокруг нее, она внезапно попала в другой мир — жестокий, насмешливый, разбойничий, где сразу же клеймом отметили ее полноту и стали дразнить ее «свинтус пузо» (мужеско-средний род этого прозвища делал его особенно обидным).

Бедные толстые дети, сколько мучений достается им в школе! Их дразнят, шпионают, высмеивают. Сколько поврежденных судеб, надломленных душ! Асию Уманскую, к счастью, такая судьба миновала. После короткого периода подавленности она сумела выпрямиться. Когда Асию дразнили, она не сердилась, не огрызалась, не уходила в себя — попросту тихо грустила. К тому же она сразу начала учиться лучше всех в классе, и прочное положение отличницы (пятерки по всем предметам, кроме физкультуры) спасло ее от грубой душевной травмы. К не дававшейся ей физкультуре она, добросовестная во всем, тоже относилась ответственно. Ее даже ставили другим в пример: «Вот Уманская неспособная, а как старается!»

Кончила она с золотой медалью. Надо было решать свою дальнейшую судьбу. Отец с матерью были уже на пенсии, жилось им трудновато, и Ася склонялась к тому, чтобы остаться с ними, работать и учиться заочно. Родители и слышать об этом не хотели: все знают, что такое заочное обучение, а Асеньке надо думать не меньше чем об аспирантуре. Обсудив все на семейном совете, решили — в Москву (когда-то семейный совет вот так же отправил Татьяну Ларину «в Москву, на ярмарку невест», нынче нравы были другие, но сделать карьеру способной девушке в Москве было всего сподручнее). Кто-то присоветовал институт, где, по всем сведениям, отлично была поставлена математика, чистая и прикладная, и где была знаменитая школа кибернетики под руководством всемирно известного Завалишина. Его книги из серии «Введение в современную математику», отлично и ярко написанные, Ася уже прочла, и это во многом предопределило ее выбор. Она приняла решение (кстати, одной из ее любимых была как раз книжка Завалишина «Теория решений»), болезненно рассталась с родителями, уехала в Москву. Экзамены выдержала блестяще, была принята.

В общежитии досталась ей уютная комната на двоих. Со своей соседкой Людой Величко Ася сразу же подружилась. Помогала ей в учебе, давала списывать контрольные работы, домашние задания. Нормальная форма студенческой взаимопомощи: все так делают. Вероятно, это следствие непродуманной системы требований. Каждый предмет, каждая кафедра борется за свое место под солнцем; каждый преподаватель, не считаясь с другими, дает домашние задания, выдвигает требования. Все это делается «с запасом» и «с запросом», вроде заявок на материальное оборудование, в расчете на то, что «все равно срежут». И срезают, да еще как! Без этого не обойтись.

Сережа Кох, человек вообще любопытный и не ленивый, не поленился и подсчитал, сколько же часов в день надо работать, чтобы: а) добросовестно и самостоятельно выполнить все домашние задания, б) проработать лекционный материал, в) подготовиться к практическим, лабораторкам и контрольным, г) прочесть всю рекомендованную литературу. Оказалось, пятнадцать часов как минимум (это не считая шести аудиторных). А семинары, факультативы, собрания, общественная работа? С ними получалось на круг все двадцать. Двадцати шести часов в сутки не было ни у кого (на сон по Сережиной раскладке оставалось минус два часа, только он не знал, как осуществить «отрицательный сон»). Докладывая результаты своих подсчетов на курсовом комсомольском собрании, Сережа вызвал легкомысленный смех своих товарищей и призыв куратора «держаться существа дела и не допускать преувеличений».

Да, конечно, всего сделать было невозможно, но никто и не пытался делать все: важно было обеспечить «непотопляемость», то есть вовремя отчитаться. Студенческая жизнь превращалась в серию мелких обманов: там списать, тут подчистить, здесь улизнуть. Домашние задания выполнялись по очереди, шпаргалки писались оптом. Подпольно циркулировали полученные еще от предыдущих потоков решения задач; занависываемые до дыр, они переписывались с ошибками, которых никто не

замечал (разве случайно) — у преподавателей тоже не было времени.

Невыполнимые требования страшны тем, что разворачивают людей, приучают их к симуляции деятельности. Странным образом получалось, что, несмотря на все контроли, придирки, проверки, большинство студентов ухитрялись выкраивать себе свободное время — его было бы меньше, если бы требования были более умеренными. Фактически сверх шести аудиторных мало кто работал больше трех-четырех часов. Эти часы шли на залатывание самых неотложных, зияющих дыр; процесс обучения был как перманентный «тришкин кафтан». Некоторые, «ликующие, праздно болтающие», как называл их Сережа Кох, сверх аудиторных часов вообще не работали, смело плыли с развернутыми парусами навстречу сессии (там разберемся). Они хорошо понимали, что отчислять не в интересах начальства и что выбыть из института за неуспеваемость куда труднее, чем в него попасть.

Удивительно было не то, что имелись «ликующие», а то, что рядом с ними существовал, трудился и радовался труду немногочисленный «стан погибающих». Видно, любовь к науке неистребима и неразлучна с молодостью.

В Асиной группе, кроме нее самой, был еще один отличник — Олег Раков, красивый, высокий, самоуверенный, прекрасно одетый (хипповатости не признавал). Атласные русые волосы кончались элегантным полукругом пониже ушей (против Олеговой прически не возражала даже военная кафедра, ведшая священную войну с длинноволосыми, пока безуспешно).

Родители Олега были научные работники. Отец — профессор, доктор, недавно не без труда ставший членом-корреспондентом (против него выступали два-три академика, говорившие, что еще рано; на самом деле их раздражала его манера локтями пробивать себе дорогу вверх). Мать — кандидат наук, красавица и умница, душа конференций, зарубежных поездок, симпозиумов.

То, что Олег будет научным работником, в семье разумелось само собой, как в семье мастеров арены — цирковое будущее детей. Потомственные научные кланы устойчивы, хотя и не плодовиты. Научная работа для них — естественная форма существования. Прочной системой связей будущее Олега было обеспечено: он с малолетства был «записан» в ученики, как когда-то дворянские недоросли с колыбели проходили службу в полках. Поступив в институт, он уже твердо ориентировался на аспирантуру. Данные у него были. Способный, начитанный, с хорошей памятью, он обращал на себя внимание преподавателей прежде всего прекрасной правильной речью. Сейчас вообще мало кто говорит правильно; среди молодежи это особенно редко. Например, манера склонять числительные почти утрачена. Когда Олег Раков в докладе на студенческой конференции четко отчеканивал какое-нибудь «четырьмя тысячами восемьюстами семьюдесятью пятью», старые профессора настораживались, кивали лысинами и расцветали улыбками. И на экзаменах красивая, правильная речь тоже помогала Олегу. Любой экзаменатор, услышав первые его фразы, уже настраивался на пятерку. И в самом деле, правильно и красиво трудно нести чепуху. Олег чепухи и не нес. Знания у него были не всегда глубоки, но всегда блестящи. Он прекрасно вникал в психологию каждого педагога, знал, змей-искуситель, чем ему польстить, выказав интерес к его, педагога, любимой тематике, показав, что знаком с его, педагога, работами. Искусно пользовался дополнительной литературой, часто не вполне овладев основной. Бывают в вузах такие записные отличники; с первой же сессии они создают себе репутацию и дальше на ней катятся как на колесах. Этих отличников хорошо знают преподаватели и торопятся ставить им пятерки, не копая слишком глубоко. У товарищей по курсу Олег особой симпатией и, как говорится, авторитетом не пользовался. Внешний блеск и хорошо организованная речь в этом деле мало что значат; студенты (куда лучше, чем преподаватели) умеют распознать, что почем и кто чего стоит. Щегольская одежда Олега, геометрического узора джинсы, разные цепочки, бляшки и запонки мало у кого вызывали зависть, чаще снисходительную иронию. Лет десять — пятнадцать назад про заметно одетого парня говорили «стиляга», а теперь, на полуанглийском, «центральный мен».

Ася Уманская Олега Ракова знала неблизко, даром что учились они в одной группе: Олег широко пользовался правом отличника на свободное посещение, Ася — почти нет. Иногда он брал у нее конспекты лекций (сам он до их писания не снисходил, считая это уделом простых смертных). На преподавателей поглядывал с высоком, называл их работами, говорильными машинами. Утверждал, что лекционная система устарела, был сторонником машинного обучения, но при случае не прочь был списать.

В первый раз они с Асей разговорились на студенческом вечере в актовом зале. Драмколлектив разыгрывал скетч, сочиненный Асей Уманской. Пьеска, довольно ловко сделанная, с юмором, имела успех. Режиссер, Олег Раков, несколько раз выходил на вызовы, и на крики «автора, автора!» насилино вытащил на сцену сопротивлявшуюся смущенную Асю. От неловкости она зацепилась ногой за провод и свалилась в оркестровую яму; Олег ее оттуда вытащил, крякнув:

— Ну и тяжела же ты, мать!

После художественной части начались танцы. Олег Раков пригласил ее танцевать.

— Ой, что ты, — сказала она простодушно. — Я не умею.

— А чего тут уметь? Подумаешь, наука. Сейчас каждый танцует по-своему, правил нет.

Танцевали и в самом деле кто во что горазд — так и мелькали в воздухе на разных уровнях локти, колени и распущенные волосы. Олег тянул Асю за руку, она сопротивлялась.

— Тоже мне Сикстинская мадонна, — сказал он. — Из самой Дрезденской.

Не скованный узами преподавательского надзора, Олег сразу же отставлял свою изысканную речь и переходил на вульгаризмы. Так он отдыхал.

Он дернул Асю за руку, бросил ее на середину зала и пошел рядом с ней выкамаривать: согнулся в три погибели, тряс коленями, бедрами, локти у него ходили, как шатуны у старинного паровоза.

— А ну пошевеливайся! — крикнул он Асе. — Только людям мешаешь, стоишь как козел!

Ася сначала робко, а потом все быстрее начала «пошевеливаться» — оказалось совсем нетрудно. Со своей музыкальностью она легко уловила ритм, начала скользить, приседать, вывертываться, и, странное дело, у нее это получалось удачно.

— Браво, Анна Каренина! — крикнул откуда-то из гущи крутящихся пар Сережка Кох.

Ася заулыбалась. Два локона, естественными штопорами падавшие вдоль щек, порхали туда-сюда, верхняя губа с черными усиками вспотела мелким бисером...

Когда смолкла музыка, Олег взял Асю за талию и вывел ее на знаменитый институтский балкон. Старинный, бело-колонный, построенный с размахом — не балкон, а целый зал! — вольно выдвинутый в самую гущу сада, этот балкон был любимым убежищем парочек. Несколько их уже целовалось, прижавшись к колоннам, и все же из-за обширности балкона были каждая как бы наедине. Тут же, сразу за балюстрадой, стоял сад, остро и богато пахнувший весенней зеленью; толстые ветви деревьев протягивались снаружи прямо на балкон. Где-то в глубине сада тенькал даже соловей, несмело начинавший и прерывавший свою руладу...

Мраморная колонна была холодна и кругла. Прижал Асю к этой колонне, Олег Раков ее поцеловал. У Аси даже в глазах потемнело. Первый раз в жизни ее поцеловал парень.

— А ты ничего гирла, — сказал он небрежно. Ася была потрясена и сразу похорошела вдвое.

— Я же толстая, — сказала она, как бы вразумляя.

— Это ничего, даже оригинально. Все акселераты в длину, а ты в ширину.

И захочотал. И еще раз поцеловал ее в губы. Соловей наконец расprobовал голос и рассвистался во всю мочь. Ася с Олегом стояли и целовались, и старый сад обнимал их ветвями, приветствовал соловьем...

Несколько дней она ходила ошалелая. Даже стала хуже записывать лекции — на самом ответственном месте вдруг закрывала глаза и погружалась в воспоминание об остром запахе зелени, свежей земли, о губах Олега, о его тревожных руках... Из стипендии купила себе туфли на высоком каблуке и на целую ладонь укоротила юбку. Олег не появлялся, пользовался правом на свободное посещение.

Однажды она увидела его в большом перерыве. Олег стоял у расписания экзаменов и что-то оттуда выписывал. Ася скромненько стала рядом.

— Не возникай, — спокойно сказал он.

Она отошла. «Вот и все... „Не возникай“». Будь спокоен, я не возникну. Сама виновата. Поддалась, пошла на приманку...»

Асино душевное здоровье, добroe равновесие помогли ей и тут не сломаться. Трудно, но воля есть воля. Писала письма родителям — веселые, смешные, — и самой становились легче. Иногда уходила в клуб, играла там на рояле. Музыка тоже помогала — спасибо маме. И странно — чем грустнее вещи она

играла, тем ей становилось легче. В общем, справилась, выправилась.

Производственную практику Ася прошла в вычислительном центре (сделала с легкостью и свое задание и Людино). На каникулы, конечно, к своим. Приглашала Люду с собой — та отказалась: обещала, мол, матери.

Дома было чудесно: цвели мальвы, душистый горошек карабкался по плетню, пчелы гудели, и все это плавало в сладчайшем густом запахе лип. Родители рады были ей бесконечно; с грустью Ася отметила, как они постарели. Михаил Матвеевич стал плохо слышать, говоря с дочерью, все глядел на ее губы, ловя на них очертания слов. Софья Савельевна, хоть и моложе его, тоже подалась, пошатнулась. Оба они томились от одиночества. «Перевестись на заочный?» — думала Ася, но сказать об этом не решалась: как бы не угадали ее тревогу о них.

Отпечаток невечности, впервые замеченный ею на лицах родителей, делал эту их встречу особенно душевной. Зная, что им не хватает впечатлений, Ася говорила без умолку, рассказывала об институтских делах, о заданиях, практике, преподавателях, об учебном плане, специализации... Отец слушал тревожно и жадно. В математике девочка явно его обогнала: в его времена они и слыхом не слыхали о тех предметах, которые читались у Аси на факультете. А она посещала еще и семинары... Языки программирования, системный анализ, эргодическая теория — он и понятия о них не имел! Он слушал дочь с благоговением. Время от времени он говорил что-нибудь вроде: «До чего же громадными шагами идет в наши дни наука!»

На учебный процесс в институте Ася смотрела трезво, не выпячивая его недостатков, но и не скрывая. Много рассказывала о преподавателях. Курс анализа читал у них Терновский.

— Знаете, он такой лощеный-лощеный, прямо стиляга из прошлого века. Ребята говорят, ему бы пошел монокль. Специалист, впрочем, знающий. Лекции читает прекрасно, легко записывать. Но очень уж как-то правильно, будто по книге. Я лично думаю, что по книге читать не надо, лучше уж прямо дать студенту учебник. Но другие со мной не согласны, они больше любят конспект: все что надо есть, что не надо — выброшено. Мне Терновский нравится, но с ограничениями. Один раз его заменил Семен Петрович Спивак — такой громадный, штаны падают, хохочет, шутит. Не лекция — одни отступления. Мне понравилось, а многим нет. Я бы вообще на месте преподавателей читала одни отступления, а студентам давала бы свободное время: пусть учат по книге. А то многие преподаватели выписывают буквально то, что есть в книге, на классную доску. Как будто то, что написано мелом, лучше того, что напечатано в книге. Белым по черному лучше, чем черным по белому. Я не согласна. А по отступлениям самый главный у нас мастер Маркин. Он как-то ухитряется и весь материал уложить и отступления. Человек остроумный, мы его шутки даже записываем, но неприятный. Очень уж высоко себя ставит — где-то на сто пятнадцатом этаже...

Из преподавателей Ася чаще всего поминала Нину Игнатьевну Асташову:

— Вот это женщина! Такой я бы хотела быть.

— Что же в ней такого особенного? — ревниво спрашивала мать.

— Прекрасный педагог. Строгая, но справедливая. И видно сразу, что человек горячий. Как бы это объяснить? Суховато, но горяча. Суховатости бы ей убавить, а горячности оставить как есть.

— Какого возраста? — спрашивала Софья Савельевна.

— Немолодая, лет сорок. Но такая подтянутая, фигура как струнка. В нее, между прочим, Маркин влюблен, тому вообще лет сорок пять. И охота ему делать себя смешным в таком возрасте? Не понимаю.

— Семейная? — продолжала допытываться Софья Савельевна. Идеал будущего дочери ее все же интересовал.

— Как сказать. Мужа нет; три сына, и все, кажется, от разных отцов. У нас смеются: «Трижды мать-одиночка». А по-моему, ничего смешного. Каждая женщина имеет право захотеть — и родить.

— Ну конечно, — отвечала мать, — я, как ты знаешь, чужда предрассудков. Но все-таки трое от разных мужей — это, по-моему, слишком...

— А что? Справляется, и права.

— А как ваша знаменитость Завалишин? — спрашивал Михаил Матвеевич.

— Кончился, — кратко отвечала Ася.

— Как? Умер?

— Нет. Кончился в научном смысле. Лекции, говорят, читает хорошо. Не знаю, нашему потоку он не читал.

Рассказывала Ася и о товарищах-студентах, обо всех, кроме Олега Ракова. Больше всех о Люде Величко:

— Такая сердечная, добрая. Ничего не жаль, все отдаст. По-моему, доброта всего важней в человеке. Важней, чем способности, эрудиция. Знания всегда можно приобрести, а доброту нет.

— А что, она плохо учится? — спрашивал Михаил Матвеевич.

— Средне. У нас вообще трудно учиться, на кибернетике, а у нее пробелы в подготовке. Плачет, если получит двойку. Главное, из-за стипендии. Я ее сюда хотела привезти подкормить. Худая-худая.

— Что же не привезла?

— Она отказалась. У нее тоже мама в провинции. И билет дорого стоит.

— В следующий раз привози. На билет мы ей как-нибудь наскребем...

Рассказывала Ася и о Сереже Кохе, повторяла его шуточки, родители смеялись.

— Он меня называет Анна Каренина. Говорит, что у той тоже была походка, странно легко носившая ее полное тело. Между прочим, тогда полнота не считалась за недостаток, мне бы тогда и родиться...

— Нравится он тебе? — с особым любопытством спрашивала Софья Савельевна.

— Конечно, нравится. Хороший товарищ.

— А внешность?

— Нормальная.

— Наша девочка еще не проснулась, — говорила она мужу наедине.

Он молчал, сомневаясь, удастся ли их девочке вообще проснуться и будет ли хорошо, если проснется... Дефицит женихов оказывается во всех поколениях.

Каникулы прошли быстро. Осеню Ася Уманская вернулась в Москву отоспавшаяся, подзагоревшая, уравновешенная. Люда Величко, напротив, выглядела неважно — бледная, желтая. К матери почему-то не ездила, весь отпуск просидела в Москве. Обнялись, расцеловались. Люда — вот тебе раз! — заплакала.

— Что с тобой, Людашенька?

— Ничего, просто соскучилась. Ты мне, Аська, вроде матери. Не веришь?

Ночью Ася услышала: плачет. Подошла, присела к ней на койку, погладила. Людины щеки, уши, даже плечи мокры были от слез.

— Ну что с тобой? Скажи!

— Аська, я попалась, — сквозь рыдания ответила Люда. Вот оно что... Не понять было нельзя. Все знали, что значит «попалась».

— Ну и глупая же ты, — сказала Ася. — Тебе радоваться надо, а не плакать.

Люда тупо на нее уставилась.

— Конечно, радоваться! — повторила Ася. — Иметь ребенка — великое счастье!

Люде и в голову не приходил этот вариант — иметь ребенка. Лишь бы от него избавиться попроще и подешевле! Она уже навела справки у бывальных девчат. Самый бывалый факультет статистический. Боль, говорят, терпимая, только в консультацию не ходи — там тебя сразу возьмут на заметку, начнут уговаривать: рожай, первый раз надо рожать. До того дотянут, что будет поздно.

— Я не потому плачу, что боюсь или что, а потому... И еще горше заревела.

— А он, человек этот, он на тебе не женится? — спросила Ася.

— Нет, — замотала головой Люда, и так отчаянно, что сразу стало ясно: никак не женится.

— Ну и что? — сказала Ася. — Неужели мы вдвоем ребенка не воспитаем? Все-таки третий курс. У меня свободное посещение, повышенная стипендия. Тебе тоже дадут стипендию, ты только Сережке скажи все как есть, он человек, поймет. Пойдешь в декрет, потом дадут академический отпуск. Будем сидеть по очереди — ты и я. Неужели мы его не поднимем? Асташова вон троих подняла.

— А разве в общежитии с ребятами позволяют? — сомневалась Люда.

— А мы и спрашивать не будем. Родим — и все. Не выселят же нас с милиционером! Комната на двоих, поставим кроватку, здесь у стенки отлично поместится. Соседи возражать не будут: с одной

стороны титан, с другой — душевая. Значит, договорились?

- Договорились.
- Теперь-то почему ревешь?
- Потому.

Весь остаток ночи Люда с Асей проговорили. Легли обе на Асину койку, более широкую, и все говорили, говорили как заведенные. Только одного Люда ни за что сказать не хотела — от кого случилась беда.

- Я его знаю?

— Знаешь, но я все равно не скажу. Все это кончено, кончено, ни в чем он не виноват. Ничего он мне не обещал, ничем не заманивал. Я, можно сказать, сама ему навязалась. Если ребята узнают, что от него, начнут к нему приставать, пришлют персональное дело. Мне тогда не жить, прямо под метро.

- Только под самое утро шепнула имя:

- Олег Раков.

- Ну что ж, — чуть-чуть помолчав, сказала Ася. — По крайней мере, ребеночек будет красивый.

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ

Какое разбойничье, какое преждевременное лето!

Тридцатиградусная жара ударила в конце мая. Уже началась весенняя сессия. Спешно дочитывались пропущенные лекции, досдавались зачеты, сменяли друг друга экзамены.

Внешне все шло как обычно в сессию. Студенты толпились в коридорах, у дверей аудиторий, где шли экзамены. Кто-то из этих дверей выходил, показывая на пальцах полученную отметку. Взамен его входил очередной ждущий и робко направлялся к столу экзаменатора, влажными пальцами вытягивал билет. Кое-кто в последнем приступе прилежания хватался за конспект; другие только рукой махали. Словом, как обычно, но в эту сессию все это было распаренное, воспаленное, изнемогшее от жары.

Только что кончились запоздалые холода, еще недавно шел снег, лежал лед; студенты лихо скользили по накатанным дорожкам, и профессора робко переставляли немые ноги. Внезапно наступившая жара обрушилась грозной карой. Уставшие за зиму организмы не успели перестроиться. Некоторые слабенькие девушки падали в обмороки, из которых их, впрочем, быстро выводили серией легких пощечин (такую рекомендацию студенты извлекли из какого-то фильма, где для борьбы с обмороком применялось именно это средство). Всем было трудно — и тем, кто давал пощечины, и тем, кто их получал.

Главный корпус института — старинное здание со стенами полутораметровой толщины — еще кое-как держал прохладу; в новых корпусах было просто невыносимо. Раскаленные подоконники излучали жар, как печи. Экзаменационные ведомости на черных горячих столах сворачивались в трубки. Ко всему этому в порядке безумия в некоторых помещениях еще топили...

Наверно, из-за жары эта сессия была как никогда обильна двойками. Студенты отвечали, отирая пот кто платком, кто рукавом, а кто и просто ладонью, жаловались на «разжижение мозгов». У девушек плыли ресницы и сине-зеленое окаймление глаз. Расплавленные, взмокшие преподаватели были не лучше: по три раза повторяли один и тот же вопрос, время от времени бегали к кранам обливать голову водой. Им было еще труднее, чем студентам, хотя бы потому, что они дольше сидели в аудитории.

Экзаменационная сессия вообще ужасна. Дважды в год студенты, весь семестр почти не учившиеся (письмание конспектов и домашних заданий не в счет — это труд физический, а не умственный), хващаются за науку и большими непрожеванными кусками ее заглатывают. На производстве такое называется штурмовщиной и всячески преследуется; в вузовском обиходе штурмовщина узаконена, утверждена, возведена в ранг ритуала. Грош цена знаниям, спешно запихнутым в голову, — быстро приобретенные, они еще быстрее выветриваются...

И для преподавателя экзамен — самый тяжкий, изнурительный вид труда. Нужно мгновенно переключаться с одного вопроса на другой, с одного студента на другого, наблюдать сразу за целой группой. Особенно тяжело экзаменовать по математическим (вообще точным) наукам. Разговор идет на уровне не слов, а формул. Каждую из них нужно внимательно проверить. Вынести это больше двух-трех

часов подряд почти невозможно, а ведь приходится и по десять и по двенадцать!

Нынче, в эту весеннюю сессию, всем было из ряда вон тяжко.

Из преподавателей кафедры Завалишина один только седой, подтянутый Терновский, как всегда в строгом черном костюме, экзаменовал спокойно, размеренно, полный доброжелательной строгости. Когда изнемогший студент сам выпрашивал двойку, Дмитрий Сергеевич не хватался за ведомость, как другие, а говорил: «Не торопитесь, ответьте еще на один вопрос». И только убедившись, что студент действительно ничего не знает, говорил с удовлетворением: «Ну, теперь нам все ясно». Жара на него не действовала («Человек с внутренним кондиционером», — сказал о нем Маркин).

Видя, как маются его коллеги, совестливый Энэн приходил на экзамены чаще обычного. Как всегда, он вступал в долгие, окольные беседы со студентами, путал их, и без того одуревших окончательно, и даже один раз — всем на диво! — поставил четверку. Получить четверку у профессора Завалишина было неслыханным делом (он ставил, как известно, одни пятерки); на получившего показывали пальцами, и он даже сам подумывал пересдать кому-нибудь другому, чтобы не быть для курса посмешищем, но потом эту идею отверг как неконструктивную.

Энэн, медлительно-отвлеченный, растекавшийся мыслью по чему угодно, принимал не более двух-трех студентов за смену, и жалкий ручеек пятерок, сочившийся из этого источника, не мог изменить общего разгромного счета: до тридцати процентов двоек! От этих процентов уже начали скапливаться тучи на горизонте: ждали грозы.

И в самом деле гроза долго ждать себя не заставила. Однажды утром Энэн, придя на кафедру, обнаружил на своем столе бумагу. В крайне бесцеремонных выражениях деканат предлагал заведующему кафедрой профессору Завалишину немедленно отчитаться о ходе сессии и подать докладную записку о причинах низкой успеваемости. «В противном случае, — кончалась бумага, — будут приняты меры». Энэн прочел документ и побледнел так, что Лидия Михайловна бросилась к нему со стаканом воды:

— Что с вами, Николай Николаевич?

Он ловил губами стакан, вода лилась на грудь.

— Ничего-ничего, сейчас пройдет.

Кто-то уже звонил в медчасть — там было занято, — стучал трубкой и чертился. У Лидии Михайловны нашелся валокордин; дрожащими руками она отсчитывала капли, наливалась слишком много и выплескивала. Энэн пожевал губами и сказал:

— Не надо. От хамства валокордин не помогает.

Элла Денисова воскликнула:

— Это вы из-за этой бумажки? Бросьте! Конечно, неприятно, но нельзя же так переживать!

— В старые времена... — медленно, с усилием произнес Энэн, — в старые времена...

Никак не мог закончить. Зациклился.

— В старые времена, — подсказал ему Паша Рубакин, — люди, вероятно, были более воспитанными?

Энэн отрицательно затряс головой и вдруг сказал совершенно отчетливо:

— В старые времена такой субъект приказал бы выпороть меня на конюшне.

— Успокойтесь, Николай Николаевич, — примирительно сказала Стелла, — ей-богу, ничего такого страшного не произошло. Вы преувеличиваете.

— Ничего страшного? — рявкнул Спивак. — Смотрите, товарищи, уже молодежь не видит в этой махровой наглости ничего страшного! «Будут приняты меры»! И это пишут большому человеку, ученному с мировым именем! И кто пишет? Сопля, недостойная дышать с ним одним воздухом!

Быстрыми шагами вошла Нина Асташова. Схватила со стола бумагу, быстро пробежала ее и, не разделяя слов, сказала:

— Хам сукин сын идиот.

— Вот это правильная реакция, — одобрил Спивак.

Кто-то успел уже сбегать за такси. Николая Николаевича взяли под руки, свели с лестницы, усадили в машину. Он сопротивлялся, бормотал:

— Честное слово, мои дорогие, со мной решительно ничего нет. Честное слово!

Маленький мальчик глядел из глаз старого человека.

— Мы вас отвезем домой. И не смеите завтра приходить на работу, слышите? — сказала Нина.

Энэн покорно закрыл глаза. Был он бледен как-то не по-обычному, с уклоном в опаловую желтизну, и как-то не по-обычному стар. Нина Асташова с Пашей Рубакиным довезли его до дома, подняли на лифте и сдали с рук на руки Дарье Степановне. Общими усилиями он был уложен в постель. Он все приговаривал жалобно, по-мальчишечьи:

— Честное слово, ничего нет. В самом деле ничего нет. Ну, я преувеличил. И не надо со мной возиться. Ну пожалуйста, мои дорогие.

Все-таки Нина вызвала неотложную. Врач приехал через полчаса — молодой, бородатый, непроницаемый. При общем обилии женщин в медицине врачи-мужчины, особенно молодые, выглядят исключением и несут себя как-то подчеркнуто важно. Он осмотрел больного, измерил давление и сказал:

— Ничего особенного. Сердце работает неплохо. Конечно, есть возрастные изменения, но оснований для беспокойства нет. Надо полежать денька два-три, все наладится.

— Он очень бледен, — сказала Нина.

— Это от жары. Кстати, метео обещает похолодание.

Сделал на всякий случай укол кордиамина, сказал, что завтра придет врач из поликлиники, и отбыл, еще раз повторив:

— Оснований для беспокойства нет.

— Ну вот, вы слышали, — говорил Энэн, окончательно пришедший в себя, — ничего серьезного! Мне так стыдно за этот переполох. Всех взбудоражил. Простите великодушно.

— Дайте покой человеку, — сказала Дарья Степановна, — ему спать, а не лялякать. Старому-то все чего.

Асташова с Рубакиным вернулись на кафедру, успокоили скопившихся там сотрудников: ничего серьезного, сердце работает неплохо. Лидия Михайловна рвалаась посидеть, поухаживать за Николаем Николаевичем, но ее отговорили: нрав Дарьи Степановны достаточно был известен.

— Да не убивайтесь вы так, врач говорит: он вне опасности, — сказала Нина.

Кто-то входил, уходил, все были обеспокоены, даже Кравцов. Несколько раз звонили на квартиру, спрашивались о здоровье. Дарья Степановна была недовольна, что звонят.

— Дремлет. А вы таарам. В случае сама позвоню.

Сидели долго, никак не расходились. Уже закончился последний экзамен, заполнена последняя ведомость. Двоек оказалось поменьше, чем в другие дни.

— Зуб притупился, — сказала Стелла, но как-то задумчиво.

Кое-кто ушел, устав за каторжный день. На кафедре остались несколько человек, они тоже устали, настолько, что уже потеряли счет времени: все равно. Иногда после предельной усталости человек впадает в такой анабиоз.

Все были подавлены, разговаривали тихими голосами, в состоянии какой-то незлобной дружбы на друга обиженностии. Ждали звонка — его не было. Вздрагивали при каждом шуме. Вечер был душным и тяжким, вдалеке погромыхивал гром, мигали зарницы.

— Хоть бы похолодало! — молящим голосом сказала Элла.

— Нам-то что, — возразила Стелла с мягкой сварливостью, — на нас можно и воду возить. А ему каково?

— Нет, все-таки, товарищи женщины, — тихо сказал Спивак, — ничего вы не понимаете.

Тихий Спивак — в этом было даже что-то пугающее.

Опять мигнули зарницы, тихо рокотнул гром.

На кафедре было темно. Светлоглазая, душная ночь стояла за окнами в институтском саду. Ни шороха, ни ветерка. На фоне этой напряженной тишины неожиданно запел Паша Рубакин. Он пел без слов, какую-то заунывную мелодию, возможно своего сочинения.

В коридоре послышались шаги командора. Оказалось — не командора, а коменданта.

— Граждане, прошу очистить помещение, — сказал он гранитным басом. — Здание закрывается.

Вышли на улицу. Духота пахла сеном и пылью. Нежный запах сена мешался с шершавым, грубым

запахом пыли, потревоженной, взнесенной в воздух земли. Гроза удалялась, не принеся облегчения. Вверху в просветах между облаками посверкивали невыразительные звезды. Завтра, видно, опять будет жара...

Расходиться не хотелось, но разошлись.

…А назавтра утром на кафедру позвонила Дарья Степановна и потрясенным, но твердым голосом сообщила:

— Николай Николаевич помер.

— Как, что?! Не может быть!

Все, кто был на кафедре, помчались сломя голову на квартиру. Впереди бежала Элла Денисова и бормотала:

— Я говорила, я говорила…

Что она говорила, было неясно, но никто ей не возражал.

Дверь из квартиры на лестницу была широко распахнута, зеркало в прихожей завешено черным.

Николай Николаевич лежал на своей кровати пепельно-бледный, но узнаваемый. На его щеке колебалась, как будто от дыхания, тополиная пушинка. Лицо было спокойно, внимательно, глаза закрыты. Люди столпились возле умершего, а он шевелил пушинкой, дышал, и никто не смел снять с него эту пушинку.

— Ночью ходила-ходила, слушаю: дремлет, — говорила Дарья Степановна. — Дремлет, и слава богу. Думаю, не будить. Утром пришла, а он кончился. Раньше таких бог, говорили, любит. Послал ему смерть проворную. Каждому бы так, грех жаловаться.

Она не плакала, только чаще чем надо поправляла черный платочек, которым, несмотря на жару, повязала голову. Платочек сползал, открывая перламутровую гордую седину.

Люди стояли возле кровати опустив головы, опустив руки. Смерть всегда потрясает, внезапная смерть — вдвое. Все видели умершего еще вчера, слышали его голос, и разум отказывался принять факт.

Пахнуло ветром, дверь хлопнула. Внезапно, не тихо, как все, а стремительно вбежала Майка Дудорова, пала на колени рядом с кроватью и начала целовать-целовать мертвое лицо. В этих бурных бесслезных поцелуях было что-то безумное. Время от времени она поднимала голову, окидывала всех диким взглядом и опять приникала к умершему.

— Встань, артистка, — сказала, подойдя к ней, Дарья Степановна.

Майка испуганно встала, вынула платок, спрятала в него лицо.

— Нечего платком, открайся какая есть, — громыхнула Дарья Степановна. — Твоего тут тоже накладено.

Майка бросила платок, вцепилась себе в волосы и начала кричать. Кричала она без слов, на одной ноте. Это было по-настоящему страшно.

— Майя, а ну замолчи! — сказал ее бывший начальник Петр Гавrilovich, взял ее под руку и вывел из квартиры.

Она упиралась, хваталась за каждую притолоку. После крика Майки заплакали женщины — Элла, Стелла, Лидия Михайловна. Нина Асташова стояла в стороне с дергающимся злым лицом.

Раздался шум, дверь хлопнула, вошли врач и двое дюжих санитаров с носилками. Носилки со стуком поставили на пол. Лицо и тело Энэна закрыли простыней.

— А ну-ка посторонись! — говорили санитары, продвигаясь по коридору.

Квартира опустела… Пушинки тополя бродили по паркету.

Похороны были торжественные: умер крупный ученый, старейший сотрудник института. Гроб, обитый красным, стоял в помещении клуба. Все было как полагается: почетный караул, красно-черные повязки на рукавах, тихий и четкий ритуал смены (сменяющийся становится за плечом сменяемого). Сомкнутые губы, серьезные лица. Оркестр, груды цветов, венки с лентами — красными, белыми, черными… Из-за цветов едва виднелось лицо покойного, уже изменившееся, красно-синее возле ушей…

Начался траурный митинг. Говорились, как полагается, речи об огромном вкладе покойного в мировую науку; все начинались одинаково: «Смерть вырвала из наших рядов…»

Майка Дудорова, вся в черном, заплаканная, распухшая, сидела на стуле у самого гроба; муж ее,

стройный, смуглый, с невозмутимым лицом, подносил ей время от времени стакан с водой; с какой-то ненавистью она этот стакан отталкивала. Тонкими пальцами, побелевшими на концах, она судорожно держалась за кумачовый край гроба. Лидия Михайловна, страшная в своем горе, трясясь и кусая пальцы, пряталась за портьерой. Дарья Степановна в большом, черном, с кистями платке стояла навытяжку и после каждой речи осеняла себя крестным знамением.

Последним от коллектива кафедры выступал Кравцов, в меру грустно, в меру уравновешенно, в меру оптимистично. В конце своей речи он обещал «высоко поднять знамя, выпавшее из рук покойного Николая Николаевича».

Нина Асташова подняла руку:

— Позвольте мне сказать несколько слов.

Распорядитель ответил:

— Но от кафедры уже было выступление.

— Я не от кафедры, я от себя.

— Дайте ей слово, — забеспокоились в зале.

Нина вышла на трибуну очень бледная (не смугла, а желта), потрогала мизинцем микрофон и сказала нетвердо:

— Тут много говорили о научных заслугах профессора Завалишина. Слов нет, они были велики. Но, по-моему, самое главное то, что он был человеком. Больше того: он был хорошим человеком, сердечным, внимательным, добрым, совестливым. Мы еще не осознали до конца, мы еще осознаем, чем он для нас был. Злое слово, сказанное даже без умысла, может убить. Доброе слово — это доброе дело. Сколько добрых слов слышали мы от Николая Николаевича! Давайте их вспомним.

Нина замолчала. Молчали все в зале. Молчание длилось с минуту, но, как всегда в таких случаях, казалось долгим. Нина сошла с кафедры. Дарья Степановна заплакала. Распорядитель подал знак. Начался вынос тела. В институтском дворе люди грузили венки, рассаживались по машинам.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

После смерти Николая Николаевича наша кафедра словно осиротела. И ведь куда как мало занимался он делами последнее время, а умер — и вышло: без него как без рук. Верней, без души. Какой-то настрой от него шел — высокой духовности, что ли. И еще оглядчивости. Думать над каждым вопросом, прежде чем выразить по нему суждение. Избегать категоричности. Перед тем как судить других, спросить себя: прав ли я сам? Мне лично этой оглядчивости всегда не хватало. Впрочем, может быть, это мне теперь так казалось. При жизни Энэна мне эта его манера казалась нудной.

Место заведующего пока что было вакантно. Исполняющим обязанности (ИО), естественно, назначили Кравцова. Сначала никто не сомневался, что именно он будет заведующим, но потом поползли слухи, что его кандидатуру не хотят утверждать (не имеет, мол, докторской степени) и будто бы ректорат склоняется в пользу другого варианта. Какой-то профессор, доктор со стороны. Фамилия Флягин никому ничего не говорила; Спивак мельком видел его статьи в журнале «Проблемы кибернетики» и отзывался о ней пренебрежительно: «Нормальное изделие на микротему». Но у нас в институте, как и во многих других учреждениях, был хронический дефицит докторов — умирали быстрей, чем размножались. О Флягине рассказывали, будто бы в своем прежнем институте он не ужился по склонности характера, но осведомленность рассказывающих была под вопросом — сведения они получили из третьих рук. Словом, Флягин, был «темной лошадкой», как сказал Маркин. Кравцов был, по крайней мере, привычен, и, пожалуй, лучше бы он оставался заведующим. Сам он как-то подтески надулся, обиделся на начальство, стал реже бывать на кафедре, делам объявил бойкот. Фактически заведовать кафедрой стала Лидия Михайловна, старавшаяся ни в чем не менять установленных традиций, с той только разницей, что заседания кафедры проходили теперь деловито, сухо и кратко. Председательствовал кто когда. Казалось бы, чего лучше? А вот затосковали мы по тягучим заседаниям со спящим Энэном за богатырским столом, по его пробуждениям и репликам, по его смутным, загадочным речам.

В общем, неладно было на кафедре. Все еще исправно читались лекции, велись практические

занятия, Петр Гаврилович воевал со студентами в лаборатории, но какой-то живой дух выветрился. Мы высыхали, как труп насекомого, — очертания те же, а жизни нет.

Впрочем, может быть, мне это так казалось, потому что первое время после смерти Энэна я оказалась в более тесном общении с ним, чем все предыдущие годы. Дело в том, что Кравцов предложил мне как ближайшей ученице покойного возглавить комиссию по научному наследию Н. Н. Завалишина, и я согласилась. Сколько раз потом я жалела, что согласилась!

Началось с того, что недели через две после похорон ко мне явился Паша Рубакин (второй и, как потом выяснилось, последний член комиссии). Он, крякнув, сгрузил с плеч по рюкзаку. Шел дождь, рюкзаки были мокрые, и от каждого из них натекла на пол маленькая лужа.

— Принес, — сказал Паша словно из глубины незримого колодца.

— Что это?

— Научное наследие профессора Завалишина. Нечто вроде рукописей майя. Я смотрел — ничего не понял. Ножи, ножи... Может быть, это вид идеографического письма? В этих ножах, несомненно, есть идея, только какая? Кстати, рукописи майя были прочтены с помощью машины. Если потребуется составить программу — я готов.

— Спасибо, Паша, — сказала я. — Посмотрю, постараюсь разобраться пока без машины.

Он тряхнул мокрыми волосами, брызгая кругом себя, как отряхивающийся пес. Тут бы ему и уйти, а он все стоял, как будто ждал чего-то. Мое отношение к Паше сложное: смесь антипатии и жалости. Сейчас преобладала жалость.

— Садитесь, Паша, — предложила я. Разговаривать с ним не входило в мои планы, но что поделаешь. Человек принес рюкзаки, трудился.

Он с готовностью сел, вытянув ноги в огромных кедах. Сразу было видно, что коротким разговором не обойдется: он явно настроился на общение. Я со страхом заметила, какие отчетливые рубчатые следы оставил он на паркете — прямо для детективного романа. Страх был перед Сайкиным. Натирание полов — его добровольная обязанность; он же присвоил себе прерогативу делать мне нагоняй за каждое нарушение чистоты...

Тут я мысленно взбунтовалась против власти Александра Григорьевича. Все женщины мне завидуют: «Ах, он вас освободил от хозяйства! Какая счастливая!» Никто не знает, что вместе с заботами я отдала свое право быть хозяйкой в собственном доме. Приглашать гостей с ногами любого размера...

Эти бунтовщицкие мысли одолевали меня, пока я озирала огромные кеды Паши Рубакина и причиненный ими ущерб. Но тут же я опомнилась. Старшенький мой, радость моя! Пусть командует сколько хочет! Должен же он что-то иметь взамен беззаботной юности, которую у него мы с мальчишками отобрали...

— Ну как дела? — спросила я Пашу Рубакина. Он только этого и ждал.

— Собственно говоря, в настоящее время я буквально нахожусь в стадии перелома. Я целиком занят вопросом об отношениях науки и искусства. Мне важно выяснить, являются ли они отношениями мирного сотрудничества, соперничества, конфликта или соподчинения. Это вопрос категориальный. Пока я его не решу, я не могу перейти к следующему.

— А каков следующий? — спросила я, симулируя интерес.

— Вопрос о приоритете морали. Мои лично предварительные мысли сводятся к тому, что гегемоном в научно-технической революции должна быть мораль. Не этика, как полагают некоторые думофилы (я тоже думофил), а именно мораль.

— Простите, не вижу разницы.

— Разница огромна и очевидна. Аморальный поступок и аэтический — разве вы не слышите разницы? Кстати, такого слова «аэтический» нет, я ужеправлялся в словарях. Считайте, что я его изобрел.

Я молчала явно неодобрительно, а ему явно не хотелось уходить. Потребность излиться прямо лезла наружу из его непрозрачных глаз.

— Нина Игнатьевна, вы не поверите, но смерть Николая Николаевича была для меня личной трагедией. На кафедре стало пусто, буквально не с кем поговорить на общие темы. Все помешались на

специальных. Я в этом плане надеялся на вас.

— А какие общие темы вас интересуют?

Паша оживился:

— Многие. Могу предложить на выбор целую совокупность тем. Например, в последнее время я в упор работаю над новой теорией ощущений. Понимаете, идея в том, что мы ощущаем не одним каким-то органом, а всеми сразу, а кроме того, еще и историей своего организма. В его клетках запечатлеваются воспринятые образы, формируется память тела, вроде памяти ЭВМ на магнитном барабане, или фотопамяти, которую еще предстоит разработать. Все это вместе принято называть душой. Душа резонирует в ответ на сигналы внешнего мира, возникает мысль-чувство, циркулирующая по ячейкам или регистрам памяти. Получается очень цельно. Понимаете, в моей трактовке тело становится духовным, а душа — материальной. Все споры насчет первичности того или другого отпадают — ведь они вытекали из их противопоставления. Что было раньше: курица или яйцо? В моей концепции такого вопроса возникнуть не может: яйцо есть курица, а курица есть яйцо...

Я молчала. Все это было вроде винегрета из кусочков чего-то уже читанного, заправленных майонезом собственного Пашиного мутномыслия...

— Ну что вы на это скажете? — с надеждой спросил он.

— На «это» я ничего не скажу, «этого» просто нет. Вы чего-то там начитались, толком не переварили...

Паша обиделся:

— Я никогда ничего не читаю, предпочитаю мыслить сам. Ну, я вижу, мою надежду на вас придется отставить.

— А вы рассказывали эти свои идеи Николаю Николаевичу? — спросила я.

— Рассказывал в числе многих других.

— И что он сказал?

— Очень интересно. Надо развить.

— Боюсь, он зря вас обнадежил. Простите, Паша, но ваша философия стоит на уровне самого жалкого дилетантизма. Настоящая философия — это наука, ничуть не менее сложная и разветвленная, чем наша с вами математика. Чтобы сказать что-то новое в области философии, надо прежде всего знать, что делали люди до вас, над чем они думали, к каким выводам приходили...

И так далее и так далее. Я сама понимала, что говорю слишком пространно, лекционно и, в общем, неубедительно. Мне казалось, что моими устами говорит Радий Юрьев... Страсть к самодеятельной мысли, если уж она завелась в человеке, уговорами не перебивается. Ей надо дать выкипеть или перебить чем-то равносильным. Хоть бы он влюбился, что ли...

Он смотрел на меня со скептическим неодобрением. Я не унималась:

— Давайте рассуждать по аналогии. Вообразите, что какой-то неуч, понятия не имеющий о математике, прилет к нам на кафедру и предложит нам свою теорию оптимального управления. Что мы ему скажем? Пойди, батюшка, сперва поучись, почитай книжки...

Тусклые Пашины глаза зажглись красноватым огнем:

— Это вы так скажете! А я ему скажу: молодец! Только свежий ум, не испорченный образованием, может породить нечто воистину новое...

Словцо «воистину» меня покоробило. Экий пророк в джинсах! Может быть, поэтому я сказала злее, чем хотела бы:

— Вы хвалитесь, что никогда ничего не читаете, но «Отцов и детей» в школе вы поневоле прочли и теперь неудачно подражаете Базарову. Вы крохотный Базаров наших дней, кой-как научившийся программировать. И если вы в самом деле против всякой науки...

— Против! — с готовностью подтвердил Паша.

— ...то зачем вы ею занимаетесь? Зачем портите свежие умы студентов образованием?

— Исключительно по слабохарактерности! — радостно сказал Паша. — Я давно говорю, что меня надо гнать из института поганой метлой!

— Погодите до конкурса, — сказала я нелюбезно, — у вас будут все возможности выступить против своей кандидатуры.

— Я уже об этом думал. Беда в том, что я, как молодой специалист, переизбранию по конкурсу не подлежу.

Он мне надоел со своими кедами, спутанными волосами и мутными мыслями ценой в грош. Я в принципе ничего не имею против длинных волос у мужчин, но только когда они чисто вымыты, а Паша мытьем головы не злоупотребляет. Пахло от него, как от мокрой собаки. А главное, толку от нашего разговора не было никакого. Для Паши характерно чувство абсолютного умственного превосходства над любым собеседником; тот ценен, только если ему поддакивает. Я замолчала, ожидая, когда он уйдет. Вместе с раздражением странным образом росла жалость...

Хлопнула входная дверь — пришел Сайкин. «Будет мне на орехи за грязный паркет», — подумала я. Против ожидания Сайкин вошел веселый, любезный, мило поздоровался с Пашей Рубакиным и остановился с выражением детской открытости, редкой теперь на его взрослом лице.

— Паша, познакомьтесь, это мой старший сын.

— Александр Григорьевич, — представился Сайкин, подавая ему руку.

— Павел Васильевич.

— Очень приятно.

— Взаимно. Кстати, Александр Григорьевич, вы не в курсе дела насчет успехов нашей сборной по шахматам?

— Само собой, в курсе.

И завел. Во всех подробностях: кто, когда, с кем, дебют, цейтнот...

В шахматах я, как большинство женщин, ничего не смысллю.

— Ну ладно, беседуйте, а я пока приготовлю вам чай.

«Странная ситуация, — думала я, надевая передник в кухне, — я готовлю Сайкину чай». Обычно не я его, а он меня кормит. Даже теперь, когда мальчики в лагере, я относительно свободна, а у него экзамены. Рассуждая по-энэновски, права ли я?

Готовя чай и делая бутерброды (они, разумеется, падали маслом вниз), я окончательно убедилась, что не права и вообще мерзавка.

Я вошла к молодым людям, катя перед собой псевдоэлегантный столик на колесах для одного-двух гостей (потуга на «красивую жизнь», недавно освоенная нашей мебельной промышленностью, цена сорок пять рублей). Столик был хром и кос, и, пока я его везла, чай выплескивался из чашек. Сайкин сидел, перекинув длинную ногу через ручку кресла. Разговор у них шел весьма оживленный, на этот раз о квазарах и пульсарах. Я поставила перед ними столик и совсем неизысканно стала сливать чай с блюдечек обратно в чашки.

— Спасибо, мать, — небрежно сказал Сайкин. «Ого!» — подумала я, оставила их разговаривать и ушла на кухню, чувствуя себя женщиной и зная свое место. Первый раз я ощутила не разумом, а чувством, что Сайкин мужчина и, возможно, скоро уйдет от меня в свою мужскую жизнь, женится, заведет семью... Хорошо будет его жене, но мне без него будет плохо...

Паша Рубакин ушел около одиннадцати, полностью очаровав Сайкина (чем?) и пообещав заходить еще, очевидно уже к нему, не ко мне.

— Маленький, ложись спать, — сказала я Сайкину, — завтра у тебя трудный день.

И в самом деле день предстоял ему трудный: экзамен по физике. Привстав на цыпочки, я поцеловала своего «маленького». Он снисходительно ответил мне поцелуем.

— Спокойной ночи, мама.

Оставшись одна, я взялась за рюкзаки. Они были слегка влажны и так тяжелы, будто набиты кирпичом или железом (интересно, что самое легкое, бумага, оборачивается самым тяжелым, когда ее много). С волнением, я стала просматривать их содержимое. Бумаги, бумаги, бумаги, — разных форматов, разного цвета и качества. Одни были собраны в папки, другие сколоты, третьи просто навалом. Ни нумерации, ни дат. Попадались среди них и тетради — школьные, клеенчатые, канцелярские. Все это пахло пылью и тленом, и все это мне предстояло разобрать, привести в порядок... У меня даже сердце заныло. Всего неприятнее показалось мне обилие рисунков, а именно ножей, прекрасно исполненных. Только подумать, кроткий Энэн, мухи не обидит — и вдруг наедине с собой ножи...

Было поздно. Я вспомнила, что утром вечера мудренее, открыла платяной шкаф и выгрузила содержимое рюкзаков на нижнюю полку. Легла я спать с ощущением чужого присутствия в комнате. Во сне я видела Энэна, который стоял возле шкафа, раскрыв дверцу и наклоняясь над своим наследием. Я ему сказала: «Слава богу, теперь вы сами зайдетесь своими ножами». Он выпрямился, покачал головой и ушел сквозь стену.

На другой день с утра я начала разбирать бумаги. Последующие несколько месяцев я их разбирать продолжала. Работа, прямо сказать, не из легких. Иногда у меня просто опускались руки. Почерк у Энэна всегда был неразборчив и мелок, а за последние годы еще умельчился и как бы усох. Судя по почерку, все доставшиеся мне бумаги относились именно к последним годам. Но дело не в почерке.

Естественно, в первую очередь я взялась за материалы научного содержания. В наследии было много листов, сплошь покрытых формулами, со скучными словесными вставками вроде «но учитывая (27)», «таким образом», «откуда» и т. п. Читать такие тексты мы, профессионалы, уже привыкли, но, говоря откровенно, это всегда неприятно по интенсивности умственных усилий, требующихся для их преодоления. Каждый переход как перевал. Может быть, для меня чтение математических текстов потому так неприятно, что я бездарна? Но я говорила со многими товарищами, и все они честно признаются: тяжело. Здесь нужно не просто читать, а проделывать вслед за автором все его преобразования, проверять их на бумаге, воспроизводя опущенные подробности. Особенно меня бесит, когда какой-нибудь мудренький фортель сопровождается словами «легко видеть, что...»: тут-то и просидишь иной раз целых полдня, пытаясь «увидеть». Нелегко бывает объяснить категорность нашей работы гуманитарию. Читать научный текст в любой области нелегко, требуется усилие, но у нас нужно, так сказать, другое усилие...

В общем, взялась я за чтение энэновских материалов с естественной неохотой, преодолевая себя. К моему удивлению, читать их оказалось совсем нетрудно — все было действительно «легко видеть». Слишком легко... Читая эти листы, я, к своему огорчению, не смогла найти в них почти ничего нового. Автор, по-видимому, только перепевал, повторял самого себя. Сплошняком шли друг за другом излишне подробные скучные выкладки. Старомодная манера писать не в компактной матричной, а в скалярной, развернутой форме придавала им видимость объема при почти полном отсутствии содержания. Все это было похоже на мыльный пузырь, но без его блеска. Иногда на полях попадалось восклицание типа «боже, какая ерунда!» или «стыд и позор!», из которого видно было, что и сам автор на свой счет не очень-то обольщался...

Дни шли за днями, но ничего мало-мальски интересного мне обнаружить не удавалось. Это были, в сущности, его старые работы, иногда с ничтожными, кстати совершенно ненужными, обобщениями. Формулы, видимо, писались с той же автоматичностью, с какой рисовались ножи...

Помню, Леля рассказывала мне про известное в медицине явление фантомных болей, когда у человека остро, мучительно болит ампутированная конечность. Она это рассказывала в связи со своим отношением к бывшему мужу.

Теперь по какой-то (может быть, обратной?) ассоциации я вспомнила о фантомных болях, разбираясь в попытках Энэна творить. Ощущение творчества не забыто, но основа, где оно зарождается, отсутствует.

В конце концов, прочитав внимательно все отрывки, заметки и пробы, составлявшие «научное наследие профессора Завалишина», я пала духом. Публиковать тут, собственно, нечего.

А ведь какой был талантлище! Феномен, раритет. Место ему было бы в какой-нибудь научной кунсткамере. Ни у кого я не встречала такого быстрого восприятия, такого своеобразного, яркого хода мысли. «Научный ферзь, — говорил о нем Лева Маркин, — мы все перед ним пешки». Надо было самому поломать голову над какой-нибудь упрямой проблемой, чтобы по достоинству оценить неожиданный блеск и грацию, с которой ее разрешал Энэн.

Больше всего меня в нем поражало полное отсутствие инерции, постоянная готовность включить мысль. Мы, обыкновенные люди, медлим перед умственным усилием, как купальщик, перед тем как войти в холодную воду. Энэн прыгал в мысль вниз головой.

Все мы, его сотрудники, привыкли думать, что мы — это одно, а он — совсем другое. Он, как говорил тот же Маркин, «произошел от другой обезьяны».

В свое время он дал мне тему кандидатской диссертации. Я сделала что могла, принесла ему. Он прочел, похвалил, но сказал: «Здесь можно было бы обойтись аппаратом попроще». Взял ручку и за четверть часа, играя, набросал на трех страницах то, что у меня заняло сто двадцать...

Помню ощущение раздавленности, с каким я от него ушла. Разумеется, свои сто двадцать страниц я уничтожила. Но его драгоценные три сохранила. Оказалось, что здесь он нечаянно изобрел совсем новый метод, который был применим далеко за пределами моей ограниченной темы. От нее, опостылевшей, я обратилась к другой и, пользуясь методом Энэна, за год написала работу, которая, пожалуй, тянула на диссертацию. Надо было принести ее на суд научного руководителя. Но тут как раз умерла Нина Филипповна; Николай Николаевич, сожженный горем, стал для меня недоступен, как и для всех других. Он начал заикаться, смотрел сквозь людей. На мои робкие просьбы посмотреть диссертацию он отвечал: «Да-да, как-нибудь займемся» — и даже как будто стал меня избегать.

Тем временем на факультете меня торопили с защитой (занимая должность доцента, я не имела ученой степени). Я поступила, пожалуй, правильно (хотя в какой-то мере и беспринципно), оставив Энэна в покое. Без него подобрали оппонентов, разослали автореферат, получили отзывы (сплошь положительные). Разумеется, в тексте я ссылалась на то, что метод был предложен моим научным руководителем, но все дружно превозносили меня именно за метод! Защищила я удачно, прошла единогласно, но чувство неудовлетворенности и неясной вины меня не покидало. На моей защите Энэн присутствовал, выступил и тоже меня превознес, особенно за самостоятельность. Из его выступления было ясно, что диссертации он так и не читал, а о своей идее, положенной в ее основу, начисто забыл. У меня на всю жизнь осталось сознание, что я в каком-то смысле его обокрала, а он даже не заметил — так был безмерно богат!

Не только я, все мы, его сотрудники, были уверены, что его внутренние кладовые неисчерпаемы. То, что за последние годы у него почти не было публикаций, мы объясняли тем, что он работает над какой-то сверхважной проблемой и не торопится предать гласности результаты, которые, несомненно, составят эпоху в науке. Мы — это старожилы кафедры, знавшие Энэна в эпоху его расцвета. Молодые были склонны над ним подшучивать, но, глядя на нас, проникались почтением.

Что ж оказалось? Наследия нет, как говорится, «пустое множество». Я терпеливо продолжала поиски, не теряя надежды набрать материала хоть на скромный посмертный сборник.

Однажды мое внимание привлекли как будто знакомые формулы; в других обозначениях я не сразу их узнала. Вчиталась, вдумалась и убедилась, что Энэн (разумеется, без умысла) воспроизвел в своих попытках творить какие-то фрагменты моей диссертации. Меня он тогда не слушал, отзыв написал, не читая работы, во время защиты спал... Возможно, тут было нечто вроде гипнотерапии (обучения во сне)? Нет, скорее всего, к этим вещам он пришел самостоятельно, от меня независимо. Раньше меня или позже? Это установить было уже невозможно. Если раньше, то я совершила невольный плагиат.

Одна из самых грустных вещей, встречающихся в научной работе, — нечаянное пересечение результатов. Человек работает над проблемой иной раз годами, а потом оказывается, что его результаты уже кем-то получены. У нас это называется «потоптали пастище». Тот, чье пастище потоптали, старается держаться молодцом, берется за новую тему. В моем случае было неясно, кто чье пастище потоптал (и к тому же только участок, а не все пастище), но мне было тяжело и горько... Главным образом потому, что Энэн, всегда стоявший надо мной в недосягаемости, здесь оказался вровень со мной... Признаваться в моем открытии не имело смысла (это походило бы на то, как иногда студент приходит к экзаменатору с просьбой снизить оценку; такие чудаческие акции редко, но бывают). Так или иначе, публиковать найденное смысла не имело.

Итак, на посмертный сборник, как ни крути, материала не набиралось. Слава богу, на кафедре меня не торопили. Кравцову было не до меня с моей комиссией: он уже трещал крыльями, подыскивая себе другую работу. А я долгими часами все сидела и сидела над бумагами профессора Завалишина...

Дело в том, что в этих бумагах наряду с научными заметками я нашла записи совсем другого рода. Разрозненные, недатированные, неопределенные по жанру — нечто среднее между дневником и мемуарами, — они привлекли мое внимание остро и как-то болезненно. В этих записях Энэн беседовал с самим собой, размышлял, недоумевал, обращался к прошлому — особенно упорно к детству. Записи были различны по объему, тематике, интонации. Встречались более или менее связные, в несколько

страниц; были и совсем небольшие отрывки, две-три строки, потонувшие в ножах; их трудно было датировать даже приблизительно. Была серия записей на темы педагогики высшей школы, образования и воспитания. Может быть, кое-что из этой серии можно будет включить в сборник?

Читать чужие интимные записи (особенно близкого человека, а Энэн был мне все-таки близок!) интересно, но и стыдно, как будто подглядываешь в замочную скважину. Все время, пока я разбирала записи (иногда с лупой — так это было слепо написано!), меня мучило чувство неловкости и вины. Хотя по своему положению я была не только вправе, но и обязана читать все. Паша Рубакин не раз предлагал мне свою помощь, но я ее с самого начала отвергла, и хорошо сделала.

ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

Бывает, человеку кажется, что его душа ороговела, а на поверхку выходит — нет.

Опять приходила Майя. Пела под гитару. «Нет, не любил он»... Я был растроган, чуть не разревелся.

— Что с вами, дядя папа?

Обнимает, рядом щека, сама плачет.

Вправе ли я ее судить?

Сказано: «Не судите, да не судимы будете». Неверно. Все мы судим, и все судимы.

Хорошо, что наши мысли и стены домов непрозрачны и люди не знают, что о них думают и что говорят за глаза.

Старческие мечты: как бы хотелось положить кому-то голову на колени и чтобы мне ее гладили. Но вспоминаю, что лыс, и с ужасом эту мысль отбрасываю.

...Кто-то сказал: трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым.

Институт. Иду вниз по лестнице, ступени скользки, куда-то плывут. Мимо бегут-мелькают молодые, их много. Отступают, пропускают меня вперед или вежливо обгоняют. Один.

Стена вежливости вокруг человека усугубляет его одиночество. Если бы меня толкнули или обругали, мне было бы легче.

Вся моя беда — нет сочеловека (Mitmensch по-немецки «ближний», буквально «сочеловек»). А ведь были у меня сочеловеки. Как и когда я их растерял?

Где бы я ни был, мое положение почетное, но единичное. Я не являюсь рядовым членом ни одного коллектива. На кафедре меня уважают, даже, пожалуй, любят (по-своему, ворчливо, насмешливо). Но я один, существую в единственном экземпляре.

Коллеги-профессора? Все они с женами, с семьями, с благоустроенными квартирами. Почти у всех машины, многие мечтают о гараже. И среди них я один, отдельный.

Как-то ехал в автобусе. Пригород, невысокие дома с телевизионными крестами. Все кресты стоят параллельно друг другу, и только один, словно пьяный, торчит наобум, под углом к остальным. Я — такой крест.

Никогда я не принимаю участия в кафедральных или институтских соборищах. Один-единственный раз в виде исключения поехал на экскурсию теплоходом. Сидел один в кресле. Слитности с другими не получилось, но был рад, что поехал. Незабываемое ощущение душевной отрады. Что-то меня отпустило.

На корме танцы. Танцуют одни женщины, среди них Лидия Михайловна. Как она лихо плясала, с каким огнем!

Я с детства дикарской любовью любил огонь — костер. Соберешь палочки, стебли, сухую траву, подожжешь газету. Пламя на солнце сначала невидимое, бледно-синеватое, с дымком, только газета коробится, чернеет по краям. Если бросить в костер веточку хвои, она задумается, затлеет, потом начнет щелкать, сыпать искрами.

Как я жаждал сберечь огонь, не дать ему погаснуть! Как я дул в костер всеми силами своих маленьких легких! И как наконец он вспыхивал победно и ярко!

Об этом пылании раздутого костра я вспоминал, глядя на танцовщицу Лидию Михайловну. Я ею любовался, пока она ко мне не подошла.

Ужасно, что мое одиночество сопровождается отталкиванием от людей. Реакция отторжения (с Майей было не так).

Опять о теплоходе. Я, никогда никуда не выезжающий, набрался впечатлений в этой поездке, как ребенок, которого свели в театр. Берега были прекрасны. Какой-то особенно прозрачный воздух струился над ними. Вечером не без удовольствия слушал танцевальную музыку. Бывают какие-то дни, когда ты открыт впечатлениям и удивляешься, как ты раньше жил без них.

Вальс излучали радиорупора — серебристые, каждый словно бы с крупным яблоком внутри. Серебряные яблоки.

Часто говорят о золотых яблоках. Такие, вероятно, росли в раю — пышном, нарядном, наглом раю.

Я вижу скромную страну, где на тонких черных деревьях растут серебряные яблоки. Не очень тяжелые, они висят, не отягощая, почти не сгибая ветвей. Весь пейзаж тонок, строг и графичен. Какие-то черные ландыши растут под деревьями. Я все это вижу, и я счастлив.

Я не люблю цветного кино. Не выношу кричащей яркости так называемых художественных открыток. Скупая черно-белая гамма гораздо больше мне по душе. Поэзия бедности.

Когда-то мы умели быть бедными и бедности не стыдились. В нашей юности она была нормой существования. Когда мы с Ниной поженились, у нее было всего одно платье. Я бы мечтал сейчас встретить женщину, у которой было бы только одно платье и которая этого не стыдилась бы. То единственное платье было серо-зеленое, в узенькую полоску. Потом оно истерлось, и мы сшили другое — черное.

Говорят, блондинкам идет черное. Закрываю глаза и стараюсь представить себе Нину в черном. Ничего не выходит, образ рассыпается на осколки. Напрягаю память, и на минуту мне удается увидеть Нину, но со спины. Узкая стройная спина, прячущаяся в чем-то широком, траурном. Узенькая щиколотка над веревочной туфлей (тогда такие носили, сами делали) — вот и вся Нина первых лет нашего брака. Я силюсь повернуть к себе лицом тонкую фигуру в черном — не удается. «Нина, обернись, посмотри на меня!» Не оборачивается, пропадает.

Еще напрягаю память, и возникают ее глаза после смерти Коли. Глаза не голубые, а черные, сплошь залитые одними расширенными зрачками. Их я не могу вынести, их я гашу.

Еще видится мне Нина каких-то средних, не самых поздних лет, почему-то всегда склоненная, с совком и веником в руках, подбирающая с пола мусор. Но эту Нину я не могу разогнуть, поставить прямо, заглянуть ей в лицо.

Фотографии ничего не дают, воображение отказывает.

Человек, забывший, как выглядела его жена, с которой он прожил без малого сорок лет! Нет, решительно мне пора умирать.

Сегодня разговор с Павлом Васильевичем Рубакиным (язык не поворачивается назвать его Пашей, как у нас принято).

На кафедре над ним посмеиваются. Его странноватая наружность, его сложносочиненная, запутанная речь, его манера по любому поводу вдаваться в философию заставляют людей обычных, нормальных его сторониться. По всем этим признакам я чувствую себя его братом. Он тоже одинок, как и я. В нем тоже бродит взыскательная, но бессильная мысль. Все же это не сочеловек; наше общение не отменяет одиночества: он один, и я один.

Мысли его постичь трудно; вряд ли они особенно содержательны. Речь у него вообще правильная, но меня почему-то радует, когда эта правильность нарушается. Сегодня он сказал: «Я с детства боготворю перед Эйнштейном» — и я был тронут.

Размышляю о высшем образовании, о его судьбах и перспективах. Собственно, о высшем техническом образовании (только в нем я относительно компетентен).

Мне кажется, что, погнавшись за массовостью, мы что-то здесь потеряли. Наметилась инфляция высшего образования. Что-то вроде денежной реформы тут необходимо.

Мне трудно об этом судить, не располагая данными, но, по-видимому, такого количества специалистов, которое ежегодно выпускают втузы по всей стране, народному хозяйству не нужно. Диплом инженера у нас обесценен. Квалифицированный рабочий получает больше, чем инженер; это тревожный признак.

Тот набор знаний, который мы даем студенту, для большинства наших учеников избыточен, для меньшинства, наоборот, мал. Инженер на производстве, как правило, обходится без высокой науки, ему

нужны совсем другие знания и навыки (организатора, снабженца). Из наших плохих студентов нередко выходят дельные инженеры.

Меньшинство наших выпускников попадает на научную работу, и для них объем научных знаний, полученный в институте, крайне недостаточен.

Тех и других мы стрижем под одну гребенку, готовим по одной и той же программе одно и то же количество лет. Ни тех, ни других мы не учим самостоятельно приобретать знания по книгам, а это самое важное в наше время, когда любой запас готовых знаний через пять — десять лет устаревает.

Все это наводит на мысль (где-то она уже высказывалась), что высшее образование надо бы сделать двухступенчатым. Повышенную научную подготовку давать только тем, кто имеет (и делом сумел доказать) способности, призвание и усердие к научной работе. Таких специалистов надо готовить не валовым, а штучным методом. Для этого нужно резко снизить число студентов в группе и нагрузку преподавателя. Там, где речь идет о произведениях искусства, массовая штамповка бессмысленна. Специалист высокой квалификации — то же произведение искусства.

Общение преподавателя со студентом должно быть индивидуальным, а не обезличенным. Ничто так не формирует личность учащегося, как обильные, не стесненные временем беседы с наставником. Для этого тот и другой должны иметь время.

Процесс обучения надо сделать привольным и радостным. Как этого достичь? Не вполне ясно. Черты такого приволья иногда замечаются. Хорошая лекция — всегда праздник. Число лекций следует ограничить, предоставляя студентам возможность самостоятельно изучать предмет по книгам.

Наша современная система контроля (экзамены) с жестокими требованиями к памяти учащегося страшна больше всего тем, что она подавляет естественную любознательность юного существа. Вспомним павловский рефлекс «что такое?». Собака, особенно молодая, встречаясь с незнакомым предметом, норовит его обнюхать, обследовать. У большинства наших студентов этот рефлекс подавлен. Они не только нелюбопытны — они яростно отталкивают от себя любую информацию. Преподаватель, сообщающий им дополнительные сведения, становится их личным врагом. Еще бы — он увеличивает объем того, что надо заучить и отбарабанить на экзамене. Совершенно неправильным я считаю обычай (принятый почти везде) требовать от студента, чтобы он отвечал на экзамене весь материал на память, без справочников, конспектов. Такой экзамен превращается в нелепую процедуру, униzierительную для обеих сторон.

Особенно ненавистна мне манера иных преподавателей читать лекции, не отрываясь от конспекта, а на экзамене требовать от студента все наизусть. Слава богу, у нас на кафедре такой гнусной практики нет. Наши лекторы (вид щегольства!) выходят к доске, не имея в руках не только конспекта, но и вообще ничего («Кругом живот да ноги», — говорит Маркин словами Зощенко).

Что касается экзамена, то мою вольную позицию разделяют не все.

По-моему, идеально было бы, чтобы студент на экзамене, пользуясь любыми пособиями, продемонстрировал свое умение приложить данную науку к решению реальной задачи. Ведь именно этого потребует у него жизнь!

Мне возражают: на такой экзамен пойдет слишком много времени. Вероятно, в этом они правы. Но что значит «слишком много времени»? Можно ли сказать, что писатель затратил на свой роман слишком много времени? Или художник на картину?

Мне самому, когда я от вольных мечтаний перехожу к реальной действительности, неясны здесь многие вопросы.

Может быть, нельзя совместить массовость обучения с его индивидуальностью? Но ведь вся наша жизнь — ряд попыток соединить несоединимое. Полностью нам это не удается, но частично — да. Поразительно, что даже при крайне несовершенной системе обучения мы все-таки выращиваем какое-то количество полноценных специалистов. Вероятно, это те самые, которых мы отобрали бы в группы повышенной подготовки, если бы такие существовали. Но тогда мы смогли бы уделить каждому из них больше внимания.

Несколько слов о процедуре приема в вуз: в своем теперешнем виде она непригодна и своей функции отбора достойнейших не выполняет. Проверяется не развитие, не способности, а (в лучшем случае) степень натасканности. В результате — фиктивный отбор, случайный прием. Попасть в вуз

довольно трудно, но это последнее усилие. Будучи принятым, студент, независимо от своих качеств (одаренности, прилежания, призвания), как правило, вуз кончает. Отсюда цветы блата. Родители в лепешку разобьются, только бы их чадо было принято.

В нашем институте, как и в подавляющем большинстве других, нет ни взяток, ни прямого подкупа, зато нередок «подкуп знакомства». Попадают не самые достойные (их все равно отобрать невозможно), а те, у кого удачные связи.

Снова напрашивается неоригинальная мысль о «приеме с запасом», когда принятые считаются только кандидатами в студенты и должны делом доказать свое право учиться в вузе. Разумность такой меры очевидна, но возражение традиционное: дорого! Но не дороже ли обходится выпуск неполноценных специалистов, пять лет учившихся из-под палки и питающих глубокое отвращение к любым знаниям, любому труду?

Впрочем, вполне может быть, что во всех этих размышлениях я и не прав. Всегда легче критиковать, чем делать.

Одно несомненно: нужно искать новые формы высшего образования, экспериментировать, пробовать. Но все это уже без меня. Я стар.

Разговаривал с Ниной по телефону. Далекий дорогой голос с легким надломом на гласных, с четкими концами слов. Был временно счастлив. Хорошо, что по телефону не видно лиц. Мое было бы в высшей степени не вдохновляющим.

…Читаю Коран. Какая это потрясающая, жестокая и прекрасная книга! Магомет (правильнее Мухаммад), оказывается, не писал ее, а диктовал. Одержаный какими-то припадками (вероятно, эпилепсии), он впадал в священный транс и выкрикивал слова, исходившие как бы от самого Аллаха. Слова записывались и впоследствии составили Коран.

Каждая сура (отрывок, стихотворение) начинается словами «во имя Аллаха милостивого, милосердного». Но какое в них разнообразие! Чего стоят одни названия сур: «Завернувшийся», «Нахмурился», «Обвешивающий», «Разве мы не раскрыли»… Одна сура ярче другой, безумнее, выразительнее.

Это прежде всего великолепная поэзия. Выпишу, например, целиком мою любимую девяносто седьмую суру «Могущество»:

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Поистине, мы ниспослали его в ночь могущества!
А что даст тебе знать, что такое ночь могущества?
Ночь могущества лучше тысячи месяцев.
Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их
для всяких повелений.
Она — мир до восхода зари!

Читаю — и покорен яростью вдохновенного поучительства. Какое величие в этом риторическом вопросе: «А что даст тебе знать…»! Кстати, такой вопрос сплошь и рядом встречается на страницах Корана.

(Вывожу для себя: урок, чтобы впечатлять, должен быть прежде всего вдохновенным. Эмоциональность тут важнее ясности. Не беда, если что-то останется как бы в тумане: это создает ощущение необъятности всего, что не сказано.)

А вот начало сотой суры, «Мчащиеся»:
Клянусь мчащимися, задыхаясь,
И выбивающими искры,
И нападающими на заре...

Казалось бы, «мчащиеся» должны быть всадниками на конях — наше европейское сознание сразу подсказывает нам этот образ. А вот некоторые исследователи склоняются к мысли, что «мчащиеся» — не что иное, как верблюжий отряд Мухаммада! Каковы должны быть эти верблюды и как они должны мчаться, чтобы выбивать искры? И нужен ли здесь реализм?

Пятьдесят четвертая сура («Месяц») начинается сокрушительной по силе строкой:
Приблизился час, и раскололся месяц...

Читал это вчера вечером. С опаской поглядел в окно. Месяц был на месте, и это меня немного утешило.

Интересно, что бы сказало мое начальство, если бы знало, что я увлечен Кораном? Боюсь, что оно прислало бы мне психиатра...

Я вообще часто себе представляю, кто и что обо мне говорит за глаза. Иногда произношу за них целые монологи. Вероятнее всего, я ошибаюсь. Говорят обо мне и хуже и лучше, чем я это себе вообразил.

Бывают слова мистические, не слова, а связки ассоциаций. Например, «кибернетика».

Я сам, заведующий кафедрой кибернетики, не знаю, что это слово значит.

В свое время — лет двадцать с лишком назад — слово «кибернетика» было ругательным. «Насквозь порочная, буржуазная лженаука». Помню, как меня в свое время прорабатывали за одну из моих статей, где я попытался описать с помощью дифференциальных уравнений совместную работу человека и машины. Главный довод против меня был: «Это какая-то кибернетика!» Я был уверен в своей правоте, но этот довод на меня как-то подействовал, заставил оправдываться. В том, что кибернетика плоха, я не сомневался, думал только, что моя работа к ней не относится...

С тех пор многое изменилось, и слово «кибернетика» изменило окраску на диаметрально противоположную. Кибернетикой клянутся и божатся, склоняют ее во всех падежах (между прочим, охотнее всего именно те, которые ее в свое время искореняли), и уже навязло это слово в зубах и стыдно его произносить. На моей кафедре занимаются приложениями математики к различным задачам управления, но само слово «кибернетика» употреблять избегают. Мне даже кажется, что твердо знают, что такое кибернетика, только профаны и журналисты, захлебывающиеся восторгом при одном звуке этого слова.

Тем не менее существование нашей кафедры осмысленно. Под модным флагом трескучего слова оказалось возможным создать хороший коллектив, убедить начальство, что студентам нужна высокая математическая культура, ввести в учебный план ряд новых дисциплин, держа уровень изложения вровень с передним краем науки. Для тех из студентов, которые способны и хотят учиться, это полезно, для других безразлично.

Кафедра клубится. Тесное, хотя и высокое помещение, поломанная мебель, скученность. На большой перемне гвалт, как на птичьем базаре. Идут разговоры на методические темы: лекторы дают указания ассистентам. Тут же толкуются дипломники с бумажными лентами — результатами машинных расчетов, этими лентами они обмотаны с ног до головы. Тут же двоечники — пересдаают свои хвосты. Тут же: «Что дают? Где купили?» В буфете вобла — ажиотаж, бегут туда, уже кончилась...

После часа, проведенного в этом бедламе, голова болит, как от угаря. Кстати, современные люди не знают, что такое угар. Многие из них никогда не видели керосиновой лампы. Дети на улице сбегаются смотреть на лошадь, как мы когда-то сбегались смотреть на первые автомобили... Отрывки разговоров:

— Изматываешься на этих занятиях до черта. Вредное производство. Вообразите себе актера, которому надо играть по шесть спектаклей в день. Да он не выдержит, с ума сойдет.

— А мы хронически сходим с ума, но никак до конца не сойдем. Скоро нас всех оптом отправят в психушку. Палата кибернетики.

— И какого черта мы здесь ошибаемся? В любом НИИ в сто раз легче. Тишина, библиотечные дни...

— Зато там стоячая вода, а у нас текучая. Студенты — наше спасение.

— Думаю, наша любовь к студентам отнюдь не взаимная.

Вечная история. Отцы и дети.

Только подумать: эта молодежь — отцы! Мне уже надо считать себя не иначе чем прадедом.

Сегодня кончились лекции.

Нина в облаке цветов. Счастливое вознесенное лицо.

...И опять, уже в который раз, пушат тополя. Тополиный пух всегда сравнивают со снегом. Сегодня я впервые заметил, что это «обратный снег». Большинство пушинок летит не вниз, а вверх; остальные реют в воздухе. Как же они в конце концов приземляются?

Во сне я видел Нину. Осуществив свою мечту, положил ей голову на колени. Нина гладила меня по голове. Я чувствовал эти сухие, тонкие, любимые руки на своей голове и был счастлив безмерно. Во сне

я не был лыс: эти руки не скользили, а, слегка запинаясь, двигались по моим волосам как будто им что-то мешало, может быть кудри? Да, во сне я был даже кудряв, чего никогда не бывало в жизни...

Вспомнил эпизод: встречу в поликлинике с профессором К., старцем, когда-то генералом, ныне глубоким отставником. Он нес свое тело на осмотр к терапевту, скованно передвигаясь, как будто strenоженный. На прием его записывала сестра, маленькая и компактная, как райское яблочко, в коробчатой шапочке на стоячих кудрях. Записываясь, К. не смог вспомнить своей фамилии. Она глядела на него вежливо, но насмешливо большими влажными серыми глазами. Я, стоявший сзади в очереди, подсказал ему его фамилию. Он поблагодарил меня. То, что он сказал вслед за этим, меня потрясло. Он сказал: «При жизни-то я был еще ничего...»

И как тут не вспомнить Гоголя:

«Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: „Здесь погребен человек“; но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости».

Боже! Стоит ли длить мне мою затянувшуюся жизнь?

Пока еще читаю лекции. Пока еще радуюсь чириканью воробьев. Пока еще помню свою фамилию. Пока еще люблю Нину — хочу жить. Когда всего этого не будет — жить не хочу.

Но как найти грань, за которой жизнь уже бессмысленна? Как через нее не перехватнуть?

Тяжесть прожитых лет висит на мне не только физически, но и морально.

Уходят реалии прошлого. Уходят люди, которые эти реалии знали.

Читаешь книгу — в ней текст песенки, популярной в годы моей юности. Для меня она поет, для других молчит, читается только глазами.

Мое прошлое поет для меня одного. Нет никого в живых, знавших меня мальчиком.

Время не идет — слово «идет» намекает на какое-то горизонтальное движение. Время падает, проваливается, непрерывно ускоряя свое падение. От этого ускорения у меня кружится голова.

Куда я падаю? Очевидно, в смерть.

Смерть мы себе представляем как нечто торжественное, какую-то грань, рубеж. Может быть, это не так. Может быть, смерть — это длящееся состояние, нечто перманентное.

Раньше не было человека, пережившего свою смерть (привидения не в счет). Теперь реаниматоры просто и буднично выводят людей из состояния клинической смерти. И сама смерть потеряла в торжественности, обытовела.

Мне, как говорят газетчики, довелось побеседовать со стариком, который уже один раз умер. То есть находился в состоянии клинической смерти и был из нее выведен бригадой реаниматоров. Старик, наш институтский столяр, пьяница и халтурщик, после клинической смерти был точно таким же, как до нее. Его давно собирались уволить за пьянство, но теперь как-то стеснялись: все-таки умер человек. После смерти он стал практически неуязвим и работать перестал окончательно. На днях он пришел к нам в лабораторию и потребовал, чтобы ему дали «фильтр».

— Зачем вам фильтр, Иван Трофимович? — поинтересовался я.

— Прогонять политuru. Я се, поди, за всю жизнь три цистерны выпил, а теперь, после клинической, опасаюсь.

— А как вы себя после этого чувствуете? — спросил я с естественным любопытством.

— Хорошо чувствую, — сказал он уверенно. — Раз помирал, да не помер, век буду жить. Так я снохе и заявил. Не очистится вам после меня комната, я вечный житель.

— И как же это умирать? Не страшно? — спросил я.

— Нисколько не страшно. Бульк — и все. Как муху проглотил.

Пока я размышлял над услышанным свидетельством с того света, он быстро сориентировался и попросил у меня на бутылку. Я, разумеется, дал. О фильтре он сразу забыл. Через полчаса или час я его встретил в коридоре уже пьяным. Он шел, торжественно шатаясь, и пел: «Христос воскресе из мертвых...» Почему-то меня раздражало это «е» в слове «мертвых». Старый человек, он должен был бы помнить, как это слово произносится.

— Мертвых, а не мертвых, — сказал я ему.

— Чего? — не понял он.

Детство мое. Заутреня.

Одной из главных радостей моего детства были праздники с их традициями: Рождество с елкой, Троица с березками и величайший, первый из всех — Пасха. Нас, детей, будили среди ночи, нарядно одевали и вели в гимназическую домовую церковь. У меня нарядными были косовороточки, шелковые, блеском струящиеся, красная, синяя, голубая, и бархатные шаровары, заправленные в сафьяновые сапоги. К косоворотке полагался шелковый крученый кушак с кистями, из которого строго запрещалось вытаскивать нитки (я все-таки вытаскивал). Сестры-близнецы Надя и Люба в белых кисейных платьицах с цветными атласными лентами, в белых тупоносых туфельках, в белых чулочках. Волосы распущены, сбоку бант. Сегодняшние девочки носят бант сзади или сверху, сбоку никогда.

Сестры были старше меня на два года. Они звали меня Кока, а когда сердились, — Кокса. Писали на стене: «Кокса дурак».

Старше их была еще одна сестра, Вера. Той я не помню, она еще маленькой умерла от дифтерита.

Страшная тогда была эта болезнь — дифтерит. Само это слово звучало смертью. Рассказывали, что когда знаменитого доктора Раухфуса спрашивали: «Чем вы лечите дифтерит?» — он отвечал: «Гробиками»...

Теперь дифтерита нет, есть дифтерия — редкая болезнь, почти исключенная прививками, и она излечима. Когда я размышляю о тщете науки (а такое случается, и нередко), я вспоминаю о «гробиках» доктора Раухфуса и вынужден стать на колени перед этой самой наукой.

Как трансформировались за мой долгий век реалии быта, исчезли одни, появились другие. Нынешние дети не до конца понимают, скажем, «Майдодыра» Чуковского: «Я за свечку, свечка — в печку», «Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю», «Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник...» Упразднены не только самовар и умывальник, но и спальня (да еще мамина). Неужели через полвека дети так же не будут понимать, что такое телевизор?

Помню, как мальчиком, лет десяти — двенадцати, я впервые увидел автомобиль (тогда говорили «мотор»). Мальчишки выбегали из подворотен, кричали: «Мотор идет!» Я тоже бежал, кричал и вдыхал пьянящий запах бензина (теперь сказали бы «выхлопных газов»). Но тот запах совсем не был похож на нынешний. Возможно, тогда, в первых двигателях внутреннего сгорания, употреблялся не сегодняшний плохо очищенный бензин, а другой, близкий по формуле к нашему авиационному. Однажды на аэродроме я попал в струю этого запаха и просто ошелел: с такой пьянящей силой набросилось на меня детство!

Известно, что именно запах сильнее всего будят память. Пока я не прочел об этом в книгах, я думал, что сам открыл этот психологический закон. Запахи трогают меня, потрясают, сбивают с ног.

В ранней юности я был влюблена в одну девушку, Зину, впоследствии покончившую жизнь самоубийством. Я не был виноват в ее смерти. Я ее любил, а она любила другого. Большой, сильный, что называется, косая сажень в плечах. Звали его, как и меня, Николаем (Коля- большой и Коля- маленький). Что-то между ними произошло трагическое. Потом говорили, будто бы Зина рассказала Коле- большому что-то такое о своих друзьях, чего не надо было рассказывать, и друзья пострадали, а она отравилась. Записку она оставила одну: «Сам знаешь». На похоронах все сторонились Коли- большого, и он стоял отдельно, огромный, с повисшей головой, как заезженный конь.

Зинина мать, странно спокойная, подтянутая, стояла возле гроба и все вытирала мертвой дочери щеки и лоб каким-то особым, благоуханным одеколоном. Этот запах — благородный, глубокий, трагический — запомнился мне навсегда. Тогда я понял, что запах может быть трагическим...

А у праздника Пасхи был целый букет чудесных веселых запахов. Запах куличей и мазурок. Запах гиацинтов — нежных и плотных, как будто вылепленных из воска, — ими всегда украшали пасхальный стол. Запах крашеных яиц, которые мы, играя, катали по лакированным красным лоточкам; победить значило разбить своим яйцом чужое. Разбитое яйцо съедалось: победитель и побежденный по очереди от него откусывали. Яйцо было очень крутое, посиневший желток просвечивал сквозь белок небесной голубизной. Съедалось оно без соли, и его запах, чуть сероводородный, сладко мешался с запахом яичной краски, лакированного лоточка, паркетной мастики, оставлявшей желтые следы на наших белых чулках.

Белые чулки означали праздник. Обычно мы ходили в черных или коричневых, заштопанных на

коленях (тогда чулки штопали). Мои сестры Надя и Люба тоже должны были штопать чулки, это умение входило в программу воспитания девочек. У них были специальные грибочки — красный у Нади, синий у Любы. Я, как мальчик, к штопке чулок не привлекался. Я охотно бы штопал, но, боясь уронить свое мужское достоинство, наблюдал их работу со стороны. Сперва нитки натягивались тесными параллельными рядами в одном направлении, потом надо было, перебирая иглой, сплести ряды поперечной ниткой. Получалась настоящая, только ручной выделки, ткань. Теперь этого обычая нет: то ли люди стали богаче, то ли чулки прочнее. Когда я на лекции нечаянно сравниваю процесс численного решения дифференциального уравнения со штопкой чулок, студенты меня не понимают.

Тогда, в детстве, я только завидовал Наде и Любе; теперь, в старости, я иногда, крадучись, штопаю себе носки, для чего купил сувенирный гриб с пустой ножкой, ярко и пестро раскрашенный. Дарья Степановна, когда замечает в стирке заштопанные носки, сердится, попрекает меня скопостью: «Шпана не люди, рабочий как-никак, а вы профессор, тыщи получаете». Чтобы не гневить понапрасну Дарью Степановну, я иногда заштопанные носки с душевной болью отправляю в мусоропровод.

Как отрадно кого-то бояться — как будто окунешься в детство. Смешной ребячий страх, который я испытываю перед Дарьей Степановной, странным образом украшает мне жизнь, так же как причудливая ее речь, состоящая из сплошных ребусов, головоломок. Например, сегодня, стоя у окна и глядя во двор, она авторитетно произносит: «Ноль-три приехала, кого повезут, сестра из вены». Поначалу я озадачен. У кого бы это могла быть сестра в Вене? Потом догадываюсь. Смысл высказывания следующий: приехала за кем-то, неизвестно за кем, машина «скорой помощи», из нее вышли люди с носилками, с ними медицинская сестра, та, которая в поликлинике берет на анализ кровь из вены. Я восхищен своей догадливостью, я горд.

Сегодня опять разговаривал с Ниной. Всегда меня трогало, разрывало мне душу это долгое "и" в слове «Нина».

Я знаю, я смешон. Когда я гляжу в зеркало, я вижу некое подобие бога Саваофа из альбома Ж. Эффеля «Сотворение мира». Белая бахромка вокруг лысины с успехом заменяет сияние. Так и видишь рядом с собой грубоватого, невинно-голого Адама и забавных ангелов-ассистентов.

Я старик, мне уже за семьдесят. Но внутри старика живет юноша, все еще чего-то ждущий от жизни. Ему, этому юноше, надо любить, и он любит, сидя внутри старика.

Сегодня на кафедре разговор об учебных планах. Спорят пылко, с серьезными лицами из-за каких-то часов. Особенно ярится Спивак.

Меня удивляет, как эти люди могут такое внимание уделять распределению часов между дисциплинами. За долгие годы преподавания я пришел к странному убеждению: более или менее все равно чему учить. Важно, как учить и кто учит. Увлеченность, любовь преподавателя к своему предмету воспитывают больше, чем любая сообщаемая им информация. Слушая энтузиаста, ученики приобретают больше, чем из общения с любым эрудитом: высокий пример бескорыстной любви.

Корыстолюбие несовместимо с личностью настоящего педагога. Педагог должен быть щедр, без оглядки тратить себя, время, душу. Этот труд — всегда подвигничество.

Процесс обучения сам при всех своих недочетах высокоморален. «Сеять разумное, доброе, вечное» — можно, преподавая любой предмет: автоматику, химию, теорию механизмов.

В свое время, еще до моего рождения, было сломано много копий по вопросу о так называемом классическом образовании. Его противники утверждали, что древним языкам в гимназиях уделяется слишком много времени; его можно было бы употребить на приобретение других, более реальных знаний. Возможно, это и так.

Я сам учился в классической гимназии (правда, в одной из лучших), зубрил латынь и греческий. Дало ли это мне что-то реальное? Безусловно. Прежде всего привычку к труду, пусть не совсем правильно организованному. Кроме того, знание латыни облегчило мне впоследствии овладение рядом языков.

А самое главное: мне посчастливилось учиться у превосходного латиниста. Звали его по-смешному: Иван Иванович Трепак (может быть, поозвучию мне так приятна фамилия Спивак?). Трепак был кристальным энтузиастом, представителем этого племени в химически чистом виде. Латинские стихи, скандируемые звучным, высоким голосом Трепака, до сих пор звучат в моей памяти и вызывают

блаженные мурашки по коже:

Exegi monument'...

Так же, вероятно, Спивак зажигает студентов словами: «Каково бы ни было произвольно малое положительное число эпсилон, всегда найдется такое положительное число дельта, что...» Важно быть убежденным в красоте и величии того, что преподаешь. В его непререкаемой важности.

Моя неопределенная, вечно колеблющаяся позиция, мои самотерзания, поиски справедливости педагогу противопоказаны. Такой человек, как я, не может никуда никого за собой повести.

Если бы я был порядочным человеком и не был трусом, я давно уже ушел бы на пенсию. Но я этого боюсь. По ряду причин.

Во-первых, я боюсь расстаться со своей работой — единственной для меня связью с движущейся жизнью. Боюсь не видеть больше этих спешащих, молодых, оживленных, обгоняющих. Не слышать больше на переменах особого студенческого галдежа — смеси смеха, специальных терминов и плохо произнесенных английских слов. Студенты обтекают меня. Вижу себя их глазами: небольшое чудовище. Все равно счастлив, что они меня обтекают.

Во-вторых, что я буду делать дома, выйдя на пенсию? Смотреть телевизор? Ну нет. Беседовать с Дарьей Степановной? Она хороша как приправа — соль или перец. Нельзя питаться только солью и перцем.

Недавно встретил во дворе одного бывшего своего коллегу, тоже профессора, недавно вышедшего на пенсию. Его почтенное брыластое лицо было полно собственного достоинства. «Советую вам последовать моему примеру. Теперь я получил простор для научной работы. В институте меня заедала текучка». Я слушал его и думал весьма нелюбезно: «Черта с два получил ты простор. У тебя развитие кролика». При нашем разговоре присутствовала где-то у наших колен его внучка, маленькая девочка лет трех в красных ботиночках и синем берете; она тянула его за пальцы и приговаривала: «Деда, пойдем». Из всех нас троих она единственная не кривила душой.

Да, научная работа... После того как я понял, что для этого уже не гожусь, и прекратил все попытки, мне стало значительно легче. Так, вероятно, становится легче утопающему, когда он перестает барахтаться и идет ко дну.

И последняя, самая мелкая причина, по которой я боюсь уходить на пенсию: я не хочу, чтобы мое место занял Кравцов. Это катастрофа в форме огурца.

Зрелища из знаменитой формулы «хлеба и зрелищ». Лица людей, столпившихся вокруг уличной катастрофы. Жадное лицо старушки, спрашивающей: «А жертвы есть?» Я не отвечаю, прохожу мимо, делая вид, что меня это не интересует. Но я лгу. Страстная заинтересованность несчастьем жива и во мне.

В несчастье есть странная притягательная сила. Я не раз о ней размышлял. Как люди торопятся сообщить друг другу о чьей-то смерти, катастрофе, тяжелой болезни. Боятся, как бы кто не опередил, не рассказал раньше их.

Прежде я думал, что корень этого в эгоистической радости: случилось не со мной, с другим. Теперь я лучше думаю о людях. В этой черте, как ни странно, есть что-то детское.

Представляю себе, как после моей смерти люди будут сообщать друг другу: «А знаете, Николай Николаевич умер» — и будут разочарованы, услышав в ответ: «Да, я уже знаю».

Я органически непоследователен. Я не могу даже временно рассматривать вещь с одной и той же точки зрения. Мое зрение двоится, предметы расслаиваются.

Иногда я от этого прихожу в отчаяние. Мне начинает казаться, что я воплощенная беспринципность.

Но приступы такой «заушательской самокритики» (выражение Маркина) не могут продолжаться слишком долго. Их сменяют оптимистические периоды, когда я тешу себя иллюзиями.

Мне начинает казаться, что если вещь разглядывать сразу с нескольких точек зрения, она приобретает объемность, недостижимую при одностороннем взгляде (аналогия: «круглая скульптура», которую можно обойти кругом и которая поэтому богаче барельефа).

Иной раз я даже заношуясь настолько, что свои колебания ставлю себе в заслугу. Хаотичность бомбардировки какой-то проблемы неудачными попытками ее решить кажется мне тогда более плодотворной, чем четкая, последовательно развитая теория. Важно во всем этом не потерять

целенаправленности. Я часто ее теряю и вряд ли могу кому-нибудь служить образцом.

Речь идет не об одной науке. Жизнь обступает нас множеством задач. В каждой ситуации надо сформировать решение. Точек зрения может быть много, но решение принимается одно.

Конечно, хорошо, если будущее решение предварительно обсуждается с самим собой не односторонне, а с учетом всех возможных точек зрения, вплоть до самых противоречивых. Это должно походить на идеальный судебный процесс, когда на равных правах выслушиваются показания сторон. Но после окончания разбирательства неизбежно должно прозвучать «суд вдет» и должен быть вынесен один-единственный приговор.

Моя беда в том, что я безнадежно запутываюсь в свидетельских показаниях. Я попеременно становлюсь на разные точки зрения и от этого заболеваю чем-то вроде морской болезни.

Я мучительно ищу справедливость. Где она? И где черта, за которой, найденная, казалось бы, она оборачивается беспринципностью? И как эту черту не перешагнуть?

Где-то, не помню где, я читал (а может быть, сам выдумал?) про камертон. Важно, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах в душе не умолкал камертон.

Настройщик, настраивая фортепьяно, время от времени вынимает из кармана камертон, чтобы сверить свои относительные ощущения по абсолютной шкале. Вот такой же камертон должен быть у человека в душе, помогая ему в поисках справедливости. Признак верного решения — полное согласие с камертоном.

Недавно я после долгих колебаний принял решение. Деньги и вещи — Майе. Телевизор и посуду — Дарье Степановне. Книги — институту. Камертон согласился.

Как бы мне хотелось оставить что-нибудь Нине. Но камертон сказал «нет».

…Сегодня ночью я не спал и слушал часы. Их тиканье было необычайно громким. Они не шли, а маршировали, как само Время — деревянное, неумолимое. Часы мне подарили недавно на мой так называемый юбилей — семьдесят пять.

Я скрывался, я убегал от этого глупого юбилея. Я вообще не люблю юбилеев, торжественных дат. Почему совпадение (или круглое значение разности) каких-то чисел должно вообще привлекать внимание разумного человека? Это нечто вроде магии, реликт первобытного сознания в наше как бы не суеверное время.

Особенно ужасает меня положение юбиляра, вынужденного выслушивать хвалебные речи. Оно хуже положения мертвеца. Латинская поговорка гласит: «De mortuis aut bene, aut nihil» (о мертвых либо хорошо, либо ничего). С юбиляром еще хуже: тут уже и выбора nihil не остается.

На этот раз я сделал все, чтобы избежать чествования. Позвонил в ректорат, в партком, просил отменить юбилей, ссылаясь на плохое самочувствие. Мне пошли навстречу. Но сотрудники кафедры — черт возьми! — застали меня врасплох. Пришли домой, и деться мне было некуда. Кравцов говорил речь, а Нина держала под мышкой большой картонный футляр. Я еще не знал, что в этом футляре часы, что мне привели компаньона и собеседника на многие ночи, на весь остаток жизни...

Футляр все время соскальзывал вбок, и Нина его поправляла. А Кравцов говорил, говорил... Удивительно автоматизированная речь. Так, вероятно, будут говорить машины, когда обучатся, — по штампам, как по роликам: «Вы, крупный ученый, талантливый педагог, заботливый руководитель, которому каждый из нас так многим обязан (и атат, и атат, и атат)... Приветствуя вас в день вашего славного юбилея, мы, коллектив кафедры, ваши товарищи и ученики (и атат, и атат, и атат)...» Я слушал и чувствовал себя хуже покойника.

Кравцов говорил, а футляр на боку у Нины все соскальзывал в сторону, она его поправляла с досадой, закусив нижнюю губу белой полоской зубов, из которых один, торчащий, был к тому же темней других (эта нестройность зубов почему-то меня трогает).

А Кравцов все говорил... Вдруг она сказала: «Как хотите, я больше не могу их держать. Кончайте торжественную часть, давайте мы их повесим».

Все засмеялись, Кравцов забулькал, как раковина, из которой уходит вода. Из футляра вынули часы и стали их вешать на стенку. Рубакин принес табурет, влез на него и прежде всего уронил часы. Они упали со смертным стоном, но, по странности, остались целы. В стену вбили костыль, укрепили на нем часы, проверили ход, бой. Нина сказала: «Слава богу, идут». Терновский пошутил: «Теперь вы не будете

опаздывать на лекции» — и вызвал смех (все знают, что я никогда не опаздываю). Лидия Михайловна, чуть не упавшая в обморок при падении часов, смотрела на меня красивыми грустными глазами («раб без права на амнистию», — вспомнил я). Элла Денисова поцеловала меня «от комсомольской организации». И тут, старый дурак, я заплакал.

Пили вино, ими же принесенное. Стульев не хватило — молодежь расселась на полу. Дарья Степановна сурово стояла в дверях и всего происходящего не одобряла: «Сказали бы за два, придете люди людьми, я бы пирогов, срам, а то как на паперти нищие». Нину она вообще не любит, называет ее «этая ваша, из гончих». Осуждает: «Троих родила, а пузу не нажила. Хоть махонькое, а надо».

«Из гончих»... Довольно метко. Нина и впрямь напоминает гончую — поджаростью, стремительной постановкой головы, горячей возбудимостью (вся на нервах).

В этот день, несмотря на мою нелюбовь к юбилеям, я впервые в жизни был растроган в связи с совпадением дат...

Они ушли, а часы остались — тикают, щелкают, отмеряют мне время, которого осталось немного.

Ночью, когда начинает болеть сердце, это похоже на тягостный полет в неизвестное. Каждый удар сердца — взмах крыльев. Летит, припадая, подранок.

Я принимаю валидол, ложусь и слушаю часы. Звук в такие ночи как бы усиливается, распухает.

Вот и сегодня ночью я слушал часы (они особенно громко, даже агрессивно щелкали, в их щелканье был ритм, почти что слова). Слушал-слушал и придумал стихи, которые запишу здесь не потому, что считаю их хорошими (они старомодны даже для меня, который вообще старомоден), а просто так, чтобы не забыть. Ритм, конечно, навеян часами.

ЧАСЫ

Время течет,
Время молчит.
Мысли учет
В душу стучит.
Памяти звук
В сердце возник:
Детства испуг,
Юности крик,
Лучший из снов — Девы цветок,
Суженой вздох, Матери зов... Благослови
Тысячу крат
Силу любви,
Ярость утрат.
Кончился сон.
Время течет.
Весок закон,
Точен учет.
Каждый товар
В лавке учтен,
Каждый удар
Сердца — сочен.
Сердце стучит:
Близко расчет.
Время течет,
Время молчит.

И как это мне придумалось такое? Ума не приложу. Стихов я никогда после ранней юности не писал. Тогда это было обычное молодое брожение духа: через края сосуда. А теперь?

Не о стихах мне нужно думать на пороге смерти. О справедливости.

Был ли я справедлив? Научился ли этому за долгую жизнь? И как свести концы с концами в поисках справедливости?

РАЗМЫШЛЯ...

Личные записи Николая Николаевича я читала не только со вниманием, но и со стесненным сердцем, и чем дальше, тем больше. Одно странное обстоятельство этому способствовало. В записях часто встречалось имя Нина — естественно: так звали его покойную жену, смерть которой так жестоко его изменила.

Ее я видела всего раза два-три и не очень ей симпатизировала. Пепельно-седая бледноглазая женщина с тревожной манерой шевелить пальцами. Очень молчаливая, очень воспитанная. Однажды я занесла Энэну несколько книг. Его не было дома. Нина Филипповна отворила мне дверь, взяла книги, любезно поблагодарила, слабенько улыбнулась, и я ушла, чувствуя себя бесконечно ей ненужной. Да не нужна была и она мне. Я вообще, грешным делом, не очень-то люблю жен своих сослуживцев, особенно не работающих, — что-то классовое.

Другой раз мы (кафедра) помогали Завалишиным в их переезде на дачу. Нина Филипповна была уже тяжко больна. Она спускалась с лестницы об руку с Дарьей Степановной, осторожно ставя одну ногу вслед другой. Подскочил Спивак, поднял ее как перышко, усадил в машину. Она его даже не поблагодарила — витала где-то поверх всего. Именно по этому выпадению привычной, автоматической вежливости было видно, как она безнадежно больна. Она сидела впереди, рядом с шофером. Николай Николаевич сел сзади. «Ну, ехать, что ли? — спросил шофер. — А то канителимся битых два часа». Нина Филипповна как-то забеспокоилась: «Нет, подождите еще одну минуту». Она подозвала меня знаком руки. Я подошла. «Нет, ниже нагнитесь, ниже». Я нагнулась. «Не забывайте его, — сказала она шепотом, — он очень одинок». Я не знала, что ответить, кивнула. Больше я ее живой не видела — только в гробу.

Читая личные записи Энэна и постоянно встречая в них имя Нина, я поначалу не сомневалась, что речь идет именно о Нине Филипповне. Разговор с Ниной по телефону меня смущил. Либо Энэн галлюцинировал, либо это была какая-то другая женщина... Постепенно с какой-то томящей тяжестью в душе я стала догадываться — речь идет обо мне... Какая нелепость!

Я перечитывала записи — да, скорее всего, именно так. Бедный прелестный старик, потерявший всех, именно на мне остановил свою душу. Почему на мне? Неужели из-за имени? Это долгое "и" в слове «Нина»...

И ведь никогда, ничем, ни единого раза не дал он мне понять, что я значу для него больше других. Ни взглядом, ни словом. Его чувство (если я права в своей догадке) было так тайно, так непроявленно, что его как бы и не было вовсе. Если б не случай, поставивший меня во главе комиссии, о нем просто не знал бы никто...

Так или иначе — я была виновата. «Не забывайте его», — просила Нина Филипповна. Этой просьбы я не исполнила. Вообще резкая с людьми, я и с ним была подчас резка, раздражительна. Думала о нем, только когда он был в поле зрения, и то не всегда. А в его отсутствие и не думала вовсе. Он как-то сам собой разумелся, сидел в своем образе как в крепости...

Зато теперь, после его смерти, я думала о нем почти непрерывно. С одной стороны, на мне лежала ответственность за наследие. Кроме того, какая-то нравственная обязанность. Я не знала, как правильнее поступить. По складу характера мало склонная к колебаниям (обычно рублю сплеча), я стала нерешительна, оглядчива, как будто унаследовала от Энэна его основную черту.

Ну ладно. Личные записи, не предназначенные, как он сам писал, «для чужого взгляда», я собрала в одну папку и решила никому не показывать. Ведь реестровой описи бумаг никто не делал. А как быть с другими материалами?

Из «научных листов» я кое-как составила небольшую статью. Изменю обозначения, и она вполне сойдет за что-то новое: посмертные сборники мало кто читает.

Еще я отобрала пачку листов с размышлениями о высшем образовании, об учебном процессе; они в какой-то мере могли представить общий интерес, хотя многие мысли в них были спорны.

Вот и все... Неужели так-таки и ограничиться несколькими страничками, которые удалось собрать? Или же...

Уже давно у меня на этот счет начала шевелиться мысль. Поначалу я ее отвергла, но она все лезла и лезла. Дело в том, что у меня еще с давних пор лежала незаконченной одна работа (или, пользуясь кафедральным жаргоном, «изделие»), довести которую до кондиции у меня не было ни времени, ни охоты. К моей теперешней тематике она не примыкала, а к прежней я сама охладела, убедившись в ее мещанской ограниченности. К тому же мне более чем хватало текущих дел (два новых курса, плюс курсовые работы, плюс дипломники, это не считая аспиранта, который неведомо как, сам собой ко мне приблудился). Так что «изделие» так и лежало несколько лет без движения.

А что, если взять его, доделать, переписать в старомодном стиле да и выдать за работу Николая Николаевича? Все-таки лучше, чем ничего.

Размышляя об этом, я как-то раздваивалась. Да или нет?

Если бы спросить самого Николая Николаевича — конечно, нет! Он бы гневно подскочил на своих коротких ножках, если бы об этом узнал. Он гнушался даже соавторством, никогда не ставил своего имени на работах, сделанных по его идеям, под его руководством. Редкая в наши дни манера. Большинство руководителей, гоняясь за числом публикаций, не склонны дарить своих идей. Энэн — не так, он отказывался наотрез, как бы его ни уговаривали поставить свое имя на работе рядом с именем исполнителя. Впрочем, он не вел счета своим идеям и часто их забывал (как я убедилась на примере моей собственной диссертации). Кто-то мне рассказывал, что Петр Ильич Чайковский тоже не помнил своих творений и иногда, прослушав свой собственный роман, говорил: «Как мило! Кто это сочинил?» Вот Энэн был таким же.

Итак, он был бы резко против моей идеи. Почему же она так навязчиво меня преследовала? Никаким рыцарством или самопожертвованием тут и не пахло — простой эгоизм и тщеславие. Мне нестерпимо было представлять себе, как я, председатель комиссии (и, по существу, единственный ее член), буду докладывать на кафедре результаты своих разысканий. Несколько жалких страничек, ничего нового... Я так и видела иронические улыбки молодежи, пришедшей на кафедру недавно и не знаявшей, что такое Энэн. Мое «изделие» не бог весть что, но все-таки новое...

И еще одно соображение: все-таки у меня не было покойно на душе по поводу пересечения наших с Энэном результатов. Возможно, он получил их раньше меня. Моя сатанинская гордость не хотела с этим мириться. А тут мне выпадал случай как-то расквитаться по этому счету... Меньше всего это было похоже на великодушие.

Все еще находясь в нерешимости, я на всякий случай разыскала и прочла ту мою давнюю работу. Впечатление отвратительное: какой же я была идиоткой! Так ломиться в открытые двери! Теперь, читая, я сообразила, как можно было бы это сделать совсем по-другому, в гораздо более общем случае, и увлеклась. Все-таки не зря прожиты годы: по-новому все получалось довольно складно и мне самой понравилось...

Любопытно обстоит дело с работами, по крайней мере у меня. Самую последнюю, как правило, любишь. К предпоследней относишься критически. Давние читаешь с ненавистью и стыдом. Не то чтобы там были ошибки — это бы еще полбеды! — ужасно убожество концепции. В сущности, я малоспособный научный работник, надо откровенно в этом признаться. Впрочем, все мы на кафедре пигмеи по сравнению с Энэном в период расцвета. Интересно, что он испытывал, перечитывая свои давние работы? Боюсь, что зависеть.

Не дай бог завидовать себе самому в прошлом...

Тем временем на кафедре произошли события. Почти одновременно ушел Кравцов (на должность завкафедрой в другом институте) и появился наш новый заведующий.

Ректор института привел его к нам на кафедру и представил:

— Товарищи, будьте знакомы: ваш новый заведующий профессор Флягин Виктор Андреевич. Прошу любить и жаловать.

Флягин отдал нам общий поклон, слегка принагнув голову словно бы от подзатыльника. Был он высок, худ, очкаст, с иезуитской улыбкой и сразу же нам не понравился. Перистые остатки волос торчали на его узкой голове, оставляя впечатление не до конца оципированной птицы. Еще нестарый, лет сорок пять — сорок семь...

— Профессор Флягин, — продолжал ректор, — крупный специалист в вашей области. Я уверен, все

вы читали его труды, например... Виктор Андреевич, как называется ваш главный труд?

— Главного труда у меня еще нет, — усмехаясь, ответил Флягин, — и вообще крупным специалистом меня назвать нельзя.

— Ну-ну, не прибедняйтесь, — со смехом сказал ректор, — самокритика хорошая вещь, но в меру.

На этом процедура знакомства окончилась. Ректор с Флягиным удалились, а мы остались обсуждать и осуждать новое начальство.

— Похож на севильского цирюльника, — сказала Элла.

—Что ты под этим понимаешь? — ехидно спросила Стелла.

— Ну, такой длинный в рясе. «Погибает в общем мненье, пораженный клеветой».

— Так это Дон Базилио, а не цирюльник.

— Не придирайся, все меня поняли.

— Ну, задаст же он нам перцу, — сказал Спивак. — Сразу видно, что за птица.

— Да, — поддержал его Маркин, — еще помянем мы добрым словом незабвенного Владимира Ивановича...

И в самом деле, по сравнению с Флягиным круглый, дробный, обкатанный Кравцов сильно выигрывал. В нем, по крайней мере, все было ясно. А тут? Самая скромность нового заведующего была неприятна: что-то зловещее.

— Поживем — увидим, — сказал Радий Юрьев, — может быть, и ничего.

На другой день Флягин принял бразды правления. Лидия Михайловна обзвонила всех преподавателей, сообщая им о срочном, внеочередном заседании кафедры.

Собрались. Флягин вынул из внутреннего кармана старинные серебряные часы, отстегнул их с цепочки и положил на стол с легким стуком, возвестившим для нас начало новой эры. Тронная речь, которую он вслед за тем произнес, произвела на нас тяжелое впечатление. Прежде всего сама техника речи. В отличие от всех нас (на кафедре культивировалась речь неторопливая, чеканная, с особо подчеркнутыми концами слов) Флягин говорил быстро, невнятно, с какой-то жидкой кашей во рту. Вот примерно содержание того, что он сказал:

— Товарищи, не будем терять времени. Нам предстоит большая работа. Предупреждаю: буду работать сам, буду требовать от вас. Расхлябанности тут не место. Я не требую таланта, я сам не талантлив, но каждый должен стараться. Следующее заседание кафедры назначаю через неделю. К этому сроку каждый преподаватель должен представить индивидуальный план.

По кафедре прошел гул.

— Мы уже сдавали индивидуальные планы, — приподнявшись, сказал Терновский.

— Я их изучил, и они меня не устраивают. Недостаточно конкретны. В новом плане надо будет указать точные сроки начала и конца каждого этапа, объемы статей, предполагаемых к публикации, а также названия книг, журналов и диссертаций, которые будут проработаны.

Гул усилился.

— Планирование с точностью до дня в научной работе невозможно, — сказал Терновский.

— Будете сидеть ночами. Твердый план дисциплинирует, а дисциплины нам всем не хватает. Я не намерен даром получать зарплату и от вас тоже потребую максимальной отдачи.

Встал Семен Петрович Спивак:

— Я вас не понимаю, товарищ профессор. Думаете ли вы, что мы здесь работаем не с полной отдачей?

— С полной, но недостаточной, — ответил Флягин. Спивак сел, негодуя, на свой «электрический стул». Различные формы негодования отразились на лицах присутствующих.

— Я вижу, вы недовольны, — сказал Флягин, улыбнувшись (сквозь его иезуитскую улыбку вдруг проглянуло что-то человеческое). — Я сам на вашем месте был бы недоволен, но выхода у вас нет. На следующем заседании кафедры мы поговорим обо всем в подробностях, а пока мне надо с вами познакомиться. Пожалуйста, в порядке естественной очереди, от двери сюда, называйте имя, отчество, фамилию, ученую степень и звание, конкретную область, в которой работаете. Я это все запишу и к следующему разу постараюсь запомнить.

Преподаватели по очереди вставали и сообщали о себе сведения. Все были серьезны и как-то

скорбны (даже Лева Маркин). Флягин усердно записывал, низко склоняясь над столом, почти касаясь бумаги клювообразным носом. Паша Рубакин, конечно, решил соригинальничать, построил свое выступление в форме театрализованной анкеты. Вопрос произносился одним замогильным голосом, ответ другим, еще замогильное:

— Имя? Павел. Отчество? Васильевич. Фамилия? Рубакин. Ученая степень? Нет. Звание? Без звания. Занимаемая должность? Ассистент. Конкретная область? Теория познания.

Флягин вскинул на Пашу глаза, оторвал нос от бумаги и задал дополнительный вопрос:

— Образование?

— Мехмат, — ответил Паша.

— Теорию познания отставить, — спокойно сказал Флягин. — В индивидуальный план внести тему, соответствующую специальности.

Дошла очередь и до меня. Я встала и отбарабанила:

— Асташова Нина Игнатьевна, кандидат технических наук, доцент, доцент, стохастическое программирование. Флягин опять поднял глаза и спросил:

— Зачем два раза доцент?

— Первый раз звание, второй раз занимаемая должность.

— Совершенно правильно, — одобрил Флягин и опять нырнул в записывание. — Советую остальным товарищам быть такими же краткими.

Я села, кипя досадой: меня похвалил Флягин!

В заключительной речи новый наш заведующий изложил свое кредо:

— Товарищи, я понял, что сработать нам будет нелегко. Вы привыкли к традиционной преподавательской вольности: знать только свои обязательные аудиторные часы, а остальное время тратить как вздумается. Разрешите вам напомнить, что рабочий день преподавателя по существующим нормам составляет шесть часов аудиторной и прочей учебной нагрузки плюс время, потребное на подготовку к занятиям, научную работу и другие виды деятельности. Все это в теории увеличивает рабочий день до восьми часов, но фактически нельзя все это сделать меньше чем за десять. От вас я буду требовать десятичасового рабочего дня. Формально я на это не имею права, я это высказываю как твердое пожелание. Но шесть обязательных часов вы должны проводить здесь, в институте, в аудиториях или на своих рабочих местах.

Встала Элла Денисова:

— Что значит на своих рабочих местах? Рабочих мест как таковых у нас нет. Помещение тесное, столов меньше, чем людей.

Флягин задумался и, помолчав, сказал:

— Это мы уточним. Возможно, я не буду настаивать на буквальном понимании термина «рабочее место». Важно, чтобы преподаватель был здесь, в институте, в пределах досягаемости, и в любую минуту мог быть затребован. Вам, Лидия Михайловна, надо обеспечить, чтобы на каждого преподавателя был составлен график присутствия и заведена персональная табличка. Каждый должен завести тетрадь учета рабочего времени, если хотите, дневник. Я сам уже много лет веду такой дневник, и, уверяю вас, это очень полезно. Каждый лектор должен, кроме того, вести тетрадь посещений занятий у своих ассистентов, подробно протоколировать свои наблюдения... И наконец, последнее: я обнаружил, что преподаватели нередко опаздывают на занятия на две, три, даже на пять минут. Это абсолютно недопустимо, особенно учитывая потери времени, связанные с известными вам обстоятельствами. Картошка — дело государственное, а расхлябанность преподавателей — отнюдь нет. За две минуты до звонка каждый преподаватель должен стоять у дверей аудитории и входить в нее в ту самую секунду, когда прозвучит звонок. А теперь заседание кафедры окончено. Прошу меня извинить — иду в ректорат.

Флягин вышел. Что тут началось! Загудели, заворчали, закричали.

— Неслыханно! — сказал Терновский, стряхивая мел со своего рукава. — Жандарм, и только!

— Товарищи, а он, часом, не псих? — спросила Стелла Полякова.

— Скотина он, а не псих! — заорал Спивак.

— Да, пожалуй, вы правы. Скотина, — согласился Радий Юрьев.

Все засмеялись, до того это было на него не похоже.

— Я человек мягкий, — продолжал Радий. — В детстве я был вундеркиндом. Когда я попал в армию и меня ругали матом, я не понимал, что это значит. Но, знаете, в данном случае...

— Охотно бы выругались? — подсказала Элла.

— Именно.

Лева Маркин продекламировал нараспев:

— «Вынес достаточно русский народ, вынес и эту дорогу железную, вынесет все, что господь ни пошлет...»

— Хватит цитат! — прикрикнула я и тут же пожалела о своей резкости: Лева болезненно скривился (тысячу раз даю себе слово быть с ним помягче и не выдерживаю).

Паша Рубакин сказал:

— Нет, знаете, он не так плох. Мне нравится его фанатизм. Историю вообще делают фанатики: Жанна д'Арк, Савонарола...

— Пусть бы он делал историю где-нибудь в другом месте, — брюзгливо сказал Терновский.

— Если этот Савонарола привяжет меня веревкой к рабочему месту, — сказала Элла Денисова, — я назло ему буду плохо работать. Рабовладельческий строй пал из-за низкой производительности труда.

— Этому типу решительно все равно, какая у нас будет производительность труда, — сказал Спивак. — Лишь бы сидели задом на своей точке.

В общем, новый заведующий был принят кафедрой в штыки (особое мнение Паши Рубакина не в счет, да и сам он на нем не очень настаивал).

Конкретные мероприятия начались на другой день. Лидия Михайловна вывесила приказ (дацзыбао — назвал его Маркин), которым предписывалось каждому преподавателю завести тетрадь учета времени (по предлагаемой форме). На столах были установлены таблички (типа ресторанных «стол занят») с фамилиями преподавателей и указанием часов присутствия. Осматривали мы эти таблички с опаской, как дикое животное оглядывает капкан. На бывший стол Энэна тоже была поставлена табличка «Флягин Виктор Андреевич» с более обширными, чем у других, часами присутствия. Особенно нас возмутило исчезновение головы витязя, ставшей за долгие годы как бы эмблемой кафедры...

— Приказали выбросить, — оправдывалась Лидия Михайловна, — я снесла домой как память...

Вот так началась наша новая жизнь «столообязанных». Шуметь на кафедре было запрещено, смеяться нам и самим не хотелось. Методические разговоры выносились в коридор (с обязательной записью в дневнике, сколько времени на них потрачено). Двоечники и дипломники больше на кафедру не допускались; их тоже принимали в коридоре на случайных скамейках, выкинутых из аудиторий за негодность. Мимо мелькали и галдели студенты, и тут же на уровне их локтей и бедер шла переэкзаменовка, консультация... Иногда удавалось занять пустую аудиторию, из которой в любую минуту могли выставить (в институте с аудиториями было плохо). Зато на кафедре царила священная тишина, нарушаясь, только когда Флягин куда-нибудь выходил (тут уж мы давали себе волю!). В открытую против новых порядков («Аракчеевские казармы!») выступил Семен Петрович Спивак со свойственным ему темпераментом. Ему Флягин ответил невозмутимо:

— Не будем терять время. На очередном заседании вам будет предоставлено слово.

В общем, на кафедре стало тихо, мертвое и бесплодно. Начисто исчез смех. Прежде, когда мы шутили, шумели, что называется, трепались, и жить было легче и работать. Все чаще я вспоминала мысли Энэна о творческой силе смеха...

Надо отдать Флягину справедливость: он не только с других требовал, но и с себя. Долгими часами он сидел за своим столом с книгой и конспектом, развернутыми рядом, низко наклоняясь, как бы выклевывая со страниц знания, — читал и строчил, читал и строчил. Видимо, большими способностями он не обладал, но трудолюбие его было неслыханно («роботоспособность», как сказал Лева Маркин). Любая книга, за которую брался наш шеф, изучалась им всегда досконально, все доказательства проверялись до буквочки и воспроизводились в конспекте. Читал он очень медленно, страниц по восемь — десять в день, зато читал на совесть. Праздником для него было найти в книге ошибку...

— Научный трупоед, — отзывался о нем Радий Юрьев.

Женщины роптали больше других. Бывало, они успевали в перерывах между занятиями забежать в

магазин, в парикмахерскую; теперь это было исключено: отсиживай.

Очередного заседания кафедры ждали с нетерпением: всем хотелось выговориться. Началось оно с обсуждения дневников. Флягин опять выложил перед собой часы и сказал:

— Времени на то, чтобы прочесть все дневники, у нас не хватит. Я буду их изучать постепенно. А сейчас мы применим метод выборочного контроля. Лев Михайлович, — обратился он к Маркину, — вам предоставляется слово для зачтения дневника.

Маркин встал, смертельно серьезный, и начал:

— "10 февраля. 9.00-10.50 — занятия согласно расписанию.

11.00-12.15 — думал над доказательством теоремы 1.

12.15-14.00 — изучал § 10 главы III книги В. Болтянского «Математические методы оптимального управления». В доказательстве леммы запутался.

14.00-14.10 — шел в столовую.

14.10-14.50 — обедал. Попутно размышлял о непонятном доказательстве..."

— Остановитесь, — сказал Флягин. — Если вы преследовали цель высмеять мое распоряжение, то этой цели вы не достигли. Я знал, что встречу здесь оппозицию. Люди вообще сопротивляются любой попытке их дисциплинировать. Ваш прием — доведение до абсурда — здесь неуместен. Любому ясно, что записывать в таких подробностях каждый день вы не будете, да я от вас этого и не требую.

— Чего же вы требуете? — вскинулась Элла.

— Отчета в израсходованном рабочем времени, именно рабочем. Мытье, еда и посещение мест общего пользования туда не входят. Лев Михайлович, вместо того чтобы вышучивать мои распоряжения, лучше попытайтесь найти в них здравое зерно.

Он опять поднял неоциппанную голову и улыбнулся. И опять в этой улыбке мелькнуло что-то человеческое... «Черт знает что такое, — подумала я, — враг есть враг, и нечего взглядываться в его улыбку». В том, что мы с Флягиным враги, я не сомневалась ни на минуту. Вся шерсть на мне вставала дыбом, как на кошке при встрече с собакой...

Были прочтены еще две-три выдержки из дневников. Флягин внимательно слушал, вносил поправки, делал замечания. Интересно, что каждого из преподавателей он уже твердо знал по имени-отчеству и, обращаясь к ним, ни разу не спутался.

— А теперь приступим к текущим делам. Кто хочет высказаться?

Пуская пар из ноздрей, поднялся Спивак:

— Будем говорить начистоту. Я возмущен теми методами администрирования, которые пытаются проводить профессор Флягин. Наша кафедра — организм сложившийся, со своими традициями. В целом мы неплохие специалисты, свое преподавательское дело знаем. Угроза и окрик не лучший способ воспитания. Лекций профессора Флягина я пока не слушал, но убежден, что они плохие. Лектор прежде всего должен увлечь студентов, повести аудиторию за собой. А кого и куда может повести за собой профессор Флягин? Таштить и не пущать — вот его девиз. А зачем — он и сам не знает.

Флягин побледнел.

— Зачем, я знаю, — тихо ответил он. — А лектор я действительно плохой, вы угадали.

— Нетрудно было угадать! Прежде всего у вас каша во рту. Какой-то оратор древности, чтобы улучшить дикцию, клал в рот камешки. Вы, наверное, себе их переложили. Если мы, рядом сидящие, вас плохо слышим и понимаем, то каково студентам? Или вы нарочно над нами издеваетесь?

— Ни над кем я не издеваюсь, — еще тише сказал Флягин (в его бледности появилось что-то мертвенное). — Семен Петрович, мне ясно одно: нам с вами сработать будет трудно. Может, вы подадите заявление об уходе?

Все онемели. Спивак на секунду опешил, но тут же опомнился и закричал:

— Подам с удовольствием! Сегодня же подам! Преподаватели зашумели. Встал наш завлаб Петр Гаврилович, похожий на большого, добродушного, но разгневанного пса:

— Как парторг возражаю! Вы тут, Виктор Андреевич, через край хватили! Кадрами, кадрами швыряетесь, и какими! Семен Петрович — один из лучших лекторов, гордость института! Вы студентов спросите, что такое Спивак!

— Да я что, — сказал Флягин, — я на своем не настаиваю. Если хотите, я готов извиниться.

Какое-то странное, простодушие было в его манере. Полное отсутствие самолюбия.

— Не надо мне ваших извинений! — заорал Спивак.

— Пускай извинится! — сказал Петр Гаврилович.

— К черту! — крикнул Спивак, вышел и дверью хлопнул.

Кафедра еще некоторое время гудела. Когда шум затих, Флягин посмотрел на часы и спросил:

— Кто еще хочет высказаться?

— С тем же результатом? — съехидничал Маркин. — Боюсь, вы останетесь без сотрудников.

— Я же сказал, что готов извиниться. В случае с Семеном Петровичем я был не прав.

Я подняла руку:

— Можно мне?

— Пожалуйста, Нина Игнатьевна.

— Я тоже принадлежу к тем, кто против мелочной опеки. Слов нет, дисциплина важна, но важней дисциплины дух коллектива. Это хорошо понимал Антон Семенович Макаренко, воспитывая малолетних преступников. Этого не понимает профессор Флягин, берущийся воспитывать педагогов. Любой воспитатель должен учитывать, с каким коллективом он имеет дело. И в любом случае нельзя оскорблять людей. Если вы надеетесь, что я тоже подам заявление об уходе, то напрасно. Вам придется самому меня уволить.

Я села. Флягин сидел, опустив голову. Внезапно он ею встремхнул, как бы прогоняя сомнения, и спросил:

— Кто еще хочет высказаться?

Никто не хотел.

— Если желающих нет, заседание кафедры считаю закрытым, — сказал Флягин и вышел.

Итак, война была объявлена. Оставалось ждать дальнейших событий.

Семен Петрович в тот же день написал заявление об уходе, но мы его уговорили не подавать. Мало ли как может обернуться дело. Уйдет Флягин, или его не утвердят. Пока что конкурса он не проходил (какие-то формальности этому мешали). И что, в конце концов, важнее: один самодур или коллектив, в котором ты работал много лет? Семен Петрович, ворча, согласился, что коллектив важнее, и заявление разорвал.

Наступило временное затишье. Флягин поубавил ревности в своих начинаниях, как будто что-то обдумывал, ниже склонял голову над столом, реже подавал голос. На кафедре было невесело...

У меня с ним с первого же дня сложились отношения самые гнусные. Ни я, ни он этого не скрывали. Бывает антипатия физиологическая — именно такую я испытывала к Виктору Андреевичу. Попросту находиться с ним в одной комнате мне уже было невыносимо.

Особенно это усилилось после того, как Флягин добрался до моей «комиссии по наследию». Изучая с усердием, достойным лучшего применения, протоколы заседаний, кафедры, он вычитал там, что я возглавляю эту комиссию, и сразу же потребовал от меня отчета. Я стояла возле его стола.

— Садитесь, — с учтивостью вурдалака сказал Флягин.

— Ничего, я постою.

Тогда он тоже встал.

— Доложите о положении дел с научным наследием, — сказал он со своей кашей во рту.

Кратко и нарочито медленно я сообщила о положении дел: рукописи почти все прочтены, приведены в порядок.

— Сколько нужно времени на то, чтобы закончить эту работу?

— Недели две.

— Недели две — это не срок.

— Две недели.

— Хорошо. Через две недели мы вас заслушаем на кафедре.

Он что-то занес в записную книжку, близко и слепо поднесенную к глазам.

Итак, пришло время отчитываться... Но не могла же я на заседании кафедры под председательством Флягина, при его скверной улыбке сказать правду — что никакого научного наследия не оказалось! Нет уж. Пришлось мне спешно заканчивать мое «изделие»...

Я просидела над ним несколько ночей и два выходных. Получилось не так-то уж плохо. Нормальная научная работа, даже, пожалуй, с идеей. Можно поверить, что его. Я переписала ее в старомодной манере Энэна (это еще и тем было удобно, что страниц оказалось примерно вчетверо больше), перепечатала на машинке, вписала формулы. Присоединила к этому ранее отобранные и подготовленные материалы. Ну что ж, с этим, в конце концов, можно было и выступить...

Волновалась я перед докладом неумеренно. Впрочем, это не помешало мне схулиганиить — снять с руки часы, со стуком положить их на стол и сказать: «Не будем терять время». Раздалось хихиканье. Я докладывала кратко, по возможности четко.

Меня удивил Флягин. Оказывается, готовясь к этому заседанию, он не поленился изучить все (по крайней мере, главные) завалишинские работы. Это видно было из его вопросов. Принимая во внимание его черепаший темп, это было одним из геракловых подвигов.

— Ну-ка дайте сюда, — сказал он мне, когда я кончила. Я подала ему все три рукописи. Первую — настоящую энновскую, которую я пыталась освежить, перейдя к новым обозначениям. Вторую — подредактированные размышления Николая Николаевича о высшем образовании. Наконец третьью — мое «изделие»...

Флягин погрузился в них усердно и низко. Собственность позы как бы подчеркивала усердие. Удивительно, но другими обозначениями провести его не удалось. Он сказал:

— Ничего нового. Опубликовано в таком-то году в таком-то журнале. Интереса не представляет.

— Позвольте, в этом новом варианте рассмотрен более общий случай, не при таких жестких ограничениях...

— Интереса не представляет, — повторил он. В сущности, он был прав, но противен мне до того, что это меня ослепляло.

— Предлагаю включить статью в посмертный сборник, — упрямо сказала я. — Все мы смертны, — прибавила я с дурацкой многозначительностью.

Он поднял на меня невыразительные серо-голубые глаза и ухмыльнулся:

— Не возражаю. Можете включать под этим предлогом.

Заметки о высшем образовании он читал, наверно, полчаса, а я тем временем бесилась. Лицо у него было как у человека, жующего лимон.

— Не пойдет, — сказал он, закончив чтение. Надо ли мне было настаивать? Ведь, в конце концов, Энэн и сам не считал эти наброски до конца додуманными...

Флягин взялся за третью рукопись. Я так и слышала заранее его кислый голос: «Не пойдет»... Странное дело, он этого не сказал.

— Вы не будете возражать, — спросил он, — если я возьму эту работу домой и подробно с ней ознакомлюсь?

— Разумеется, нет.

Через неделю он принес работу и сообщил кратко:

— Все в порядке. Можно публиковать. Конечно, переписав это в современной, матричной форме.

Вот тебе и на! А я-то столько сил потратила как раз на обратное! Я обозлилась и сказала:

— Мне кажется, работы покойного Николая Николаевича Завалишина не нуждаются в редактировании. Они широко известны как у нас, так и за рубежом. Ни одна из них не написана в матричной форме.

— Пожалуй, вы правы, — согласился Флягин, почесывая мизинцем свой острый нос.

И мизинец и нос особенно были мне глубоко противны. Но, так или иначе, дело кончилось в мою пользу. Я одержала маленькую, но все же победу. Это меня подбодрило, и я начала хамить. Грустно признаться, но в нашей хронической ссоре с Флягиным справедливость далеко не всегда была на моей стороне. Он так же терпеть меня не мог, как и я его, но выражал это более сдержанно.

Однажды он пришел ко мне на экзамен. Отвечал мне студент, которого я хорошо знала по упражнениям в течение года. Не блестящий, но старательный, тугодум, к тому же с легким дефектом речи. Флягин подсел за мой стол. Медлительность студента его раздражала и мое терпение тоже. Вдруг он задал студенту какой-то вопрос — быстро, неприятно и непонятно. Студент ничего не понял, глядел на него, как мышь на удава.

— Будьте добры, Виктор Андреевич, — сказала я, — повторите вопрос, и как можно отчетливее. Мои студенты привыкли к отчетливой речи, тем более на экзамене.

Флягин поглядел на меня с отвращением и повторил вопрос чуть ли не по складам. Студент, ошарашенный, медлил с ответом. Вопрос был какой-то нечеловечески заковыристый. Если б его задали мне, я бы тоже затруднилась с ответом...

— Двойка, — быстро сказал Флягин.

— Кому? — спросила я.

— Конечно, ему.

— Давайте выйдем в коридор, — предложила я.

Мы вышли. У меня стучало в ушах.

— Думаете ли вы, Виктор Андреевич, что я своего предмета не знаю?

— Нет, не думаю. Вы знаете, а этот студент, конечно, не знает.

— Так вот я тоже не могу ответить на тот вопрос, который вы ему задали. Мало того что сложный, этот вопрос был еще скверно сформулирован, специально чтобы запутать. Можете ставить мне двойку, можете вообще меня уволить, но пока я читаю этот курс, на экзамене хозяйка я, а не вы. Я вас прошу не вмешиваться в ход экзамена, не задавать вопросов. Присутствовать можете, но не более.

Решительно этот человек — загадка. Он ничего не сказал, повернулся и ушел. Я возвратилась в аудиторию, поставила студенту четыре и продолжала экзамен. Помогавшая мне Элла Денисова была удивлена моим видом:

— Что с вами, Нина Игнатьевна? Вы бледны, как сама смерть.

(Элла иногда любит пышные выражения.)

— Ничего, — сказала я, — просто поругалась с Флягиным.

— Так я и знала! Во паразит!

«Паразит» и «сама смерть» в такой непосредственной близости меня позабавили...

А с Флягиным у нас как-то все пошло вразнос, иногда даже за пределы приличия. Разговаривать друг с другом мы перестали. Если ему надо было передать мне какое-нибудь поручение, он обращался ко мне не прямо, а через Лидию Михайловну. Подзывал ее к себе и говорил:

— Пожалуйста, скажите Нине Игнатьевне, что ей нужно сделать то-то и то-то.

Он сидел от меня в каких-то двух метрах. Не глядя на него, обращаясь только к Лидии Михайловне, я отвечала что-нибудь вроде:

— Лидия Михайловна, я слышала то, что сказал Виктор Андреевич. Пожалуйста, передайте ему, что то-то и то-то я выполнить отказываюсь по такой-то и такой-то причине.

Или же (вариант):

— ...что его распоряжение будет выполнено.

И смех и грех. Что-то из детского сада. Даже Лева Маркин, обычно меня поддерживающий, в данной ситуации винил не Флягина, а меня:

— Вам, как говорится, попала вожжа под хвост. Хорошим это не кончится.

Что верно, то верно... А пока что вечная оппозиция Флягину была плоха тем, что лишала меня самостоятельности. Раньше у меня была своя позиция — она исчезла. Я как будто потеряла себя, превратилась попросту в «анти-Флягина». Он был требователен к студентам до жестокости. Я стала снисходительна до мягкотелости...

Как-то мне сдавала экзамен студентка Величко, усердная, но недалекая. Эта миловидная блондинка, волосы по плечам, пожалуй, слишком высокая (впрочем, теперь это в обычай). Взяла билет, села на самую дальнюю скамейку, начала готовиться. Видно, знала неважно, была бледна, вытирала платком лоб и щеки. Долго готовилась, потом по моему настоянию села рядом, начала отвечать. После каждого вопроса вздрагивала, как пугливая лошадь: «Можно, я подумаю?» — шевелила беззвучно губами, припомнив, отвечала точно по книге, но без понимания. Когда мне так отвечают, на меня нападает ужас: какой огромный труд затрачен зря... В чем-то, видно, виноваты и мы, преподаватели: не умеем научить думать... Так сидели мы и мучились обе, и вдруг она сказала:

— Нина Игнатьевна, поставьте мне неуд, я сегодня не могу отвечать.

И в самом деле бледна она была «как сама смерть», по Элле Денисовой.

— Что с вами? Вы больны?

— Нет... Но мне пора кормить ребенка... Понимаете, молоко...

О, я это хорошо понимаю. По себе знаю, как трудно кормящей матери ждать, ждать часами и знать, что где-то там твой маленький тоже ждет, плачет...

— Что же вы раньше не сказали? Идите кормите. Вы подготовились хорошо. Дайте зачетку...

Сама не понимаю, как это случилось, но рука сама вывела «отлично»... Она была удивлена, глазам не верила.

— Идите кормите...

Первый раз в жизни я поставила пять за ответ, красная цена которому три. Вот тебе и высокая принципиальность, за которую меня всегда восхваляет Спивак...

А все Флягин, черт его подери!

ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

С некоторых пор меня навязчиво преследует мысль о конечной судьбе каждой вещи. Мы со всех сторон окружены вещами. Каждая из них не вечна, истлевает, рассыпается, в каком-то смысле умирает, только в отличие от людей не сразу.

Гляжу на какой-нибудь ботинок и мучительно размышляю о его дальнейшей судьбе. Ну, сейчас он еще жив, пока его носят. Через какое-то время он проходит; может быть, его отдадут в починку и он еще проживет какое-то время. Потом он будет признан непригодным и выброшен. Куда? В наших городских условиях, скорее всего, в мусоропровод, это своеобразное кладбище для вещей. Но ведь и там его судьба не кончается. Где, когда, на каких полях орошения будет он в конце концов истлевать, скорченный, скособоченный, разинув рот, вывалив наружу язык? Какие дожди, какие снега пройдут над ним, пока он не истлеет окончательно и не сольется, неразличимый, с земной перстью?

Мысль о конечной судьбе каждой вещи стала у меня чем-то вроде *id e fixe*. Дай мне волю, я бы, пожалуй, хоронил вещи, зарывал их в землю, чтобы помочь им избежать посмертных мытарств. С мрачным юмором представляю себе старика, хоронящего свои ботинки из жалости к ним...

Вот и эти записки следовало бы уничтожить из жалости к ним. Лучше всего было бы предать их огню — веселому, всепожирающему, как костры моих детских лег. Но в современной квартире без единого очага, где есть только безличный голубой огонь газа на кухне, очень трудно что-либо сжечь. Кроме того, записи эти еще живы, и уничтожить их попахивало бы убийством.

И еще одно. Хотя разумом я знаю, что жить мне осталось недолго, я, стыдно признаться, не верю в свою смерть. В моем тайном самосознании я вечен.

И опять — детство! Видно, я о нем еще не дописал. Допишу ли?

Я уверен: как бы ни обидела человека судьба, она не в силах отнять у него детство. Если оно было светлое, сияющее, человек счастлив до конца своих дней. В сущности, я счастлив.

Мое детство даже не сияло — оно искрилось, вспыхивало. Средоточием всего был отец. Низенький, лысый, удивительный человек с небольшими светло-карими глазами, которые умели быть и строгими и смеющимися.

Теперь я понимаю, что в те времена он был молод: ловко катался на коньках, делал гимнастику, играл гирями. Но уже тогда он был лыс. В моем представлении он был изначально лысым; с недоверием разглядывал я его юношеские фотографии: там он был с волосами, и это было хуже...

Звали мы его не папа, а Пулин. Странное имя, возникшее, вероятно, из «папуля», «папулин», но когда-то очень давно. Сколько я себя помню, слово «Пулин» уже утвердилось как его личное, собственное имя. Рискуя быть смешным, я и в этих записях (не предназначенных, впрочем, для чужого глаза) буду называть его Пулином.

Родители назывались Пулин и Мамочка — слитная двойная формула вроде Пат и Паташон, Шапошников и Вальцев... Мамочка была черноглазая, полная, смешливая, близорукая. Большая мастерица и рукодельница. По мировоззрению язычница, жизнелюбка, огнепоклонница, как и я. Сама по себе человек интересный, но Пулин ее всегда затмевал: он был главный, она при нем, вроде тени.

Лысый, он был по-своему благородно красив. Голову всю, кроме лысины, он брил, и сочетание

нарядной розовой головы с молодыми блестящими глазами создавало особый эффект. Я, по крайней мере, видел его красавцем.

Математик по образованию, он был директором одной из старейших московских гимназий. Жили мы там же, при гимназии, в большой казенной квартире, на втором этаже старинного желто-белого здания с крутыми сводами и закругленными окнами. Из окон был виден гимназический плац и дальше за ним старый сад, полный развесистых лип с дуплами и черно-железными заплатами на стволах. Плац зимой заливали, и он становился катком, по которому лихо разъезжали гимназисты, щеголяя друг перед другом голландскими шагами, крюками и выкрюками. Катался и Пулин в черном в обтяжку костюме, в барабашковой шапочке. Меня он тоже учили кататься, но я был туп — дальше самых элементарных фигур не пошел.

Гимназисты своего директора боялись и обожали. Попасть к нему на разнос было одновременно страшно и упоительно, вроде сказки с ужасами и счастливым концом. Это я знал от своих товарищей. Сам я учился в той же гимназии, но никакими привилегиями не пользовался, наоборот: с меня, директорского сына, учителя взыскивали строже, чем с других. Нередко мне приходилось слышать: «Не позорьте своего имени!» А я его частенько позорил, ибо был непоседлив и изобретателен. На разнос меня вызывали к инспектору. Я этого не боялся. Холодный взгляд Пулина, когда мы встречались в коридоре, был страшнее любого разноса.

Наблюдая его — директора, педагога, отца, — я навсегда понял, какая великая вещь воспитание смехом. Смех, благороднейшая форма человеческого самопроявления, к тому же и гениальный воспитатель, творец душ. Посмеявшись, человек становится лучше, счастливее, умнее и добре.

Вывод из моей долгой практики: читая лекции, не надо жалеть времени на смешное. Любую научную информацию можно найти в книгах; научного смеха, как правила, там нет.

Ценя смех как важный элемент учебно-воспитательного процесса, я, грешным делом, не люблю тех лекторов, записных остроумцев, которые из года в год тешат аудиторию одним и тем же набором анекдотов. По-моему, вообще анекдот — низшая разновидность юмора. Смешное, чтобы быть воспитательным средством, должно рождаться тут же, на глазах у аудитории. Обмануть ее нельзя. Студент — существо коллективное и как таковое весьма умен. Его на мякине не проведешь. Он прекрасно умеет отличить настоящую шутку, внезапно сказанную по случаю поводу, от заранее заготовленного фабриката.

Воспитательная сила смеха еще и в том, что смеющийся человек больше склонен любить самого себя, а это великое дело! Предвижу возражения («Проповедь себялюбия!»), но все же настаиваю: человек лучше всего, когда он сам себя любит. Если вам хорошо, если вы свежи, веселы, дружелюбны, работоспособны — разве вы не любите наряду с другими и себя самого? А те, кого неправильно называют себялюбцами, — разве они любят себя? Нет, они серьезно, жертвенно, похоронно сами себе служат.

Но это отступление. Вернусь к Пулину. Писать о нем доставляет мне наслаждение, словно я воскрешаю его, ставлю перед собой, трогаю руками.

Талантлив он был необычайно, разносторонне. Прекрасно играл на скрипке. Замечательно читал вслух. Рисовал акварелью, писал стихи (главным образом шуточные). Обладал ярким актерским даром.

О чтении вслух. Нынче этот обычай в семьях как-то вывелся. Все заняты, разобщены. Считается, что любой грамотный человек может все что угодно прочесть сам.

В прежние времена было не так. Совместное восприятие литературы было формой общения. Вспомним романы прошлого века — сколько в них сцен чтения вслух (обычно он, влюбленный, читает ей, любимой). А у Данте — Паоло и Франческа («И в этот день они уж больше не читали...»)? В какой-то мере этот пробел заполняет телевизор, но в очень малой. Смотрят телевизор одновременно, но порознь.

В нашей семье чтение вслух было ритуалом, праздником.

Годами подряд каждый вечер перед сном, когда мы, дети, вымытые на ночь, помолившиеся, одетые в длинные, до пят,очные сорочки, лежали в своих кроватях, начиналось самое главное: приходил Пулин и читал нам вслух.

Читал он великолепно, артистически, но не как профессиональный чтец (таких я терпеть не могу), а

как посредник, интерпретатор, знакомящий самых своих дорогих с самым для себя дорогим. Его прекрасный, довольно низкий голос менялся, переходя от роли к роли, от реплики к реплике. Он словно показывал нам драгоценный камень, поворачивая его разными гранями и любуясь его игрой.

Мамочка тут же присутствовала, сидя в кресле за рукоделием; иногда, не выдержав, восклицала: «Какая прелесть!» — но тут же хватала себя за рот: Пулин не любил, чтобы его прерывали.

Чего только не услышали мы в его чтении! Всего Гоголя от «Вечеров на хуторе» до «Мертвых душ», включая вторую часть (читалась отрывками), после чего была нам рассказана трагическая история сожжения рукописи (до сих пор не могу забыть боли, которую тогда испытал!). Толстой: «Детство» и «Отрочество», «Севастопольские рассказы», «Война и мир». Достоевский: «Записки из мертвого дома», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»... А Гончаров, Тургенев, Помяловский, Лесков! Всего и не сочтешь! Теперь понимаю, какой это был титанический труд: прочесть своим детям всю русскую классику! И не только русскую: были тут и Марк Твен, и Диккенс, и Гюго, и Конан Дойль... Все это нам читалось в тогдашних наивных, бесхитростных переводах, которые мне до сих пор нравятся больше теперешних, изощренных. Помню наши детские светлые слезы над злоключениями Жана Вальжана, маленького Давида Копперфильда; помню страх и волнение, вызванные грандиозным образом баскервильской собаки...

Кстати, о страхе. Чудесное мое детство знало и страх. Помню изначальный страх темноты, от которого долго не мог отучить меня Пулин. Он не смеялся надо мной, не банил меня за трусость. Он просто брал меня за руку и вел в самое жерло темноты...

Почему-то эти страхи не противоречили общему чувству упоения жизнью, а как-то парадоксально его поддерживали. Мертвцы, встающие из могил в конце гоголевской «Страшной мести», эти костиистые руки, которые «поднялись из-за леса, затряслись и пропали», до сих пор вызывают у меня блаженные мурашки по коже. Конечно, далеко не в такой степени, как в детстве. Тогда это было чувство высокого ужаса, как у Пушкина:

От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы...

...Эти волшебные вечера, когда Пулин читал нам вслух! Электрического освещения тогда еще не было (по крайней мере, у нас). Пулин читал при керосиновой лампе, бросавшей на его лицо и красивую лысину яркие блики. Тень от его головы на стене была бархатно-черной. Я до сих пор люблю керосиновое освещение, недолюблю белый казенный электрический свет и уж совсем не выношу так называемых ламп дневного света (ими недавно оборудовали наш институт). Свет у них не дневной, а мертвый, покойницкий. Синие цвета в нем свирепеют, красные гибнут.

Итак, о вечерних чтениях. Они кончались всегда в строго определенное время (в девять часов), после чего Пулин прощался с нами, подходя по очереди к каждой кровати и целуя каждого в щеку. У моей кровати он как будто задерживался дольше других (вероятно потому, что я был самый младший, но мне хотелось думать: самый любимый). «Пулин», — говорил я ему, и он отвечал: «Тс-с...» Это был как будто наш говор об особенной взаимной любви. После Пулина подходила прощаться Мамочка — мягкая, душистая, очень своя. Я всегда норовил коснуться ресницами оправы ее очков. Как бы мы ни нагрешили за день, вечер был наш, и эта прощальная ласка — наша... Потом в детской гасили лампу, прикрутив фитиль и подув на него, и губы дующего на мгновение высвечивались особенно ярко. Волшебный запах, погасшего фитиля долго еще плавал в воздухе, и как будто из этого запаха возникало ночное мерцанье лампадки...

Было у меня с Пулином и особое, только наше с ним общение. Когда я немного подрос, он начал со мной заниматься математикой *privatissime*, как он говорил по-латыни. Эти «приватнейшие» уроки, с глазу на глаз, сделали меня тем, кем я впоследствии стал и кем, к сожалению, перестал быть (но это вопрос особый).

Как он гордился моими успехами, как радовался, когда я, окончив университет, был оставлен при кафедре (ему самому научной карьеры сделать не удалось — помешала ранняя женитьба, семья). И как жаль, что до моего профессорства он не дожил... Умер он в двадцать пятом году, еще молодым, по теперешним моим понятиям, от разрыва сердца (теперь сказали бы — от инфаркта). Мамочка ненадолго

его пережила, тенью ушла за ним в могилу. В день, когда мне было присуждено звание профессора, я пришел на кладбище и постоял у их общей могилы со шляпой в руках.

Никого и никогда в жизни (даже Нину!) я не любил так исступленно, как любил отца. Он был моим божеством. Его голос, блеск глаз, головы, весь его чистый и крепкий облик представлялись мне совершенством. А больше всего покоряло в нем непостижимое слияние серьезности, глубины и постоянной готовности к смеху.

В сущности, он был строгим отцом. Одной поднятой брови Пулина мы боялись больше, чем любых Мамочкиных красноречивых упреков. Она нас иной раз шлепала — он никогда пальцем не трогал. Наказывал нас иначе: пассивностью, неподвижностью, вынужденным бездельем. Вел провинившегося к себе в кабинет, сажал на диван, запретив двигаться и разговаривать, сам же садился за стол заниматься. Для меня это было ужасно, я сидел, уже через минуту весь истомившийся, задыхаясь, полный ропущих мыслей, но сознавая свою вину. Иногда, не выдержав каторжного безделья, я начинал под шумок таскать конский волос из тела дивана. Пулин поднимал голову — и я замирал. Обои в кабинете были узорчатые, темно-вишневые; до сих пор для меня этот цвет как угрызение совести.

И наряду с этим в веселые минуты он был проказлив, как мальчик. Он общался с нами, детьми, на равных, всегда был зачинщиком наших потех. Теперь должность зачинщика потех штатная, его называют затейником — о, Пулин не был затейником, в его озорной, разудалой веселости было что-то сродни философским выходкам средневековых шутов.

Излюбленным материалом, с которым он работал, были слова. Играя ими, как жонглер, он сочинял шарады, пословицы, каламбуры, пародии. «Все люди делятся на два разряда, — говорил Пулин, — одни живут как молятся, другие — как беса тешат». Надо ли говорить, что мы (семья) относились ко второму разряду? «Тешенье беса» шло у нас перманентно и разнообразно. Разговаривали мы на каком-то сумасшедшем жаргоне («гажечка», «вонтик», «борзятина»). В ходу были «убольшительные» слова: вместо «чашка» говорили «чаха», вместо «ложка» — «лога». Пели песни, пародируя народные; у одной, например, были такие слова: «Ты прости, прощай, сор дремучий тир...» Нет, этого не расскажешь — получается глупо, глупо и глупо. А в этих глупостях был какой-то нам ясный сверхсмысл...

А как мы ходили! Нам было мало просто переставлять ноги — у нас было множество разных походок, у каждой свое название, своя выразительная функция. Например, ходить «лапчатым шагом» значило мелко катиться на ступнях как на колесах; выражалось этим подобострастие. Ходить «наступальником» — агрессивно притопывать правой ногой, подтаскивая к ней левую («Сам черт мне не брат»). Была еще походка «крутко по лестнице» — лестницы никакой не было, мы ее изображали осанкой, пыхтением...

Как я теперь понимаю, Пулин в своих «постановках» пользовался приемами, в чем-то похожими на приемы китайского классического театра, о котором тогда и не слыхивали (по крайней мере, в нашем кругу). Много лет спустя, увидев в китайском спектакле нашу домашнюю походку «наступальником», я был потрясен...

Вне сомнения, он был остроумен, но очень по-своему. Я не помню, например, чтобы он рассказывал анекдоты, смешные истории. Смешное делалось из подручного материала: слов, жестов, выражений лица. Чуть-чуть смещеннное слово, сдвинутый акцент, пауза — и готово: смейся до упаду, до счастливых слез!

Помню, однажды я подошел к нему и, ласкаясь, прижался щекой к его лысине. Она была горяча, а щека прохладна. Пулин поднял на меня глаза и произнес торжественным ямбом: «Глава огнем пылает. Щека хладит главу». Казалось бы, что тут особенного? А я чуть не умер со смеху. До сих пор, вспоминая, смеюсь.

И зачем я все это здесь записываю? Все равно передать словами его интонацию невозможно. Она живет только в моем сознании и, когда я умру, исчезнет. Пишу затем, чтобы сейчас для себя одного что-то воскресить, закрепить, зафиксировать. Но, ударившись о бессилие слов, отступаю.

Пулин был из тех редких людей, которые в любых условиях, в любых обстоятельствах остаются самими собой. Пользуясь математическим термином, он был инвариантен по отношению к внешней среде.

После революции гимназию расформировали, здание заняли под какое-то учреждение с

многоэтажным названием. Из квартиры нас выселили в другую, тесную и холодную. Пулин на все эти перемены смотрел хладнокровно, даже с веселым любопытством в отличие от большинства своих коллег, впавших в панику.

Лишившись своего положения и привилегий, он сразу же пошел рядовым учителем математики в Единую трудовую школу (ЕТШ). Состав учащихся был самый пестрый — от институток до беспризорников. Пулин и к этим детям находил дорогу, сочетая строгость со смехом...

В трудное время гражданской войны и разрухи жизнь была полна лишений — не хватало еды, одежды, дров... Каждое из них он умел обыграть, сделать предметом новых и новых шуток. Дома у нас было ужасно холодно, мы топили стульями, распилили на части буфет. У Пулина зябла голова, и он надевал на нее колпак от чайника — пышное сооружение с гребешком и лентами. Этот колпак он называл тиарой. Пулин в тиаре — до чего же он был хорош, как полон достоинства! Когда я уезжал на фронт, он кивнул мне головой в тиаре...

Он до сих пор для меня жив. Иногда я, старый человек, наедине с собой говорю вслух: «Пулин!» — и слышу в ответ: «Тс-с...»

МАТВЕЙ ВЕЛИЧКО

Людного сына назвали Матвеем. Это имя выбрала для него Ася Уманская (так звали ее покойного любимого деда).

Весна в этом году выпала ранняя, яркая (пробившийся сквозь черный снег левитановский «Март»). На улице, ослепленной солнцем, бесчинствовали воробы, а небо было такое голубое — не небо, а небеса! Когда Ася с Людой вышли из родильного дома, такая кристальная радость сыпалась с этих небес, дрожала в лужах, капала с сосулек, что обе невольно зажмурились. Все ликовало. И Матвей на руках у Аси, ликующ, спал в голубом одеяле, осененный кружевным треугольником нарядной пеленки, разложив длинные ресницы по нежным щекам. Весь он был такой новенький, розовый, чистый — само совершенство!

— Ну признайся теперь, что дура была, — сказала Ася.

— Факт, — согласилась Люда.

Сама она, прозрачненькая, с синевой, казалась почти нематериальной (так бывает после трудных родов: не идет, а витает). Матвей дался ей нелегко. Мало того что тяжелый (четыре кило восемьсот!), он был еще необычайно длинный (шестьдесят два сантиметра, какая-то аномалия!).

— Видно, акселерация постигает молодежь еще во чреве матери, — сказала докторша, провожая Матвея в большую жизнь. — Вы и сами не маленькая, но этот... Вероятно, отец очень высокий?

— Нормальный, — ответила, покраснев, Люда.

— Ну, берегите своего богатыря.

Люда пообещала беречь.

Принесли в общежитие — Матвей спал. Развернули одеяло — спал. Было в этом длящемся сне какое-то упоенное торжество. Он потрудился, явившись на свет, и теперь отдыхал. Что ж, человек в своем праве...

— Аська, ну ты и даешь, — сказала Люда, с восторгом глядя вокруг себя.

И в самом деле, пока Люда лежала в роддоме, Ася все для Матвея подготовила: кроватку, постель, пеленальный столик с двумя стопками пеленок... Над будущим изголовьем Матвея висел огромный елочный шар. Он так и лучился, раскачиваясь на длинной нити. Форточка была раскрыта, дул сквознячок — весенний, пахучий.

— Может, закрыть, простудится? — нерешительно сказала Люда.

— Ничего! Пусть закаляется, растет настоящим мужчиной.

Мужчина! Невероятно. В их женском общежитии поселился мужчина! Распеленали, чтобы проверить, и воочию убедились в его принадлежности к сильному полу. Голый, он был не так представителен, как в пеленках: красный, скорченный, посередине раздутый, вроде кувшинчика. Поторопились запеленать снова. Ни та, ни другая пеленать детей не умели. Люде показывали в роддоме, но она не усвоила. Ася оказалась проворнее и перехватила инициативу.

— Голову ему держи, голову! — паническим шепотом взывала Люда. — Так и болтается, вдруг оторвется...

— Глупости! Где ты видела, чтобы у животного сама собой оторвалась голова? — храбро отвечала Ася, на всякий случай все же придерживая мягкую, красноватую, в темном пушке головку.

В общем, увернула. Не таким щеголем, каким пришел из родильного дома, но доя первого раза приемлемо.

Матвей упорно спал. Когда пришло время кормления, разбудить его не удалось. Совали ему грудь — не брал. Зажимали нос двумя пальцами — жалобно разевал рот, но спал.

— Да жив ли? — тревожилась Люда.

— Не паникуй. Теплый, дышит, значит, жив. Положили Матвея в кроватку, сами сели за стол, поели, выпили чаю, но без особой охоты. Матвей спал.

— Мы-то едим, он, бедный, голодный! — сокрушалась Люда.

— Ничего страшного, — отвечала Ася. — Ни одно животное не умирает с голода в присутствии еды. Проснется, покормим.

Но и ей было не по себе. Какой-то столпник.

В дверь постучали. Явилась делегация однокурсников и вкатила коляску с подарками; выделялся огромный апельсинового цвета медведь, державший в растопыренных лапах книгу «Детское питание».

— Ой, ребята! — простонала Люда.

Сережка Кох, возглавлявший делегацию, объявил:

— Благодарности отставить, переходим к торжественной части. — Он встал в позу, простер руку и начал речь, обращаясь к Матвею: — Гражданин Величко! Мы приветствуем в вашем лице смелого нарушителя законов, возбраняющих проживание в стенах общежития непрописанных лиц, тем более противоположного пола...

Матвей проснулся. Лицо его сморщилось, рот исказился жалостным оттопыром разинутых губ (как у древней трагической маски), и оттуда послышался кислый крик...

— Разбудил! Как не стыдно! — посыпалась упреки.

— Наоборот, ребята, — сказала Ася. — Спасибо, что разбудил, а мы-то старались — никак! А теперь, извините, обдененный перерыв. Смотрины вечером.

Ребята ушли на цыпочках, а Матвей первый раз в жизни поел с аппетитом...

Спал он упорно недели две, Люда с Асей никак не могли добудиться. Развернутый, даже не морщился, лежал, сохраняя эмбриональную позу со скрещенными, кулечком сложенными ногами. «Пережитки утробной жизни» — называла эту позу Ася. Пеленая, она старалась выпрямить эти упрямые ножки — бесполезно, Матвей подтягивал их обратно и спал. В случаях особо затяжного сна вызывали из мужского общежития Сережку Коха (ему удалось выхлопотать постоянный пропуск — случай беспрецедентный!). Он становился в головах кроватки, простирая руку и возглашал:

— Гражданин Величко!

Этого было достаточно. Матвей сразу же просыпался и плакал, а после этого ел с аппетитом. Условный рефлекс.

За две недели упорного сна мальчик потерял в весеоколо шестисот граммов — во всем богатырский размах! — потом остановился, потом начал набирать и пошел, пошел...

Вот так началась у Люды с Асей их летняя жизнь. Поначалу это оказалось не очень сложно, даже до удивления. Матвей спал. Потом, когда он отдохнул, оправился и вступил в свои права, все труднее и труднее. Он один, а их двое — и все же времени не хватало. Особенно донимали пеленки («щедрый талант» — называл Матвея Сережка Кох). Стирали в подсобке, только вешать негде было. Сначала, пока еще длился отопительный сезон, сушили на батарее. А когда перестали топить — ну прямо беда! Пробовали вешать на балконе — этому решительно воспротивилась комендант общежития Клавда Петровна (именно Клавда, а не Клавдия — она на этом особенно настаивала и обижалась, когда ее звали Клавдией). Это была женщина обширная, монголоидная, с приплюснутым носом и мужским голосом. Студенты над нею посмеивались («скопище седалищ» — окрестил ее Кох), но и побаивались. Могучий темперамент в сочетании с пламенной верой в свою правоту рождает тиранов — таким тираном в общежитийном масштабе была Клавда Петровна. С трудом ее уговорили не поднимать скандала из-за

Матвея, явно противоречившего правилам внутреннего распорядка, но видеть развешанные на балконе пеленки она уже не могла. Однажды явились грозой в комнату, где жило «беззаконие» (дома была одна Ася с Матвеем), и раскатилась речью. В ответ на это Матвей одарил Клавду Петровну такой широкой, розовой, беззубой улыбкой, что она не могла устоять. После этого Люде с Асей было официально разрешено сушить пеленки в подсобке, для этой цели Клавда Петровна, с опасностью для жизни взгромоздясь на табурет, собственноручно натянула несколько рыболовных лесок — чистый капрон! («Такому королю дворца не жалко, не то что подсобки», — говорила она.)

Матвей и в самом деле рос королем — единоличный властитель двух преданных женских душ. Если бы не пеленки, он бы особых хлопот не доставлял. Лучезарно-невозмутимый, толстенький, развитой, он уже в два месяца научился смеяться, в три с половиной сидеть, важно расставив перед собой крепкие ножки и привалясь к ним животом. Из пеленок рано переселился в ползунки — ценил свободу движений. Ася с Людой любили положить его поперек стола и глядеть, как он барабанится, быстро-быстро перебирая ногами (это у них называлось «ехать на веселом велосипеде»). Одно время обсуждалась идея, не отдать ли Матвея в ясли, но была отброшена как неконструктивная (институтские ясли уж сильно далеко помещались, а в круглосуточные Ася с Людой отдавать не хотели). Одна беда — у Люды рано начало пропадать молоко.

— Сглазила меня, верно, твоя Асташова, — говорила она Асе. — Как сказала я ей про молоко, как поставила она мне пятерку, так и стало оно пропадать, пропадать... Глаз у нее черный.

— Ерунда! — возражала Ася. — Терпеть не могу суеверий. У нее, если хочешь знать, глаза не черные, а темно-серые, я специально смотрела. А если бы и черные? У меня черные, а я никого еще в жизни не сглазила. И вообще, стыдно в наш век космических скоростей верить в дурной глаз. Ты ее еще ведьмой объявишь!

— А что? Самая настоящая ведьма. Взгляд такой пристальный, недобрый. Глядит, словно двойку ставит.

— Попробуй доживи до таких лет, да еще с тремя детьми! У нас с тобой один, и то еле справляемся.

И в самом деле, справляться было все труднее, особенно в параллель с учебой. Донимали молочные смеси, которые приходилось носить из консультации, да еще каши, овощные отвары и пюре (их варили дома на нелегальной плитке). Академического отпуска решили не брать, чтобы не расставаться, кончить институт вместе: «Как-нибудь перебьемся». И перебивались. Сидели с Матвеем по очереди. У Аси вообще было свободное посещение, училась она между пеленками, кашами, смесями — в одной руке ложка, в другой книга. Люде было труднее, но и она держалась молодцом, не слишком обросла хвостами. Вначале они иной раз оставляли Матвея вообще одного: кричал он мало, только когда был мокрый (этого органически не выносил). Уходя, Ася и Люда договаривались с дежурной, чтобы, когда закричит, его переменить. Для трансляции крика Ася установила над изголовьем Матвея микрофон и от него сделала проводку к столу дежурной. Услышав по этой сигнальной системе крик Матвея, дежурная бежала менять пеленки, ползунки, а иной раз и одеяло. Правда, скоро такую практику пришлось прекратить: однажды Матвей, оставленный в одиночестве, ухитрился выбраться из кровати. Ася с Людой, вернувшись, застали его в противоположном углу комнаты, вдали от микрофона, совершенно мокрого, горько плачущего и успевшего ободрать и съесть обои с большого участка стены. С тех пор одного Матвея не оставляли, а в случае крайней необходимости прямо вручали его дежурной. Все три смены дежурных были поголовно влюблены в Матвея. Он хорошел на глазах. Прежний темный пушок на голове вылез, вытерся, сменился золотенными кудрями, правда еще редкими (Локон, погоди немного, еще локон... — говорила Ася). Глаза из молочно-синих сделались голубыми, певучего блеска. Похож становился на Олега все больше и больше, даже ямочка на подбородке его. Этого сходства очень боялась Люда, свято таившая секрет происхождения Матвея («Ладно, будем считать за непорочное зачатие», — распорядился Сережка Кох; все его послушались, ни о чем не расспрашивали).

В свите поклонников Матвея была и комендантша Клавда Петровна. Заглянет, потешкает, споет песенку: «Лита-тинушки, татинушки, тата! Литатусеньки, татусеньки, тата!» Матвей невозмутимо подпрыгивал у нее на руках; когда она уставала, подбадривал ее каким-то гортанным хрюканьем: мол, чего остановилась, пой дальше!

Из двух обитательниц комнаты она больше подружилась с Асей. Та очень уж внимательно ее

выслушивала, а этим Клавда Петровна не была избалована. Такая собачья должность — кричи да кричи, а по душам поговорить не с кем...

— Слушай, Аська. Моя судьба — это целый роман. Три месяца рассказывать не хватит. Я мчалась по жизни, гонимая парусами. Я тип Аксиньи — читала у Шолохова? Если б не поздно родилась, была бы уверена, что это он с меня писал. Что-то особенное! Я толстая. Я в объеме толстая. Не верь, кто тебе скажет: худенькой лучше. Мужчины предпочитают толстых. Был у меня один задушевный друг — ну просто обминал от моего объема. Говорил: богиня. Теперь, приближаясь к пенсионному возрасту, от богини мало осталось, но все-таки есть. Прошлый год в доме отдыха два старичка почти предложение делали. Но я стариками не интересуюсь, мне лучше моложе себя. Был у меня такой — ну не описать. Сильный духом. Люблю мужчин, сильных духом, — что-то особенное. Понес ущерб в личной жизни. Ну, я его поселила в моей. Комната шестнадцать метров, телевизор. Я тоже не обсевок, стыдиться нечего. Я только фактически шесть классов кончила, а в душе — с законченным средним. Жили хорошо. Придет с работы — я ему бутылочку, селедочку. Выпьем, закусим и ляжем смотреть телевизор. Чем плохо? А все-таки он, паразит, от меня ушел. На другую польстился. Молодая, красивая, ноги как твои яблоки. Плохого про нее не скажу, только его обвиняю. Мужчина всегда виноват по природе. Вот и Люську не обвиняю, зачем родила. Он виноват, его бы прижать: плати алименты! Люська излишне чокнутая в смысле принципиальности. Сказала бы — кто, на него нажали бы силами общественности. Небось платил бы как миленький.

Ася пыталась что-то возразить, но Клавда Петровна не слушала.

— Я об себе. Встретила одного. Говорит так по-старинному, вежливо. Навещал всегда с красными гвоздиками. Понравился. Это у меня чисто нервное: я благодарная и привязчивая. Думаю: почему нет? В меру сил и других явлений. Однако вошел в близость и стал позволять. Во-первых, жадный, я этого не люблю. Говорю: «Надо купить мыла». А он: «Стирают руками, а не мылом». Надо же! Сначала я его боготворила, а потом стала дискредитировать. Дальше — хуже: оказалось, у него чужая жена и чужая подруга. Я терплю по свойству нервной системы. Потом не хватило терпения. Ты подумай: выпьет и в комнату входит задом. Попреживала и рассталась. Теперь никого нет. Больше горя от них, чем радости. Да и здоровье пошатнулось. Выйдешь на улицу, раз-два, смотришь — вступило...

— А детей у вас не было? — спрашивала Ася. Все касающееся детей теперь для нее было мучительно интересно.

— Нет, не было. Все в полноту ушло.

«Неужели и у меня, — думала Ася с сердечной болью, — никогда не будет своего ребеночка?»

О том, что у Люды родился сын, она до поры до времени домой не писала, думала: расскажет при встрече.

Весеннюю сессию сдали нормально — Ася на все пятерки (спасала ее прочная репутация), Люда, конечно, послабее, но тоже без двоек. Троеки были, но со стипендии все равно не сняли как кормящую мать. Приближалась каникулы, на носу отпуск, а куда ехать? И главное, как быть с Матвеем?

Беда в том, что Людина мать Евдокия Лукинична тоже до сих пор про Матвея не знала. Люда боялась ее волновать (сердце слабое) и от письма к письму все откладывала. Мать у нее была правил строгих, свою вдовью жизнь прожила без единого пятнышка, хоть в микроскоп разглядывай. Теперь писала Люде, что стало хуже со здоровьем, что-то такое про смерть («Дежурит старая с косой!»), просила Люду приехать повидаться хоть на две недельки, попрекала, что прошлый год не выбрала времени. Писала, как теперь, выйдя на пенсию, погибает в тоске, постарела, опустилась. Как начал к нейходить какой-то отец Яков с божественными речами («У нас многие на это дело с пенсии подаются»).

Люда мучилась: как быть? Ребенка незаконного мать ей не простит, и не надейся. Главное, не самого ребенка, а осуждения, как начнут о ее дочери судачить по вечерам на скамееках...

Ася нашла выход: Люде ехать одной, без Матвея, потихоньку подготовить мать и при случае признаться. А ей самой, Асе, отвезти Матвея на Украину к своим старикам.

— Как же ты им его объяснишь?

— А им и объяснить не надо. Они у меня без предрассудков. Привезла ребенка — и все.

Так и порешили. Отработали практику, отдежурили по противопожарной обороне; пришло время расстаться. Люда уезжала первая, Ася с Матвеем еще оставались на несколько дней (с билетами на

Украину в этот горячий сезон было трудно). Люда плакала, целуя Матвею ножки, розовые, пухленькие, нехоженые, а он невозмутимо сосал свой кулак. Как он ухитрялся целиком засунуть его в рот, неясно, но ухитрялся.

— Аська, я, наверно, плохая мать? — спрашивала Люда вся в слезах.

— Нормальная. Успокойся, не расстраивай ребенка.

А ребенок и не думал расстраиваться. На уезжающую мать он взирал с веселым равнодушием.

Люда ушла вся зареванная. Ася впервые ощущила себя наедине с Матвеем, полностью ответственной, как настоящая мать. Счастье быть матерью сразу ее захватило... А что? Разве не был Матвей ее сыном? Ведь если бы не она, он бы на свет не родился...

Упрекая себя за такие мысли, Ася дала Матвею погремушку, а сама села заниматься. За последний год сформировалась у нее привычка заниматься урывками, мгновенно отрываясь от книги по любой срочной надобности. Позанималась, сварила кашу, покормила Матвея. Спросила его:

— Будем бабай?

Он отказался.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказала Ася.

Вошел Олег Раков. Она так и сжалась.

— А Людка где? — спросил Олег, играя цепочкой загородного пояса.

— Уехала.

— Надолго?

— Наверно, на все каникулы.

Олег присвистнул.

— Послушай, Уманская, это ты натрапилась ребятам про нас с Людкой? Больше некому.

— Я?! Ты с ума сошел? С чего ты взял?

— На курсе проходу мне не дают, называют папой.

— Я тут решительно ни при чем.

— Так ли уж? — усмехнулся Олег.

— Ты свои подлые намеки брось! Ни Люда, ни я никому про тебя не говорили. Не стоишь ты, чтобы язык об тебя марать. Она, наоборот, боится до смерти, как бы кто не узнал.

— С чего они тогда взяли?

— Просто Матвейка очень похож на тебя. К сожалению.

Олег подошел к кроватке, где, важный, красивый и толстый, сидел его сын. Первым недавно пробившимся сахарным зубом он грыз кольцо. Королевской повадкой, на все наплевательством он и в самом деле был похож на Олега — даже больше, чем ямочкой на подбородке.

Что-то смягчилось в лице Олега... И гордость тут была, и сожаление, и даже нежность какая-то...

— Послушай, Аська, ты не думай, что я такой уж законченный подонок. Я даже Людке готов помочь, что-нибудь рэ двадцать — тридцать в месяц...

— Убирайся вон, Раков, — Ася показала ему на дверь, — забудь сюда дорогу и никогда больше не приходи!

— Тоже Елизавета Английская! А ты тут, спрашивается, при чем? От жилетки рукава.

Тут Ася размахнулась и влепила Олегу пощечину. И не какую-нибудь символическую, а размашистую, от плеча, со всем весом и силой. Олег выругался. Матвей заревел. Олег скрипнул зубами и сказал сдавленным голосом:

— Идиотка! К сожалению, в моем кругу не принято бить женщин, а то бы я тебе показал. Тыква, балда!

Вышел и дверью хлопнул. Посыпалась штукатурка, Матвей заорал пуще Ася взяла его в свои дрожащие руки, прижалась щекой к его мокрой кисленькой щеке, и стали они вдвоем плакать...

Перед отъездом Ася дала домой телеграмму: «Еду, встречайте», номер поезда, номер вагона. О Матвее упоминать не стала, зная в своих родителях традиционный страх пожилых людей перед любым известием, сообщенным по телеграфу...

В дороге жара стояла ужасная; Ася измучилась с бутылочками молочных смесей, удержать которые

от скусания было никак невозможно. Стала кормить Матвея только сушками, которые он грыз своим единственным зубом. Познакомилась с соседями по вагону; все они дружно восхищались мальчиком, не сомневаясь, что это Асин сын. Она не возражала, да и глупо было бы возражать. Некоторые даже находили явное сходство между сыном и матерью: «Оба такие полненькие...» Ася впервые почувствовала, как ее полнота, отраженная в полноте Матвея, становится чем-то милым, невинным... А главное, ей было невыразимо сладко хоть недолго, а побыть матерью...

...Наконец приехали. Ася вышла из вагона — Матвей на одной руке, сумка в другой, а еще сверху дружеские руки спустили ей чемодан Уже издали она увидела седую голову отца. Он искал ее глазами и, найдя, удивился, но тут же это удивление подавил. Спокойно подошел, взял чемодан, поцеловал Асю в щеку. Спокойно спросил:

— А это кто у тебя? Девочка? Мальчик?

— Мальчик, Матвей. Я его назвала в честь дедушки.

До сих пор все было чистейшей правдой. Продолжалась условная роль матери, которой она тешилась в вагоне. «Объясню, успею», — думала Ася...

— Могла бы и сообщить, — с мягким упреком сказал Михаил Матвеевич. — Мы тебе не чужие.

— Не хотела писать. Думала, так лучше. Я...

— Прости, пожалуйста, — нервно спросил отец, — а... твой муж?

— Я не замужем, — правдиво ответила Ася и готова была сразу же все объяснить. Но глуховатость Михаила Матвеевича, его явная неохота слушать, да и (что греха таить) сладкая мысль побить еще немного матерью Матвея ее остановили. — А мама почему не приехала?

— Ей нездоровится.

Что-то в тоне отца встревожило Асю.

— Что с мамой?

— Ничего серьезного. Просто неважно себя чувствует.

— И давно?

— Месяца три. Мы не писали, не хотели тревожить.

Так... Значит, никто никого не хотел тревожить...

— Ты с ней поосторожнее, — сказал отец, — не говори, что плохо выглядит. Она стала, знаешь, такая мнительная...

— А врачи что говорят?

— То-то и есть что ничего. Ничего не говорят врачи. Покой, уход, витамины...

Молча пришли домой. Матвей был тяжел на руках. Отец усадил их в большой комнате (она у них по старинке называлась гостиной):

— Ты здесь пока подожди. Мне надо пойти ее приготовить... Такая нервная стала, ужас!

— Послушай, папа...

— Нет-нет, — замахал он рукой, — все понятно, молчи! Из-за закрытой двери послышался приглушенный разговор, ахи, восклицания, и вдруг настежь распахнулась дверь и раздался милый голос матери — слабый, но приятный:

— Так веди их сюда, поскорее веди! Мои дорогие, мои любимые! Асенька, Матюшенька!

Ася с Матвеем на руках нерешительно вошла в комнату. Там было полутемно от опущенных штор. Пахло лекарствами. Софья Савельевна лежала в постели жадно и бессильно стараясь приподняться навстречу вошедшему. Тянулись к ним руки, глаза, душа — тело лежало, скованное. Сразу стало видно, как она изменилась — вся, кроме голоса.

— Девочка моя, — сказала она прерывисто, — двое моих дорогих, подойдите сюда, дайте я обниму вас вместе!

Ася опустилась на пол рядом с матерью, посадила Матвея на край постели.

— Ну херувим! — воскликнула Софья Савельевна. — Рубенсовский мальчик! Вылитая ты в его возрасте. Только у тебя глазки были черные, а у него голубые...

Судорожно притянув Асю с Матвеем к себе — откуда сила такая в этих иссохших руках? — она стала их целовать попеременно то одного, то другого.

— Соня, спокойнее, не волнуйся, — приговаривал Михаил Матвеевич.

— От радости не умирают.

Матвей был невозмутим. Спокойный, величественный и красиво, по-младенчески тучный, он принимал к сведению происходящее и только покряхтывал.

— Волосы-то, волосы — червонное золото! — лепетала Софья Савельевна. — Чудо какой мальчуган! Что же ты не писала? Боялась, глупая, что осудим, не примем? Плохо же ты нас знаешь!

Лицо ее, осунувшееся, выдвинутое вперед, было отчетливо желтым. Вглядевшись в него, Ася поняла, что болезнь серьезна и дело плохо. Сердце у нее щемило вдвойне — страхом за мать и раскаянием за свою ложь. Невольную, легкомысленную, непростительную. «Как же я скажу им правду? Надо было тогда же, на вокзале. Теперь, кажется, поздно...»

Тут Матвей повел себя не совсем так, как надо, и все потонуло в смехе, восклицаниях, поисках нужных вещей (чемодан, сумка, бельевой шкаф). Это небольшое событие как будто скрепило полное и совершенное восществие Матвея еще на один престол.

— Миша, — захлебываясь, смеялась Софья Савельевна, — помнишь, я тебе говорила: до внуров уже не доживу! А ты: «Нет, доживешь!» Ты оказался прав — дожила...

«Как я им скажу правду? — думала Ася. — И надо ли?»

— Соловья баснями не кормят, — объявил наконец Михаил Матвеевич и тем положил конец затянувшейся серии восторгов, от которой даже терпеливый Матвей начал уже похныкивать.

Вымыть его, самой умыться с дороги, причесаться, переодеться — все это заняло время, было отрадной оттяжкой. Михаил Матвеевич варил манную кашу по новой методике:

— Не в кипящее молоко сыпать крупу, а в холодное, только в холодное. Получается гораздо нежнее, только надо все время мешать, ни на секунду не прерывая. Не каша, а крем!

Он, как и многие мужчины, вынужденные заниматься домашним хозяйством, относился к нему слишком уж всерьез. Трогательен был на нем кокетливый передник с оборочкой.

— Я в хозяйстве поднаторел, — говорил он, крутя ложкой, — не такое уж мудреное дело, во всем важен научный подход. Что такое домашнее хозяйство? Одна из отраслей химии.

Каша была готова, обед для Аси разогрет.

— Ну-ка иди ко мне, — сказал Михаил Матвеевич, — я тебя покормлю, а мама пусть пообедает.

Матвей пошел на руки к незнакомому старику с солнечной готовностью (кочевник, он вообще охотно переходил из рук в руки), взял его горстю за щеку и сказал «бу». Михаил Матвеевич был тронут:

— Узнает деда, умница!

Пока Ася ела, он кормил мальчика с ложечки. Он был счастлив, видя, с какой быстротой исчезает каша.

— Видишь, как ему нравится? Нежность, необыкновенная! В холодное молоко, только не в кипящее!

Ася пообещала — отныне только в холодное. А сама думала: «Сказать? А может, не надо?» И все больше убеждалась: пока не надо.

После обеда соорудили для Матвея ложе из двух сдвинутых кресел. Он, усталый, сразу заснул, сжимая в руке погремушку.

— Папа, а что с мамой? — тихо спросила Ася. Михаил Матвеевич изменился в лице.

— Ты же сама видишь, как она выглядит. Врачи определенного диагноза не ставят. Но это исхудание... Ты заметила?

— Конечно.

— Так вот, ты. ей не говори, что она похудела. Она к этому очень чувствительна. Представь себе — дорожит своей красотой! Просит подать себе зеркало, помнишь, такое овальное, с ручкой, без конца в него смотрится. Я спрашиваю: «Что ты все себя разглядываешь? Ты и молодая так не кокетничала». Отвечает: «Печать смерти ищу». Такие мысли! Ты ее от них отвлекай, отвлекай. Теперь, слава богу, Матюша будет ее отвлекать...

Прожили Ася с Матвеем у родителей почти месяц. За это время и дед и бабушка полюбили мальчишку без памяти. На глазах становилось лучше Софье Савельевне. Все еще слабенькая, она уже садилась, подпертая подушками, и к ней на колени сажали Матвея. Она прищелкивала исхудальными

пальцами, пела ему почти безмолвные песенки. Мальчик улыбался, говорил свое «бу», с упоением чесал зубы обо что попало: о спинку кровати, о бабушкин палец... Шторы в комнате были теперь подняты («Ребенку необходимо солнце!»), и ее лицо казалось не таким уже желтым, не таким обтянутым... Чуть-чуть исправился аппетит — иной раз она за компанию с Матвеем съедала полблюдечка манной каши, той самой нежной, как крем, сваренной по новому методу. Ася радовалась, на нее глядя, надеялась на лучшее.

Получила она письмо от Люды, которое ее слегка встревожило, но сейчас она не хотела тревожиться: так хороши были последние дни с родителями, с Матвеем. Мальчик, раскинувшись, спал в полосатом гамачке в саду под черешней, а Михаил Матвеевич уговаривал петуха, чтобы орал подальше...

Как раз накануне отъезда погода испортилась. Уезжали в дождливый, пасмурный день. Матвей в пластиковом плащике с капюшоном был похож на милиционера и уморителен. Уже одетые, долго прощались с Софьей Савельевной. Отец пошел провожать, нес Матвея, тяжелого, гордясь его красотой и упитанностью. «Внучек?» — спрашивали встречные. Михаил Матвеевич гордо кивал.

Вот и поезд подали.

— Ну прощай, дочка, не забывай, пиши! Если второго родишь, сообщи сразу!

ПИСЬМО ЛЮДЫ ВЕЛИЧКО

Асенька, сестренка моя дорогая!

Много чего тут произошло. Ты себе представить не можешь обстановку. Мама вся под обаянием этого отца Якова. Человек еще не старый, ходит в гражданском, глаза черные, такие пристальные, что дрожь в коленях, а бороды нет и волосы стриженые. Наши ребята многие на попов больше похожи, чем этот. Впрочем, он не поп официальный, а руководитель секты или как это называется. Их там человек двадцать женщин, все пенсионерки, а он один мужчина.

Мама уговорила меня пойти к ним в моленный дом. Я для интереса сходила. Ничего интересного. Пели на мотив «Смело, товарищи в ногу» какие-то их псалмы или гимны. Потом выступил отец Яков. Он, безусловно, оратор, говорит без бумажки. Содержание я не совсем поняла, что-то сложное, как теория случайных процессов. А эти женщины, видно, еще меньше меня понимают, но так к нему и тянутся. Наверно, гипнотизер. Мне в целом не понравилось.

Он обратил на меня внимание не как-нибудь, а просто я одна молодая, кругом одуванчики. Когда кончилось, подошел к нам с мамой, просил познакомиться. Что-то сказал про овцу. Мама пригласила его чай пить, пошли, сели за стол. Мама на него смотрела с каким-то рабством, которое меня испугало. Пили чай с вареньем, мама предлагала наливки, он отказался — не пьет. Я думаю, в нашей антирелигиозной литературе много преувеличивают про попов, что они и жадные, и пьяницы, и бабники. Этот отец Яков — сложная личность, бескорыстно заблуждается.

Пока пили чай, он на меня поглядывал очень проницательно, а когда кончили, сказал: «Людмила, на вашей душе лежит какая-то тяжесть. Откройтесь, и вам станет легче».

Я, дура, сразу же заревела. Но отрицаю — нет у меня тяжести! А мама за ним: «Лучше откройся, дочка», — и сама плачет. В общем, кино. Под этим давлением выдала я им все про Матвейку. Олега не назвала, сказала только, что жениться не собирался и не собирается.

Мама распиховалась, говорит: «Прокляну». Это откуда-то из глубокого прошлого, кто в наше время проклинает? А он ей так мягко: «Успокойтесь, Евдокия Лукинична, какая же вы христианка, если родную дочь простить не хотите?» Она ни в какую! Говорит, и ее и покойного отца опозорила, и как она будет в глаза людям смотреть? Буря, в общем, была порядочная. Я реву, мама ревет, он успокаивает. Часа три продолжалось, ушел в одиннадцать. Над ней помахал рукой — называется благословил, а она ему руку поцеловала. Меня тоже хотел благословить, я не далась, говорю: комсомолка.

Плакали мы с мамой до двух часов ночи. В общем, помирились. Простила она меня и Матвейку признала. Сердилась, что имя дала простое, мужицкое, лучше бы Эдик или Славик. Я ее успокоила, что сейчас как раз мода на самые простые имена: Кузьма там, Пимен и другая экзотика.

А еще она меня упрекала, что зря я его к чужим людям отправила (приветик, к чужим!). Говорит:

«Привози сюда, я его сама воспитаю». Я молчу, чтобы не вызвать новой, вспышки, а про себя думаю: «Фигушки я его тебе отдаю, ты его еще в секту запишешь».

Насчет секты. Я с матерью большую разъяснительную работу провела против религии в принципе. Она не возражала, даже как будто согласна, а как настанет час собрания — так ее туда и тянет. Я как противоядие свела ее в клуб на лекцию о происхождении жизни. Лектор ничего, еще молодой, интересный, но хмыкает и все по конспекту. Объективно говоря, с отцом Яковом никакого сравнения. В общем, скучный доклад, маме не понравилось. «Будешь ходить в клуб?» — «Нет, не буду». И правда, если по совести, ничего привлекательного. Там, в моленном доме, они хоть поют, вроде самодеятельности для престарелых. Я об этом много думала, но конкретных форм, пригодных для нашего времени, выдумать не могла. Надо будет на эту тему поговорить с Сережкой, у него голова большая.

В целом стало у меня легче на душе, когда про Матвейку открыла. Все-таки родная мать, а ей родная бабушка. Обещала осенью приехать к нам повидать внука. Как ты на это смотришь? Я за. Где трое, там и четверо, я могу спать на полу, а то и с мамой валетом. Может быть, ты, Аська, ее от секты разагитируешь.

Ну вот и все, будь здорова, моя дорогая сестричка, а Матвейку целую во все места.
Твоя Люда.

ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ ФЛЯГИН

Профессора Флягина на кафедре не любили. Бывает этакая стихийная нелюбовь, охватывающая целый коллектив и выталкивающая из него чужака (так перенасыщенная солью вода некоторых озер выталкивает человеческое тело). Все не так, каждая мелочь засчитывается в вину. Даже достоинства Флягина — трудолюбие, целеустремленность, скромность — воспринимались как пороки. Смешноватые внешние черточки — близорукость, согбенность, журавлиный шаг — обыгрывались со злорадством. Любые распоряжения, разумные и неразумные, одинаково встречались в штыки. Так порой в школе класс обходится с нелюбимым учителем, теряя чувство меры и справедливости. Вообще сколько детскости (иной раз неприятной) таится во взрослых людях...

Чисто сравнивали настоящее с прошлым. Правда, вольные порядки (скорей беспорядки), царившие при Энэне, не во всем были хороши. Много было разговоров, шума, почем зря разбазаривалось время, в помещении кафедры работать было почти невозможно. Но все это вспоминалось теперь добром — по контрасту. Даже Кравцов вспоминался добром — этакий безобидный празднослов-карьерист, в общем-то не мешавший работать. В зловещей жертвенной целеустремленности Флягина было что-то пугающее, словно отправление мрачного культа какой-то научной богини Кали. Форму, отчетность, порядок он возвел в ранг святыни. А живое человеческое общение, шутка, смех для него как бы не существовали. Да при нем и людям-то не хотелось смеяться...

Не щадя других, он не щадил и себя. «Злейший враг всем на свете, в первую очередь себе самому», — как сказал Маркин. Любое начинание, исходившее от Флягина, было тем самым обречено на провал. Некоторые из них были, по существу, разумными и, правильно понятые, могли бы принести пользу. Куда там! Кафедра накидывалась на них, как свора собак на котенка, и растерзывала в клочки.

Например, дневники учета времени. Сами по себе они могли бы быть полезными (скажем, придать конкретный смысл слову «перегрузка», без конца склонявшемуся на кафедре). Но дружная оппозиция коллектива все обессмысливала. Преподаватели каждый на свой лад изощрялись в том, чтобы вести их поглупее, с издевкой (скажем, покупали школьные дневники, заполняли их с орографическими ошибками, ставили закорючку против слов «подпись родителей»). Флягин на эти выходки внимания не обращал, по-прежнему требовал еженедельного представления дневников, внимательно их читал и делал выписки.

Категорически отказался представлять дневник Семен Петрович Спивак, сказав, что стар уже заниматься ерундой. Флягин с ехидной усмешечкой его от этой обязанности освободил: «Не буду настаивать ввиду вашего и в самом деле почтенного возраста», уязвив этим Семена Петровича в самое сердце.

Так выходило и со всеми другими нововведениями Флягина: кто их бойкотировал, кто высмеивал. Шла своего рода партизанская война в тылу противника: флягинские заводы выпускали брак, флягинские поезда пускались под откос («Борцы Сопротивления», — говорил Маркин, наблюдавший все это как бы со стороны и не принимавший всерьез). Во главе «Сопротивления» стояли Спивак и Асташова. Оба открыто высказывались на заседаниях кафедры, иногда даже понуждая Флягина к некоторым уступкам. Остальные больше помалкивали, но их настроения были ясны. Даже Паша Рубакин, единственный человек на кафедре, относившийся к Флягину с какой-то чудаческой симпатией, отчасти примкнул к «Сопротивлению», введя новую форму отчетности: дневник с картинками. О Лидии Михайловне и говорить нечего: она с самого начала ненавидела Флягина за то, что он не Энэн. Интерес Флягина к индивидуальным планам она воспринимала болезненно, как посягательство на ее вотчину.

Так как разговоры в помещении кафедры были запрещены, все дебаты выносились в коридоры и на лестничные клетки. Общее мнение было таково, что работать с Флягиным во главе кафедра не сможет. Вопрос в одном: сразу уходить или еще выждать? «Кто кого пересидит — мы его или он нас?» Усидчивость Флягина сомнений не вызывала. Надежду вселяло другое обстоятельство: он по каким-то формальным причинам (ведомым ректорату, но неведомым кафедре) до сих пор еще не прошел по конкурсу. Кто-то из преподавателей по знакомству подсмотрел в отделе кадров характеристику Флягина с прежнего места работы — крупного НИИ с устойчивой репутацией. Характеристика была положительная. Подчеркивались высокие деловые качества Виктора Андреевича, его трудолюбие и принципиальность, но вообще тон характеристики был сдержаный, словно бы сквозь зубы. Видно, кому-то он крупно там насолил.

Семен Петрович Спивак не поленился и сам съездил в НИИ к своим знакомым, чтобы подробнее разузнать о Флягине. Привез сведения скорее неутешительные для кафедры. О Викторе Андреевиче говорили с уважением. Ценный работник, скажем, не очень талантливый, но до всего доходит горбом. Эрудиция огромная. Добросовестен до предела. Если даст положительный отзыв на диссертацию, будь спокоен, ошибок там нет. Все прочтит, проверит до буковки. В общем, вполне на своем месте. Отчего же вздумал уходить? Не поладил с начальством, отказался подписать какой-то отчет, где были, с его точки зрения, не до конца проверенные данные. Поставил под угрозу выполнение плана, чуть не лишил весь отдел премиальных. Значит, честный? Безусловно, но в чем-то неприятный человек, даже отталкивающий. Дружбы ни с кем не завел, в гости не ходил и к себе не звал.

В общем, похоже было, что ничего порочащего Флягина нет и рано или поздно он пройдет по конкурсу... Ну-ну... Решили все же до поры до времени с места не трогаться, выждать, беречь коллектив. Борьба с Флягиным то вспыхивала открыто, то уходила в подполье.

Самый острый конфликт разыгрался по вопросу о бюллетенях. Дело в том, что на кафедре с давних пор утвердился обычай: заболевшие преподаватели бюллетеня не брали. Никакого урона государству это не причиняло, никакой корыстной цели не преследовало. Все равно оплата по бюллетеню у всех была бы сто процентов (кроме самых молодых, но те не болели), а нудные хлопоты по оформлению отпадали. Если преподаватель заболевал, он просто звонил на кафедру и просил кого-нибудь из товарищей себя заменить. Разумеется, заменявшие ни копейки за лишние часы не получали, но отказывать было не принято: сегодня ты, а завтра я. Бюллетень брали только в случае серьезного, длительного заболевания, болезни же мелкие, будничные (гриппы, ангины, простуды) обходились без бумажного оформления. Само собой разумелось, что никто без серьезной причины не отдаст свой поток или группу другому («Все равно что временно отдать жену», — говорил Маркин). Наоборот, старались держаться до последнего, приходили на занятия полубольными, но к заменам прибегали только в крайности. Так всегда было до сих пор, и все воспринимали это как норму.

При Флягине эти «дворянские вольности» были отменены. Он потребовал, чтобы все болезни и замены оформлялись официально, через бюллетень. Казалось бы, требование законное, а вот преподавателей оно оскорбляло. Они, привыкшие работать не за страх, а за совесть, в самом деле не щадившие ни здоровья, ни сил, были возмущены.

— Как он не понимает, болван, — говорил Спивак, — что на формальные требования ему ответят формальной работой? А если чем и была сильна кафедра до сих пор, так это неформальной работой!

Не раз поминалось в кулуарах имя покойного Николая Николаевича, руководившего кафедрой как

раз не формально. Даже Элла и Стелла, больше других жаловавшиеся в свое время на затяжные заседания кафедры, вспоминали о них с умилением.

— Там, по крайней мере, каждый мог говорить все что думает и сколько угодно, — говорила Элла. — А этот как вынет часы да пристукнет — всякая охота выступать отпадает.

Особенно взбудоражил всех случай с болезнью Радия Юрьева. Началась она с того, что Радий стал неудержанно чихать — раз по десять — двадцать подряд, до слез. При его щеголеватости и обаянии (любимец студенток!) ему, естественно, не хотелось чихать на занятиях. В прежние времена он попросту позвонил бы на кафедру, попросил себя заменить — и дело с концом. При новых порядках это было исключено. Пришлось Радию идти в медчасть, где ему дали справку с указанием болезни: ринит. Этую справку он положил на флягинский стол недалеко от склоненного носа Виктора Андреевича и остановился, ожидая реакции. Такое безмолвное выкладывание бумаг перед светлые очи начальства вошло на кафедре в моду за последнее время. Флягин продолжал писать. Радий громко чихнул (как потом утверждал, не нарочно, а стихийно). Реакция Флягина была неожиданна: он поднял нос, взял справку, прочел ее на весу и сказал со своей иезуитской улыбкой:

— Ринит попросту значит насморк. Разрешаю, но без освобождения от лекций.

Ошеломленный Радий отошел от начальственного стола, оставив на нем злополучную справку. И в этот день и на следующий он читал лекции. На третий день у него поднялась температура, он ее не мерил и назло Флягину читал лекции. Лицо у него было как у святого Себастиана, пронзенного стрелами... Товарищи уговаривали его идти домой, лечь, вызвать врача — ни в какую! Радий наотрез отказался лечиться. Кончилось это тем, что его прямо из института с температурой тридцать девять отвезли в больницу. Оказалось, тяжелая пневмония.

Происшествие горячо обсуждалось на кафедре. Мнение о Флягине было единодушно («Скотина!»). Споры были о поведении Радия. Большинство стояло на том, что он поступил как дурак.

— Дурак, но гордый, — сказала Элла Денисова. — Я его понимаю.

— Позвольте мне, — сказал Паша Рубакин своим похоронным голосом, — рассказать анекдот.

— Лучше не надо, — взмолилась Стелла.

— Он короткий, на немецком языке, но я для скорости сразу буду рассказывать по-русски. Едет зимой батрак, правит кобылой и радуется: «Вот назло хозяину отморожу себе руки, зачем он не покупает мне рукавицы?»

Посмеялись, но невесело. «Гордый дурак» выздоравливал медленно, на этот раз по всей форме, с бюллетенем. Навещали его и товарищи с кафедры, и представители профорганизации. Случай приобретал гласность. Кафедральные разговоры в коридорах кипели, демонстративно записываемые в дневник под ехидным названием «обсуждение разных вопросов». Проходя мимо такой говорящей кучки, Флягин наклонял голову и делал вид, что его это не касается.

— Интересно, грызет его совесть или нет? — спрашивала Элла.

— Такой сам любую совесть загрызет, — отвечал Спивак.

Какую-то приватную беседу имел с Флягиным Петр Гаврилович, после чего сообщил товарищам:

— Осознал и раскаивается.

Вызывал Виктора Андреевича и проректор. Секретарша рассказывала: «Сидел час, ушел как побитый».

После происшествия Флягин стал как-то грустнее и молчаливее, реже улыбался, но привычек своих не изменил.

На очередном заседании кафедры, несмотря на сухой стук серебряных часов по столу («Берегите время!»), выступил Спивак по вопросу о человеческом отношении к людям. Флягин неожиданно прервал его и сказал, улыбаясь:

— Со всем тем, что вы сказали и еще собираетесь сказать, я безусловно согласен.

Все так и опешили.

— Выбил, чертов сын, почву у меня из-под ног, — жаловался потом Спивак в коридоре. — Согласился, а я оплошал...

Нина Асташова молчала.

Профessor Флягин имел обычай засиживаться на работе до позднего вечера. Он поставил себе как

заведующему кафедрой задачу досконально изучить все читаемые на ней курсы. Прежняя его работа не совсем совпадала по профилю с тематикой кафедры, приходилось перестраиваться, менять ориентацию; к этому он был готов, когда дал согласие перейти в институт. Некоторые курсы он уже одолел и разбирался в них не хуже ведущих преподавателей, другие надо было еще одолевать. Кроме того, он считал двоим долгом ознакомиться со структурой института в целом, тематикой факультетов, кафедр — без этого он себе не представлял работу. Труд предстоял огромный, особенно учитывая крайнюю въедливость и добросовестность, не позволявшую Виктору Андреевичу ни с чем знакомиться в общих чертах. Все изучаемое, он изучал до тонкости. К тому же он просто не умел читать что-либо не конспектируя (про него ходил слух, что и меню в столовой он тоже конспектирует). Из-за этого всякое чтение шло у него медленно, воплощаясь в толстые тетради, исписанные мелким, но волевым почерком. Тетради нумеровались и приобщались к архиву научных записей, в котором числилась уже не одна сотня «единиц хранения». Система была двухэтапная: сами записи и «записи о записях» — где что искать. За этими делами и засиживался Виктор Андреевич на кафедре позже всех. Уходил в те часы, когда уже и вечерников в институте не оставалось, сами гардеробщицы покидали свои рогатые владения, и только на каких-то рундуках дремали ночные дежурные, крайне недовольные тем, что ему надо было отпирать двери. Трудовой героизм Виктора Андреевича ни в каких слоях, увы, не находил сочувствия...

...Так вот и сегодня он засиделся допоздна (сам не заметил, как прошло время), взял в пустом гардеробе свой поношенный полуплащ, разбудил дежурную и вышел на улицу. Ветер хлестал перемежающимся крупным дождем и катил по тротуарам палые листья. В старинном здании больницы только кой-где горели огни. Виктор Андреевич быстро шагал на своих сухопарых ногах, напоминая журавля, внезапно обретшего несвойственное ему проворство: он торопился домой. Хорошо, что продукты он успел закупить с утра, а то магазины уже закрыты.

Трамвай, взвизгивая на поворотах, подвез его к дому. Подъезд, лестница, темнота, тревога. Он отпер обитую дерматином дверь и вошел в свою более чем скромную двухкомнатную квартиру.

Жена его год назад умерла, и Виктор Андреевич, скрывая тоску, мужественно нес тяготы семейной жизни. Семья его состояла из больной, парализованной тещи и дочки Тони четырнадцати лет. Девочка встретила его в передней и робко, молчаливо обрадовалась. Некрасивая, худенькая, близорукая, она очень походила на отца и вместе с ним на какую-то птицу. Даже волосы такими же перьями топорщились на ее небольшой, с боков сжатой головке.

— Ну как дела, Антоша? — спросил Виктор Андреевич.

— Дела ничего.

— Дневник заполнила?

— Конечно.

— Молодец. Вечером прогляжу.

— А уже вечер. Хорошо, что пришел, — очень по-детски сказала Тоня. — Я уже стала беспокоиться.

— Напрасно. Ничего со мной не сделается.

Она неловко обхватила его угловатой тонкой рукой за шею и на мгновенье прижалась к его плечу. Он слегка приобнял ее, и они постояли, чуть раскачиваясь, но сразу же отодвинулись друг от друга. Ласка была мимолетной, сдержанной.

— Как бабушка? — спросил он.

— Как всегда. По-моему, не хуже.

— Наталья Ивановна приходила?

Наталья Ивановна была женщина, помогавшая Флягиним по хозяйству, но сугубо физически.

— Приходила, но скоро ушла. У нее кто-то из внуков болен.

— Устала ты?

— Ничего. Хорошо, что вернулся. Бабушка тебя очень ждет.

Виктор Андреевич снял полуплащ и берет, стряхнул с них дождевые капли, пригладил ладонями волосы и вошел в комнату тещи.

— Витя, это вы? Ох как поздно! Ждала вас, ждала...

— Задержался в институте, — мягко ответил Виктор Андреевич. — Очень много работы, раньше не

МОГ.

— Не знала, как и дождаться. Вы всегда так ловко меня перекладываете... У Тонюшки нет сил, а Наталья Ивановна такая неловкая. Пожалуйста, переложите меня опять как в прошлый раз. Подушку под локоть, помните?

— Сейчас, только руки вымою, — сказал Виктор Андреевич и вышел.

— Боже мой, как я его мучаю! — пробормотала женщина и заплакала.

— Ну вот, Анна Павловна, снова дождик пошел! А я только что с дождя, обрадовался, что сухо.

— Не буду, не буду.

Она уже улыбалась, протягивая к нему крест-накрест скованные болезнью руки:

— Как прошлый раз, помните?

— Все помню.

...Тихая возня, стоны, облегченный вздох. Шелест простынь, хлопанье взбиваемых подушек. Он держал ее, легкую, большеглазую, одной рукой за спину, другой привычно, ловко поправляя постель. Опустил больную на подушки (одну под локоть), прикрыл одеялом. Она лежала счастливая, глядя куда-то перед собой поверх его головы.

— Ну блаженство! Как будто заново родилась! Знаете, Витя, ваше новое снотворное просто волшебно. Представьте, спала! Видела во сне покойную Машу. Она мне говорит: «Не обижай его». Я вас стараюсь не обижать, но поневоле приходится».

— Ну-ну, какая же это обида?

— Ну тяжесть. Лучше не буду говорить, а то опять заплачу. А днем я одним глазом немного читала. Если поставить книгу не прямо, а наискось, мне удается читать. Захотелось перечесть «Преступление и наказание». Тонюшка мне установила очень удачно. Последний раз я его читала еще здоровая, а на этот раз была поражена: какая жестокая книга! Достоевский вообще любил описывать страдания, но вымученные, самими людьми себе причиненные, понимаете?

— Понимаю. Много там лишнего, но в целом захватывает.

— Захватывает и даже отвлекает. Меня, например, отвлекло от самой себя. Витя, а почему Достоевский — такой знаток страдания! — ни разу не вошел в психологию парализованного человека? Эпилептики у него есть, чахоточные есть, а паралитиков нет.

— А Лиза Хохлакова в «Братьях Карамазовых»?

— Что вы! У нее не паралич, а кокетство.

— Может быть.

— Именно так. Но читать я много не могу, устает глаз, и я поневоле начинаю думать. По вашему совету стараюсь думать не о себе, а о других людях. Выдумываю их судьбы... Сегодня, представьте себе, выдала замуж нашу Тонечку. Муж у нее такой хрупкий, грациозный юноша, может быть даже артист балета.

— Ну, как раз артисты балета не хрупкие. Им нужны сильные мышцы.

— Этот был воображенный, а не реальный. Может быть, не артист балета, а полотер. Я однажды такого видела — идет грациозно, держа на отлете две щетки, как два цветка. Представляете себе?

— Представляю.

— Знаете, Витя, что меня тяготит? Что я забываю свои мысли. Если бы я могла их записывать...

— Давайте я вам поставлю магнитофон у постели. Придет в голову мысль, вы ее туда и скажете, все равно что запишете.

— Ох, как было бы хорошо!

— Будет сделано. А теперь примите таблетку и постарайтесь заснуть. Ладно? Только не плакать! Спите спокойно.

— Спокойной ночи, Витя.

Виктор Андреевич погасил свет, вышел в кухню. Тоня уже накрыла ему на стол. Скромный ужин, он же обед: холодные котлеты, черный хлеб, огурцы. Виктор Андреевич в привычках был неприхотлив. Пока он ел. Тоня отчитывалась ему в проведенном дне:

— После школы пришла, отпустила Наталью Ивановну, завтра она не придет. Покормила бабушку, хотела ее переложить, она сказала: будет ждать тебя. Готовила уроки. Геометрия очень трудная, не

поняла.

- Еще раз прочти.
 - Три раза читала, не помогает.
 - Что делать, разберемся вместе. В воскресенье.
 - А в пятницу контрольная!
 - Ладно. Завтра постараюсь прийти пораньше. А ты все-таки почитай еще раз. Может быть, поймешь сама. Еще что?
 - Звонила тетя Лена. Предлагала прийти помочь. Я сказала — не надо.
 - Молодец. Что еще?
 - Как будто ничего.
 - Ну иди спать. Будильник принеси мне. Поставь на половину седьмого. Дневник оставь, прогляжу.
- Тоня принесла будильник, дневник.
- Спокойной ночи, папа.
 - Спокойной ночи, Антоша.

Пока Тоня готовилась ко сну, Виктор Андреевич вымыл посуду, перетер, расставил по полкам и сел за стол заниматься. Первым долгом проглядел Тонин дневник, сделав на полях едва заметные птички, понятные только им двоим. Затем занялся английским: ему надо было выписать и заучить очередные сорок слов.

Так он вообще изучал языки. Сперва учил слова по сорок штук ежедневно. Не в алфавитном порядке, а в смысловом: начиная с простых и переходя к сложным. Когда их накапливалось двадцать тысяч, брал книгу и сразу начинал читать. Таким способом он уже одолел французский язык и теперь добивал английский. Произношение его не интересовало: важно было уметь читать. Каждое слово он произносил по буквам, как оно пишется (например, *that*, у него читалось «тхат», *write* — «врите»). Выписав порцию слов, он погружался в заучивание. Читал, закрывал глаза, пытался воспроизвести, шевеля губами; снова читал, опять закрывал глаза и так далее. Тень от его головы на стене раскачивалась, как огромная хохлатая птица.

Часа через два сорок слов были усвоены. Виктор Андреевич еще раз прочел их наизусть, подряд и вразброс, удовлетворенно вздохнул и принял стелить себе постель. Спал он тут же, в кухне на деревянном диванчике, накрытом байковым одеялом (уверял, что любит, когда жестко). Потушил свет, лег, выгнал из себя лишние мысли. В соседней комнате что-то забормотала Тоня. Виктор Андреевич улыбнулся и стал засыпать, слыша над ухом падающие звонкие капли будильника.

ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

«Чтобы выходила собачка».

Не так давно, навещая Варвару Владиславовну (она болеет), я познакомился с ее давнишним другом, известным режиссером В. Он сед, стремителен, ярок. Первое, что он сказал, войдя в комнату, было:

- Товарищи, час тому назад я бросил курить. Что мне делать?
- Не курить, — глуповато ответил я.
- Разве что так, — сказал он и приложился к руке Варвары Владиславовны.
- Она по-старинному поцеловала его в лоб.
- Хворать-то бы, хворать не надо, — заметил он.
- Что поделаешь, годы!

Какая-то милая обыкновенность была в этом разговоре. Тысячи людей уже обменивались точно такими репликами, и тысячи еще будут обмениваться.

Чем старше я становлюсь, тем больше меня трогают банальности. Желание быть не таким, как все, — удел юности. В старости мы хотели бы быть как все, но уже не можем.

За чаем В. много рассказывал о своей жизни, о прошлом (жизнь была более чем пестрая), о театре, об актерах. Время от времени он вынимал из кармана серебряный портсигар, убеждался, что он пуст, и клал обратно в карман. Физическим наслаждением было слушать его речь — плавную, звучную, со старомосковским (ныне редким) произношением. Он, например, говорил «тьвердо», «съмерть»…

Один его рассказ, о собачке, меня поразил. Попытаюсь его передать как можно точнее.

— Когда-то, — рассказывал В., — живя на Севере, я работал в сугубо провинциальном театрике с очень посредственными актерами. Ставили мы довольно посредственную пьесу. Один из актеров, старик, всегда приходил на репетиции со своей собачкой. После конца репетиции он каждый раз вел собачку в буфет, где угощал ее чем-нибудь вкусным. В течение всей репетиции собачка смирно сидела под столом хозяина и ждала. Как только репетиция кончалась, она немедленно вылезала из-под стола и выходила на сцену. Как она догадывалась, что репетиция кончена? Очевидно, по тому, что люди переставали говорить деланными, актерскими голосами и переходили на обыкновенную человеческую речь. Случилось так, что в наш городок попал (не по своему желанию) один по-настоящему талантливый актер (назовем его А.). Он был принят в театр и получил роль в той пьесе, которую я режиссировал. Началась репетиция. И что же? Как только заговорил А., на сцену немедленно вышла собачка. Вот, — заключил свой рассказ В., — надо всегда так работать, чтобы выходила собачка.

КОТ-ВОРЮГА

Наши кафедральные бури почти не выходили наружу: кипение шло в пределах одного слоя. Я не раз думала о слоистом строении общества: отдельные слои живут, почти не смешиваясь. Активное общение происходит внутри слоя, соприкосновения с другими эпизодичны. Вот и наша кафедра живет довольно изолированно и мало соприкасается с другими. В институте к нам отношение сложное. Нас, в общем, уважают и даже побаиваются, но на специальных технических кафедрах принято считать, что мы с нашими математическими тонкостями далеки от жизни. Если под жизнью понимать наивную технику с ее, как говорят, «шурупчиками», то, пожалуй, они правы. Если же понимать технику будущего, технику в полете — пожалуй, не правы. Влияние Энэна (вернее, его записок) на меня сказалось покуда только в том, что я чаще, чем прежде, говорю «пожалуй».

Итак, другие кафедры посматривают на нас с уважительным пренебрежением. Впрочем, отчасти и с завистью. За последние годы их охватила какая-то лихорадочная любовь к математике. Любовь, я бы сказала, отнюдь не взаимная. Сейчас любую научную работу (тем более диссертацию) принято облекать в математические одежды. Это хороший тон, латынь нашего времени. Чем сложнее примененный аппарат, тем лучше. Они обвешивают свои работы кратными интегралами, кванторами и матрицами, как в свое время купчихи обвешивались драгоценностями. У нас, профессионалов, наоборот: чем более простым аппаратом удалось обойтись, тем лучше.

Из этого вовсе не следует, что они неучи и в своем деле не смысят. Напротив, чисто техническая сторона у них, как правило, на высоте. Это дальние, реальные знания, ничего, кроме уважения, не вызывающие. Но когда они пускаются в математику, обычно это выходит так, как если бы, скажем, Семен Петрович Спивак в своих вельветовых брюках стал танцевать партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».

Одна из смежных и по названию родственных нам кафедр особенно лихо пустилась за последние годы в математические пляски. Возглавляет ее профессор Яковкин — пухлый, широкий, валльянжный человек со вкрадчивой улыбкой на округлом, книзу оплывшем лице. Звание профессора он получил когда-то давно, без защиты докторской, а по совокупности мнимых заслуг и действительных знакомств. В институте у нас идет кампания за сплошную докторизацию кафедр (именно в качестве доктора был предпочтен Флягин нашему Кравцову). Недавно прошел слух, что всем заведующим кафедрами (кроме языковых, военной и физкультурной) будет предложено либо в срочном порядке защитить докторские, либо расстаться с институтом. Принцип «доктор = ученый» сам по себе достаточно глуп. Например, наш завлаб Петр Гаврилович, великолепно знающий технику, ценнейший специалист, и помыслить не хочет о том, чтобы защищать докторскую: «Что вы, братцы, какой я доктор? По виду никто не верит, что у меня высшее образование». А иные научные ничтожества, не стоящие его ногтя, давно доктора.

В числе других заведующих кафедрами, не имеющих докторской степени, забеспокоился, забил хвостом и профессор Яковкин. Недавно прошел слух, что он собрался защищать докторскую. Полное его невежество во всех без исключения вопросах было общеизвестно, поэтому слух был встречен с сомнением, но оказался верным. Чудеса!

Я этим делом не очень-то интересовалась по причине все той же слоистости общества. Мало ли где, кто и что защищает. Но ко мне пришел Паша Рубакин. Он вообще посещает мой дом, но ходит не ко мне — к Сайкину (что их связывает — неясно). На этот раз он пришел ко мне и, как всегда, начал разговор издалека, туманными наплывами. В сочетании с его потусторонним голосом эта система косвенных подходов к теме всегда меня раздражает.

— Нина Игнатьевна, мне надо с вами посоветоваться по одному очень важному, не только для меня, вопросу, имеющему даже общественное звучание. Вы не против?

— Почему я могу быть против? Валяйте, советуйтесь.

— Дело вот в чем. Нина Игнатьевна, любите вы Паустовского?

— Смотря что. Некоторые вещи люблю.

— Согласны ли вы, что это один из наших крупнейших писателей-юмористов?

— Ну не знаю. Я его как юмориста не рассматриваю.

— И напрасно. Читали вы, например, его рассказ «Кот-ворюга»?

— Не помню. Кажется, нет.

— Обязательно прочтите. Чтобы понять сущность моего дела, вам непременно надо познакомиться с этим рассказом.

— А без этого нельзя? Расскажите своими словами.

— Нельзя. Необходим подлинник.

— Бросьте, — сказала я, теряя терпение. — Где я сейчас возьму Паустовского?

— Я вам его принес, — радостно ответил Паша и вынул из кармана затрапанный томик. — Вот, смотрите, читайте:

«Кот-ворюга».

Недоумевая, я принялась за чтение. Рассказ в самом деле забавный, смешной. Речь идет о вороватом коте, терроризировавшем дачников. Написано славно, свежо, я несколько раз рассмеялась вслух. Рассказ недлинный, я быстро его прочла и спросила:

— Ну и что, Паша?

— Сейчас приступлю к делу. Вот моя иллюстрация к этому рассказу.

Он вынул, на этот раз из другого кармана, перфокарту и подал мне. На ней была изображена широкая, расширенная книзу кошачья морда, в которой я сразу узнала профессора Яковкина. Под ней славянской вязью было написано: «Кот-ворюга».

— Ваша работа? — спросила я.

— Моя, — скромно потупившись, ответил Паша.

— Довольно похоже. А что это значит?

— Кот-ворюга.

— В каком смысле?

— В самом прямом.

Понять его было невозможно.

— Ну вот что, Паша, бросьте ваше хождение по мукам. Либо говорите напрямик, в чем дело, либо кончим разговор, мне надоело.

Паша испугался и рассказал напрямик историю довольно неприглядную. Суть сводилась к следующему.

На кафедре Яковкина работает ассистентом его, Пашин, приятель Володя Карпухин. Парень безответственный, трудолюбивый. Вот уже несколько лет работает над кандидатской диссертацией под номинальным руководством профессора Яковкина («О настоящем руководстве речи быть не может, ибо Яковкин — научный стул»). Некоторые разделы работы Карпухина опубликованы в соавторстве с научным руководителем, причем фамилия Яковкина, последняя по алфавиту, всюду стоит первой.

До сих пор это не выходило за пределы обычных норм: многие начальники вступают в соавторство со всеми своими подчиненными («Современное право первой ночи», — сказал Паша). Но вот недавно Яковкин представил докторскую диссертацию, основное содержание которой составили работы Карпухина, самому же Яковкину принадлежала только связующая болтовая.

— Как посуду пакуют, знаете? Тарелка — стружка, тарелка — стружка... Так вот, в диссертации все

тарелки Володины, а вся стружка Яковкина.

Я, конечно, возмутилась:

— А что же ваш Володя не протестует?

— Мой Володя очень скромный парень. Может быть, он и протестовал бы, но на всех его работах в качестве соавтора приписан Яковкин. Теперь доказывай, что ты не верблюд...

— Зачем же он Яковкина приписывал?

— У них на кафедре так принято. И без этого его бы не напечатали. В журналах положение сложное, бумаги нет, листаж сокращают. Без Яковкина он в лучшем случае ждал бы публикации два года. А у кота-ворюги мощные связи. Под его флагом все проскаивает как по маслу. У Володьки уже четыре публикации, и все в соавторстве с Яковкиным.

— Почему же он на кафедре не объявит прямо, в чем дело?

— Понимаете, парень скромный, стеснительный. Совести у него навалом. «Сам же я, — говорит, — его в соавторыставил и сам же теперь отопрусь — неудобно». Да и другие его не поддержат — боятся ворюги.

— Чего же вы от меня хотите? — рассердилась я. — Ваш Володя, какunter-офицерская вдова, сам себя высек, а я должна в это дело соваться?

— Угу. Больше некому.

— Да я их специфики не понимаю.

— Ничего, поймете. Там специфика только в стружке, и то кот наплакал, а тарелки — одна математика.

Сколько я ни сопротивлялась, втравил-таки меня Паша в это кляузное дело. Принес мне статьи Володи Карпухина и докторскую диссертацию Яковкина. Как говорят, один к одному. Вся содержательная часть совпадала до буквы; самому Яковкину принадлежала только стружка — пухлая, взбитая, полная демагогических призывов, ссылок на решения и постановления. На это ушло у меня несколько дней. Опять ко мне пришел Паша:

— Ну как — ворюга?

— Ворюга, — согласилась я. — Спору нет.

— Что же делать будем?

— Что-нибудь придумаем. Пришлите-ка ко мне своего стеснительного Володю Карпухина. Подумаешь, красная девица!

Пришел Володя. Долго вытикал ноги, извинялся. Не красная девица, а вроде: тоненький, черненький, глазастый, с узкими плечами в широком свитере, свисающем до колен. Он явно меня побаивался: я была для него научный авторитет, классик... Смешно! Я пыталась его подбить на борьбу, но безуспешно.

— Вы понимаете, Нина Игнатьевна, я же ему эти работы своими руками все равно как подарил... Это нечестно будет — подарил и отнял. Лучше я напишу другую диссертацию.

«Дурак», — хотела я сказать, но удержалась.

— Поймите, это дело касается не вас одного. Вы поощряете научный паразитизм. Такие, как Яковкин, питаются чужой кровью. Подкармливать их — это значит наносить удар по нашему общему делу.

Опять я чувствовала, что говорю слишком связно, гладко и, в общем, неубедительно. Такое сознание постоянно мешает мне говорить с молодыми. Мысль об общем деле была Володе Карпухину явно чужда: в данной ситуации он видел только себя и Яковкина...

— Нет, — сказал он, — я против него выступать не буду. Пусть защищается.

Видно, он так понимал благородство. Я рассвирепела:

— Какого же черта вы меня посвящали во всю эту белиберду? Битую неделю я ухлопала на вашу с Яковкиным продукцию! Что я вам, научный ассенизатор? Думаете, мне это интересно? Черта с два!

Словом, разбушевалась. Даже Сайкин вышел из кухни посмотреть, в чем дело.

— Оставь нас, — сказала я ему голосом вдовствующей королевы.

Он пожал плечами и вышел.

— Простите меня, — пробормотал Володя.

— Бог простит, — ответила я, напугав его еще больше.

В общем, сволочью у меня характер! «Не проходи мимо, бей в морду!» — называет его Маркин. Оставить бы все как есть, не вмешиваться. Нет, я не могла. Вместо этого естественного мирного шага я провела еще несколько воинственных дней. Еще раз изучила совместные труды Яковкина — Карпухина (в обратно-алфавитном порядке) и даже нашла в них несколько мелких ошибок. Достала в библиотеке труды самого Яковкина (без соавторов). Они оказались немногочисленными и состояли главным образом из призывов к деятельности («Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы!»). Был у него еще альбом конструкций — труд солидный, но ни с какого боку не научный. Зато в соавторстве оказалось у него трудов премножество. Ни один сотрудник его кафедры не мог что-либо опубликовать, не поставив на титульном листе первым профессора Яковкина. Научная ценность этих работ, как я понимаю, была невысока. Кое-где встречались прямые ошибки, но главное было не в них. В работах Яковкина со товарищи поражало наполнявшее их научное пустозвонство. После каждого абзаца хотелось спросить: ну и что? В изобилии встречались математические фиоритуры, никакого отношения к делу не имевшие, а игравшие скорее роль боевой раскраски дикаря. Некоторые из них были буквально списаны с известных учебников и монографий, даже со всеми опечатками. Остальные, очевидно, тоже были откуда-то списаны, только я не знала откуда. Автор, судя по его собственной научной стилистике, вряд ли сумел бы даже правильно раскрыть скобки. Решительно на этом фоне Володя Карпухин выглядел звездой первой величины.

В общем, все это сделалось каким-то моим наваждением. Однажды я даже видела во сне Яковкина в парчовых трусиках (верх неприличия). Вороша этот мусор, я спрашивала себя: «Ну на что я убиваю свое время?» — но перестать уже не могла. Мной овладел какой-то гнусный азарт. Иногда я чувствую себя чем-то сродни моему врагу Флягину — он тоже, занявшийся какой-то проблемой, впивается в нее бульдожьей хваткой и уже не может разжать челюстей. Разница в том, что он со сжатыми челюстями живет всю жизнь, а я только время от времени. К концу двух-трех недель я уже была законченным знатоком всей проблематики и трудов кафедры Яковкина и полностью вооружена для предстоящего выступления на совете.

За моей малоосмысленной деятельностью с насмешкой наблюдал Лева Маркин.

— Ну зачем вы роетесь во всей этой дряни? Ей-богу, жемчужного зерна вы там не найдете. Ради чего вы тратите время?

— Ради справедливости.

— Ох, как пышно. Женщина Дон Кихот, верхом на Росинанте воюющая с мельницами... Ей-богу, это не делает вас привлекательнее.

Что-то новое. Такого я от Левы Маркина еще не слышала. Он приобретает самостоятельность. Ну что ж, давно пора. И все-таки грустно...

Но речь о Яковкине. Наступил наконец день защиты его диссертации. Я не член институтского большого совета, где защищаются докторские, и не имею отношения к кафедре Яковкина. Мое появление на совете было встречено с недоумением: делать ей нечего, что ли? (Разумеется, молча.) Флягин был тут и направил на меня взор василиска. «Эх, напрасно я в это дело ввязалась!» Но отступать было поздно.

Вся кафедра Яковкина пришла болеть за своего главу, и Карпухин в том числе — тоненький, грустный, как побитый морозом цветик. Я ему кивнула, он поглядел на меня со страхом. С опаской глядел на меня и сам диссертант, который сидел в переднем ряду, нервно оглядываясь. Профессор Яковкин сзади был еще больше похож на кота, чем анфас. Щеки торчали из-за ушей, а усы торчали из-за щек.

На многочисленных плакатах, приколотых к щитам, красовались формулы Володи Карпухина и иллюстрирующие их графики. Со стороны все это выглядело внушительно: экую машину человек поднял!

Началась защита. Ученый секретарь огласил документацию, после чего слово было предоставлено диссертанту. Уже оправившись от шока, вызванного моим появлением, он мягко, котом ходил взад и вперед вдоль плакатов, время от времени тыча в какой-нибудь из них указкой и восклицая: «Эта формула свидетельствует...» — или: «Отсюда со всей очевидностью следует, что...» Докладывал он

довольно бойко и складно — видно, не пожалел времени на подготовку. Только изредка, беря с разгона какой-нибудь экзотический термин, опасливо щурил глаза. Володя Карпухин шевелил губами, беззвучно произнося им же, видимо, сочиненный текст. Яковкин уложился точно в отведенное ему время, затем оперся на указку, не без грации обвил ее ногой и поблагодарил собравшихся за внимание.

— У кого есть вопросы к диссертанту?

Члены совета один за другим вставали и задавали вопросы. По-моему, вопросы в таких случаях задаются не для того, чтобы что-то выяснить, а чтобы показать собственную эрудицию и понимание работы. На самом деле подавляющее большинство присутствующих работы не понимает, да за время доклада и невозможно ее понять. Предполагается, что члены совета загодя знакомятся с диссертацией; это чистая фикция. Чтобы толком в ней разобраться, нужно время, и немалое, не меньше двух-трех недель (сужу по себе), а у кого это время есть? Приходится симулировать понимание, а для этого вопросы — лучший способ. Впрочем, я была зла и, возможно, несправедлива. Некоторые вопросы (по технической части) были вполне осмысленные. Яковкин отвечал на них быстро, с маxу. Мне не нравилась именно эта быстрота, наводившая на мысль, что вопросы были подготовлены заранее, но на аудиторию ответы Яковкина впечатление производили. Председатель одобрительно кивал ему головой в форме бильярдного шара.

— У кого есть еще вопросы?

Я подняла руку. Несколько членов совета повернулись в мою сторону: что за личность? Я спросила:

— В вашей работе, выполненной совместно с Карпухиным, утверждается, что... (И далее ряд специальных терминов.) Вы по-прежнему придерживаетесь такого мнения?

Кот-ворюга насторожился: нет ли тут подвоха?

— Ведите ли, — сказал он, — работа, о которой вы упомянули, уже трехлетней давности. Естественно, с тех пор наука продвинулась вперед.

— Так что сегодня вы не настаиваете на этом утверждении?

— Нет, не настаиваю.

— Почему же тогда на странице сто тридцать второй вашей диссертации, которую вы защищаете сегодня, а не три года назад, буквально повторяется то же самое утверждение?

Яковкин морально заметался.

— Видите ли, товарищ Асташова, при выводе этого положения мной применен довольно тонкий математический аппарат, входить в подробности которого здесь не место. Я охотно удовлетворю ваше любопытство потом, в кулуарах.

Я обозлилась:

— Случайно я по образованию математик, посвящена в тонкости этого аппарата и хочу услышать от вас здесь, а не в кулуарах, правильно это положение или нет.

Совет загудел скорее одобрительно. Любая драка на защите — бесплатный аттракцион. Яковкин замялся:

— Ну, знаете, на такой вопрос нельзя отвечать однозначно. С одной точки зрения правильно, с другой — неправильно.

— Ну а с вашей точки зрения?

Я перла на него, как танк на солдата.

— С моей? Скорее неправильно. По рядам опять пробежал шумок. Наполовину сочувственный Яковкину, наполовину мне.

— А с моей точки зрения, — сказала я медленно, чуть ли не по слогам, — положение это совершенно правильно. Только у вас с Карпухиным оно выведено некорректно. И я вам сейчас у доски могу его доказать. Позвольте? — обратилась я к председателю.

— Может быть, — осторожно сказал он, — мы не будем отвлекать внимание совета сложными преобразованиями?

— Преобразования как раз несложные. Чтобы их выполнить, достаточно двух минут. Тонкость аппарата диссертант явно преувеличил.

Председатель колебался. Шум в зале крепчал. Кто восклицал: «Пусть докажет!» — кто: «Не стоит!» Встал Флягин и со своей вечной улыбкой заявил:

— Предлагаю перенести спор на доску. Читая диссертацию, я тоже обратил внимание на это слабое место.

У Яковкина был вид кота, затравленного собаками. Казалось, вот-вот он распластается по стене. О чем шла речь, он явно не понимал. Зато Володя Карпухин понимал отлично и был краснее своих ушей.

— Прошу, — сказал председатель. Отодвинули в сторону щит. Я вышла к доске, взяла мел и в нескольких строках доказала спорное положение.

— Эх я дурень! — неосторожно воскликнул Володя и тут же сник.

Яковкин отступал настороженно:

— Видите ли... продемонстрированное вами доказательство действительно очень изящно... Обещаю учесть его в своей дальнейшей работе.

— А в чем была ошибка вашего? — безжалостно спросила я.

— Сейчас, в ходе защиты, я не берусь на этот вопрос отвечать.

Ладно. Один — ноль.

— Есть у вас еще вопросы? — спросил председатель.

— Есть. Я хочу спросить у диссертанта, как из формулы пятнадцать на плакате четвертом выводится формула девятнадцать на плакате пятом?

Яковкин подошел к плакатам осторожно, как к зияющей полынье. Нашел указанной формулы, спросил:

— Эта? Эта? Я подтвердила.

— Как выводятся? Элементарно. С помощью тождественных преобразований.

— Очень странно, — сказала я, — так как эти формулы представляют собой два противоречащих друг другу допущения.

Яковкин молчал, шевеля усами. Отлично: два — ноль.

— Еще вопросы? — спросил председатель, не скрывая неудовольствия. Это уже становилось неприличным.

— А как же, есть, — сказала я залихватски. — Я бы попросила диссертанта уточнить, какова доля его личного участия в работах, приведенных в литературе под номерами сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят и опубликованных им в соавторстве с Карпухиным?

Володя в ужасе закрыл лицо руками.

— Знаете ли, — сказал Яковкин, — долю участия в совместных работах трудно оценить в процентах. Мне принадлежат идеи, постановка вопроса, а Карпухину — конкретная разработка. Каждому свое.

— Разрешите еще один, на этот раз последний вопрос. Если работа выполнена в соавторстве, должен ли каждый из авторов понимать все, что в ней написано?

— Ну, в общих чертах, конечно, да... — неопределенно ответил Яковкин.

Совет загудел. Яковкин, как говорят, подставился...

— Еще вопросы?.. Вопросов нет. Продолжим защиту. Мы должны ознакомиться с отзывами на диссертацию и автореферат. В адрес совета поступило двадцать восемь отзывов...

— Много! — крикнул кто-то с места.

— Перебор! — поддержал другой.

Традиция требует десять, ну от силы двенадцать отзывов. Перспектива выслушать двадцать восемь вызвала строптивые протесты.

Шум не утихал.

— Товарищи, товарищи! — взывал председатель. — Товарищи, будьте дисциплинированными! — силился навести порядок председатель. — Любое отступление от процедуры приведет только к затрате времени.

Упоминание о затрате времени несколько отрезвило аудиторию. Шум затих. Ученый секретарь — точный, серьезный, тонкий, как карандаш, — начал чтение отзывов. Единообразно восхваляющие, они были похожи друг на друга, как братья, отмечены общим неумеренным пышнословием, даже одинаковыми риторическими фигурами, словно бы их писала одна и та же блудливая рука... Впрочем, уже через несколько минут никто по-настоящему не слушал. Беда в том, что на присутствующих напал

смех. В самых неподходящих местах они начинали смеяться. Как будто привычная церемония вдруг предстала перед ними в костюме голого короля. Смех порхал по залу, подпрыгивал, перекидывался из ряда в ряд. Перекатился даже к столу президиума, и засмеялся сам председатель, тряся бильярдным шаром. Дольше всех держался ученый секретарь. Весь в поту, он продолжал чтение, но вдруг, споткнувшись на сливе «эпохально», засмеялся и он...

Председатель, опомнившись, призвал к порядку:

— Товарищи, серьезнее! Мы ограничены временем!

Начались выступления оппонентов. Первый — скучный, понурый — был ужасно похож на старую заезженную лошадь и даже вздрагивал кожей, как будто его ели слепни. Отзыв его был длинный, как веревка, положительный до отвращения, и читал он его, не поднимая глаз, углубившись в текст, как лошадь в торбу с овсом... Те места отзыва, где говорилось о «виртуозном владении математическим аппаратом», совет встретил веселым хихиканьем. В целом настроение складывалось не в пользу Яковкина...

Второй оппонент — толстый, медовый — учел обстановку и читать свой отзыв не стал, перешел на устное творчество. Его выступление было примирительно, интимно.

— Товарищи, неужели мы будем спорить из-за каждой буквы? Важна не буква, а дух. Работа профессора Яковкина в целом представляет собой крупное научное достижение. В отличие от многих, строящих воздушные замки (кивок в мою сторону), профессор Яковкин ходит по земле. Его работа уже внедрена в практику. По методике профессора Яковкина у нас в КБ уже два года ведутся расчеты. Эта методика дает огромный экономический эффект...

И начал сыпать цифрами сэкономленных миллионов. Я-то по опыту знаю, как легко обосновать экономическую эффективность методики (время от времени от нас это требуют). Стоит задаться несколькими взятыми с потолка цифрами, предположить, что достаточно долго будут продолжать пользоваться старой методикой взамен прогрессивной новой, и, смотришь, набежала изрядная сумма. Один раз Паша Рубакин подсчитал экономическую эффективность теоремы Пифагора — получилось нечто астрономическое...

Под ливнем миллионов, обрушенных на совет вторым оппонентом, искушенные люди только посмеивались; неискушенные были впечатлены. Баланс начал склоняться в пользу Яковкина.

Неожиданно повел себя третий оппонент — человек сухой, узкий, резкий, этакий седой нож:

— Мой отзыв на диссертацию представлен в ученый совет. Отзыв в целом положительный. Чтобы изменить его на отрицательный у меня нет данных. Можно, я не буду выступать?

Ученый секретарь сказал, что нет, выступать обязательно. Третий оппонент спросил, бывают ли случаи, когда кто-нибудь из оппонентов не выступает. Ученый секретарь сказал, что да, бывают в случае болезни оппонента.

— Тогда занесите в протокол, что я заболел. Мне стало тошно, — сказал третий оппонент и вышел из зала.

Совет бурлил, как группа болельщиков перед экраном телевизора. Кто одобрял, кто возмущался. Многие повскакали с мест. Председатель (мне было его искренне жаль) кое-как навел порядок, яростно стучал карандашом по графину и воскликнул: «Товарищи!» — а затем спросил ученого секретаря:

— Как полагается поступать в случае внезапной болезни оппонента?

— Его отзыв зачитывает ученый секретарь.

— Так и поступим.

Члены совета, уже разболтавшиеся, плохо слушали отзыв третьего оппонента. Не столь хвалебный, как первые два, он все же был положительным и содержал серьезные замечания, которые тоже встречались взрывами смеха...

Когда перешли к выступлениям, зал уже угомонился. Первым взял слово Флягин:

— Я не ставлю под сомнение научную ценность диссертации. Я с ней ознакомился. Серьезное исследование. Докторская или кандидатская — трудно сказать. Недаром говорят, что докторская — это диссертация, которую защищает кандидат. Если бы с этой диссертацией выступил, скажем, Карпухин, она была бы полноценной кандидатской. Сейчас речь идет не о ценности работы. Поставлено под сомнение авторство. Дело даже не в том, что диссертант использовал чужие материалы, а в том, что он

их не понял. В этом меня убедили его ответы на вопросы Нины Игнатьевны. Я буду голосовать против и призываю членов совета последовать моему примеру.

Еще чего не хватало — быть поддержанной Флягиным! Этот изувер, этот кощей бессмертный выбивал почву из-под моей любимейшей ненависти! «Нет, дудки, не выйдет!» — думала я.

Дальнейших выступлений я не слушала. Некоторые были за, некоторые против. Мне уже надоело. Зря я в это дело ввязалась, черт побери Пашу с его приятелями!

В заключительном слове Яковкин с поникшими усами благодарил оппонентов и рецензентов, обещал учесть их замечания в дальнейшей работе...

— Что касается вопроса об авторстве, который здесь муссировался, и, по-моему, напрасно, то этот вопрос вообще тонкий. Работая в коллективе, люди проникаются идеями друг друга, начинают жить как один организм. Успех одного есть в то же время успех коллектива. Взаимной зависти тут не место. Я, например, счастлив, что на моей кафедре работают такие талантливые молодые специалисты, как Карпухин и другие. Когда придет их время защищать диссертации, я первый подам им руку помощи...

— Тут он прямо посмотрел на меня. Его кошачья морда хитро ослабилась, усы привстали. — Товарищи, я подвергся резкой критике со стороны Нины Игнатьевны Асташовой. Но критика должна сопровождаться и самокритикой. Позволено ли мне будет спросить Нину Игнатьевну: каковы были ее научные взаимоотношения с покойным профессором Завалишиным? Может ли она по совести сказать, что ее кандидатская диссертация сделана самостоятельно?

Я даже растерялась. Ну и наглец!

Поднял руку Флягин:

— Позвольте мне как заведующему кафедрой ответить на этот вопрос. Задав его, диссидент явно перепутал понятия. Одно дело пользоваться идеями своего научного руководителя и совсем другое — своих подчиненных. Другой моральный аспект. Что касается диссертации Нины Игнатьевны, то я ее хорошо знаю, как и работы покойного профессора Завалишина, и могу утверждать, что диссертация сделана самостоятельно. Это видно по ее научному стилю,циальному от завалишинского. Более того, — тут он повернулся в мою сторону тусклое очкастое лицо, — Нина Игнатьевна скорее склонна дарить свои работы, чем присваивать чужие...

Ах змей! Неужто догадался? У меня прямо горло перехватило. Но я взяла себя в руки и сказала:

— Я не нуждаюсь в заступничестве кого бы то ни было. Даже заведующего кафедрой. На ваш вопрос, — обратилась я к Яковкину, — отвечу, что, разумеется, многие идеи моего научного руководителя я использовала в своих работах. Но я всегда на него ссылалась и в любом случае понимала все без исключения, мною написанное.

...Кончилось все это тем, что Яковкина провалили. Когда я уходила, его затылок и уши выражали такую смертную тоску, что я усомнилась в своей правоте. Зачем были эти театральные эффекты? Не лучше ли было бы, не доводя до защиты, заранее с ним потолковать?

По человечеству лучше. А из соображений общей справедливости? Не знаю. Спектакль был полезен не для данного конкретного кота-ворюги, а для других, потенциальных ворюг, чтобы неповадно было.

— Добились своего? — спросил меня на другой день Лева Маркин. — Наелись человечины?

— Идите к черту! — сказала я.

— С наслаждением! — ответил он. По его лицу видно было, что он и в самом деле уходит от меня с наслаждением. Что поделаешь...

Кто торжествовал, так это Паша Рубакин. Он даже Сайкину звонил и говорил о моем величии.

ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

Думаю о плохих людях. Вернее, о тех, кого принято считать плохими. Многие из них плохи не вообще, а субъективно — для нас. Плохость человека — это скорее душевное состояние других людей, его воспринимающих и о нем судящих. Например, всегда ли объективно плох человек, не вступившийся за другого из робости? Чаще всего это так. Но ведь, возможно, эта робость скорее свойство нервной системы, чем душевной организации. Возьми такого человека за руку, поведи за собой — пойдет.

Это я понимаю, потому что сам в детстве знал страх. Сила его в некоторых обстоятельствах была

непреодолима. Вылечил меня от него Пулин. Лучший способ борьбы с трусостью — смех. Смеющийся человек в каком-то смысле становится богом. Он уже недоступен чудовищам — жизненным страхам.

Лично я (за исключением раннего детства) трусом, пожалуй, не был. Хотя и серьезных испытаний на смелость не проходил. Волей судьбы мне почти не пришлось воевать. Для Первой мировой войны я был слишком молод, для Второй слишком стар. Воевал я — чуть-чуть — только в гражданскую. Вернее, не воевал, а чистил лошадей. По близорукости для строевой службы я не годился. Оружия в руки не брал, но хорошо знаю, как себя чувствуешь, когда по тебе стреляют. Неприятно. На меня всегда в таких случаях нападало какое-то оцепенение, внешне похожее на смелость. Я запаздывал вздрагивать на звуки разрывов, время для меня растягивалось как резина. Свойство нервной системы.

В той же конюшне со мной вместе ходил за лошадьми другой нестроевич, по тогдашним моим понятиям глубокий старец, лет сорока — сорока пяти. Этот человек, интеллигентный и порядочный, был органическим трусом. Он буквально не мог себя заставить выйти из блиндажа во время обстрела. Мне его психология была недоступна, так же как ему моя. Иногда я его спрашивал: «Ну неужели вы неспособны взять себя в руки?» На это он отвечал: «Не дай вам бог когда-нибудь узнать состояние, когда надо взять себя в руки, а рук-то и нет».

И все-таки однажды этот человек взял себя в эти отсутствующие руки. Как-то во время обстрела меня ранило. Я упал. Он видел это и так испугался, что у него выросли руки. Он вылез из блиндажа и вытащил меня, бессознательного, из-под огня. Для него это было великим подвигом, и до сих пор я об этом вспоминаю с благоговением.

Главная причина трусости — неизвестность. Человек не знает, что ему предстоит, и трепещет. Иному надо сказать: «Ну, чего ты боишься? Что с тобой будет, в конце концов?»

Всего ужаснее — трусливый стариk. Ему нечего терять, а он боится. Ну что, в конце концов, ему грозит? Потеря положения? Состояния? Еще смешнее. Жизни? Она уже прожита. Трусливый академик — это нонсенс.

И еще одно соображение: любой плохой человек для самого себя, внутри себя — прав. Он не мог бы жить, сознавая себя плохим. Он воздвигает систему самооправданий, своего рода внутренних укреплений.

Суди о нем не снаружи. Войди мысленно в его душу, постарайся понять, на чем он укрепил свое равновесие. Как он сам себя видит и чем себя оправдывает?

Умение влезать в чужую шкуру — грустный дар, которым награждает человека жизнь. К сожалению, этот дар чаще достается старым, немощным, обиженным жизнью, чем молодым и дееспособным.

Я убежден: даже самый плохой человек податлив на ласку и одобрение. Восхищайся им (только искренне!), и он будет с тобою счастлив и добр.

Часто мы начинаем считать людей плохими, несимпатичными только из лени. Жизнь наша перегружена впечатлениями. Каждый новый человек, с которым она тебя сталкивает, требует внимания, а оно у нас не безгранично. Нельзя вместить в себя всех и каждого. Поэтому мы торопимся невзлюбить человека, который ни в чем не виноват, попросту подал заявку на наше внимание. Объявив кого-то неприятным, мы как будто снимаем с себя вину за невнимание. Мы рады придаться к любому поводу, чтобы не полюбить человека. Одного мы не любим за то, что он толст, другого за то, что шмыгает носом, третьего за пристрастие к уменьшительным. Часто меня удручают мысль об изобилии недоброжелательства, среди которого мы живем. Нашего к другим людям и других людей к нам. Невольно вспоминаются строки из «Скупого рыцаря»:

Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земли все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В моих подвалах верных...

Так вот если бы внезапно, каким-то чудом стали слышными все заочные высказывания одних людей

о других, более того — все недобрые мысли, мы бы захлебнулись в море недоброжелательства. Каждый из нас по-своему в нем повинен.

Я, стариk, пытаюсь не осуждать людей. Но и я виноват: я остро не люблю Кравцова. Бываю к нему несправедлив (внутренне всегда, а иногда и внешне). Пытаюсь разобраться в причинах этой острой антипатии. Эгоист? Конечно, но не он один. Карьерист? Многие карьеристы (я уже нет). Любит поговорить? Многие любят. Я сам на старости лет стал отвратительно болтлив. Меня раздражает не сама по себе его болтливость, а обкатанность его речи. Тут я, пожалуй, несправедлив. Есть люди (из тех, что поздно выучились правильно говорить), для которых штампованные фразы — своего рода достижение. Такой человек наслаждается своим уменьем называть одну за другой гладкие фразы, чтобы выходило совсем как в газете. Нечто похожее испытывал я, когда, попав за границу, вел разговоры на малознакомых мне языках. Сам факт гладкой, правильной речи — уже достижение.

Явное желание Кравцова стать заведующим кафедрой поставить в вину ему я не могу. Он человек молодой, ему интересно заведовать кафедрой. Способности у него есть, как научный работник он заслуживает уважения.

В результате, если вдуматься и разобраться как следует, главной причиной моей неприязни к Кравцову оказывается то, что у него фигура не суживается, а расширяется к поясу. Нечего сказать, причина... Позор!

СУДЬБА МАТВЕЯ

Осенью к Люде приехала погостить мать Евдокия Лукинична. Познакомилась с внуком и, конечно, сразу же в него влюбилась. Устроились, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Бабушке отдали Людину койку, а Люда ставила себе на ночь хромую раскладушку из запасов списанной мебели, хранившейся в закромах Клавды Петровны. Когда завершались приготовления ко сну, в комнате не оставалось места даже для тапок. Кое-как втискивались по своим местам, ушибая бедра о мебель.

Бабушка мало того что возилась с Матвеем, еще взяла на себя все хозяйство. Была она из тех тихих умелых русских женщин, которые все делают споро, незаметно и хорошо. Такая, может быть, и не остановит коня на скаку и в горящую избу побоится войти (разве если там внучек), но простой своей тишиной и скромностью поможет жить. Люда с Асей, освобожденные от забот, пылко ринулись в учебу. Люда ликвидировала хвосты, сдала курсовую, висевшую над ней еще с прошлого года. Ася под руководством Асташовой написала научную работу из области самонастраивающихся систем. Работала с увлечением, даже по ночам при свете ночника. Сделала доклад на студенческом научном обществе; доклад выдвинули на конкурс, и он получил первую премию. Ася была счастлива безмерно, особенно гордилась одобрением своего научного руководителя. Нину Игнатьевну она всегда уважала, а теперь, поработав с нею бок о бок, зауважала еще больше.

— Ой, Люда, до чего же она понимающая — просто ужас! Ей еще только начнешь рассказывать, раз-два, а она уже поняла.

— Им за это деньги платят, — возражала Люда, которая Асташову вообще не любила.

— Деньги платят всем преподавателям, а она такая одна.

— Ну уж! А Семен Петрович? Гораздо лучше. Люда была из поклонниц Семена Петровича Спивака. Вообще на факультете девушки в вопросе мужского обаяния делились на «семенисток» и «радисток». Люда была из первых.

— Семен Петрович, конечно, сила, — соглашалась Ася, — но от него больше шума, а Нина Игнатьевна тихая.

— В тихом омуте черти водятся.

— Пускай водятся. В человеке должны водиться черти. Написав работу, Ася продолжала ходить к Асташовой за советом, поддержкой. Студент, начинающий заниматься наукой, похож на котенка, еще не научившегося пить молоко. Его надо ткнуть мордой в блюдечко, и тогда он примется лакать. Вот это научное блюдечко как никто умела подставить Нина Игнатьевна.

На кафедре теперь разговаривать было нельзя. Ася с Ниной Игнатьевной встречались в коридоре, иногда в читалке, а то и в буфете. Когда сидели друг напротив друга у буфетного столика, Ася старалась

есть поменьше, чтобы не шокировать научного руководителя своим аппетитом. Та и сама ела помалу — самую чуточку. С душевной болью Ася замечала, что Нина Игнатьевна осунулась, плохо выглядит, но спросить: «Что с вами?» — не решалась. Слишком велика была дистанция, жестокая дистанция между преподавателем и студентом, преодолеть которую трудно и той и другой стороне.

— Может быть, у нее какое-нибудь горе, — говорила Ася Люде. — Знаешь, мне кажется, что у нее не все ладно. Или болезнь. Или, может быть, какая-нибудь драма в личной жизни?

— С ума сошла! Какая в ее годы может быть личная жизнь?

Покуда гостила Евдокия Лукинична, Ася с Людой и Матвеем катались как сыр в масле. Комната убрана, обед приготовлен, Матвейка обстиран — земной рай! Утешали Асю и письма из дома. День ото дня Софье Савельевне становилось лучше. Она уже вставала, ходила по комнате, стала разучивать для Матвея детские песенки, только пальцы были еще слабы. Сама написала и вложила в письмо Михаила Матвеевича записку: «Ася, мне лучше. Привет моему дорогому Матюшеньке. Целую обоих. Мама и бабушка». Эту записку Ася Люде не показала. Скопление секретов ее тяготило, внутри себя она называла их «тайны мадридского двора». Надеялась, что, когда мать поправится окончательно, секреты кончатся.

Катание как сыр в масле скоро пришло к концу. Комендантша Клавда Петровна, приревновав Матвея к новоявленной бабушке, стала к ней притираться, возражать против ее проживания «сверх санитарных норм», теснить ее с ползунками Матвея и даже пригрозила конфисковать плитку, что уже было бы катастрофой. По поводу плитки Ася ходила к ней с дипломатической акцией. Клавда Петровна была как каменная:

— Пока была нужна, привечали, а теперь своя бабка есть, прощай, Клавда, лети в трубу!

Еле-еле Ася ее уговорила. Но вот однажды Евдокия Лукинична получила письмо (от кого, не сказала) и в тот же день заявила дочери:

— Погостила, и хватит. Пора домой. Я тут у вас бельмо на глазу. Того и глади, через милицию выселят. Я сколько живу — с милицией не встречалась.

— Мама, этого быть не может! Клавда Петровна только пошуметь любит, а в душе она добрая.

— Видно, добро у нее глубоко в жиру закопано. Нет уж, не уговаривайте, поеду.

Что тут поделаешь? Насильно не удержишь. Ася, со дня на день откладывавшая разговор с Людиной матерью на антирелигиозные темы (само рассосется?), спохватилась и решила провести беседу. Ася считалась лучшим преподавателем физматшколы, славилась умением объяснять понятно и просто, и Люда очень надеялась на ее способности. Сама-то Ася в них сомневалась, но чего не сделаешь по дружбе. Люда нарочно ушла вечером, чтобы оставить Асю с матерью наедине. Когда выпили чаю, погрустили, размягчились, Ася приступила к делу сначала издалека:

— Евдокия Лукинична, я так рада, что вы полюбили Матвея! А ведь когда-то не хотели его признавать.

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Не хотела, потому что незаконный, по простому — байстрюк. А отец Яков: у бога все одинаковые, законные и незаконные, крещеные и некрещеные. Всякое дитя свято.

— Значит, вы можете отказаться от своего прежнего мнения?

— А как же? Очень даже могу. Человек, не кирпич.

— Как я рада! Давайте поговорим по душам. Я давно хотела у вас спросить: ну зачем вам этот отец Яков, эта secta?

Евдокия Лукинична обиделась:

— У нас не secta, а дружба. Сектой зовут нас злые люди. Ты, Ася, такого не повторяй.

— Ну простите, сказала по глупости. Зачем вам эта дружба?

— Всякому человеку дружба нужна. А то живут отдельно, как могилки на кладбище: замок, оградка, скамеечка. Особенно кто на пенсии. Сварила щей ковшичок, да кружечку каши, послала — только и делов. А надо что-то и для души. Без людей не проживешь. А кому мы, старые, нужны? Людочка меня на лекцию водила, я со стыда чуть не сгорела. Все глаза на меня пляют: чего, старая лопата, пришкандыбала? У них после лекции кино, танцы, я между них одна, как селедка на блюде. В моленном доме мы все равны. Все старенькие, все в платочках.

— Это-то, и плохо, когда одни старенькие. Надо, чтобы и старенькие были, и молодые, и дети. Вы говорите: не нужны. А разве нам с Матвейкой не нужны? Подумайте, ну зачем вам торопиться? Пожили бы еще. Клавду Петровну я уговорю.

— Нет уж, пожила, и хватит. Я тебе по секрету скажу, Ася. Выдвинули меня там на руководящую работу. На сбор какой-то посылают.

Ася пуще всего испугалась «сбора». Растерялась, начала доказывать Евдокии Лукиничне, что бога нет, да как-то глупо, неубедительно. Мол, гипотеза бога не нужна современной науке. А какое той дело до науки, да еще современной? Сказать по правде, наличие бога Евдокию Лукиничну особенно и не волновало: есть он там или нет. Важнее была для нее та форма жизни на людях, которая ей открылась теперь, на старости лет.

Вернулась Люда, вызвала Ася в душевую:

— Ну как?

— Не получается, — сконфуженно призналась Ася. — Если бы она твердо верила в бога, я бы может быть, смогла ее переубедить...

Вскоре Евдокия Лукинична собрала вещи, сделала закупки в магазинах, простились с Матвеем и уехала. На вокзале она стояла уже отчужденная — богомолка в черном платочке. Жизнь без нее стала труднее, но в чем-то и свободнее. Иногда Ася говорила Люде:

— Есть конструктивное предложение: не стирать сегодня пеленки. Оставить до завтра.

Люда с восторгом соглашалась.

Клавда Петровна опять зачастila к ним в гости. Опять начались вольные разговоры:

— Слушайте, девчата, мою жизненную мораль. Любовь — это блесна. Схватила — и все, уже на крючке, а там на кукане. У меня от этой любви несварение витаминов...

Трудно-трудно, а дотянули-таки семestr. И вдруг в январе (уже началась сессия) Асе пришла телеграмма: «Мама скончалась, приезжай». Ее прямо оглушило. Ничто не предвещало конца, напротив, последние письма были веселые...

Распухшая, отупевшая от слез, бросив все дела (какая тут сессия!), Ася рванулась, уехала первым попавшимся поездом. К похоронам успела...

После похорон стало ясно: старика нельзя оставлять одного. Он ронял вещи, терял деньги, мог выйти на улицу раздетым... Один раз принял жечь бумаги, сжег свой паспорт, университетский диплом... Ася не сомневалась: ее место здесь, рядом с отцом. Учеба? Можно перейти на заочный. Ведь с самого начала планировала заочный, теперь сама судьба решила за нее. Вот только Матвей... О Матвее ныло сердце.

Прожила две недели, уехала в Москву оформлять переход на заочный. В ее отсутствие за Михаилом Матвеевичем взялась присматривать соседка.

— Только ты скорей обрачивайся — одна нога здесь, другая там. Хуже малого ребенка твой старичок. Дюже переживает.

В институте шли зимние каникулы. Многие студенты разъехались — кто на лыжах, кто к родным. Люда, конечно, была на месте. Обрадовалась Асе без памяти, огорчилась до слез, узнав о ее решении.

Матвей без Аси ходить научился. Бегал теперь по всему общежитию, путешествовал даже по лестнице с этажа на этаж: подложит под себя ногу калачиком, а другой отталкивается от ступенек. Получив свободу перемещения, он вошел в азарт и совсем от рук отился. Перестал проситься, впал в нигилизм. Ходил весь в синяках и шишках, того и глади, свернет себе шею. Один раз, рассказывала Люда, выбрался во двор и ел там снег; спасибо Клавда Петровна поймала его и отшлепала. Соседки по общежитию жаловались: Матвей забирается к ним и ест бумаги (одной девочке растерзал зубами конспект по гидравлике). Общественность в лице одной аспирантки требовала, чтобы ребенка отдали в ясли. Эта аспирантка была пожилая, лет тридцати, в очках, настоящая кобра. Люда боялась ее как огня.

— В круглосуточные! — говорила она, увидев Люду с Матвеем. Услышав это слово, Матвей ударялся в рев.

Сама Люда в сессию опять схватила две двойки — вполне могли снять со стипендии. Словом, было о чем подумать.

В деканате к Асе отнеслись сочувственно, оформили ей как отличнице академический отпуск на год

с правом защищать диплом вместе со всеми. Разрешили сдать вне сроков зимнюю сессию. Сдала она ее тут же, без подготовки. Преподаватели ее и не спрашивали — прямо ставили пять. Асе было это и приятно и стыдно.

Последний экзамен сдавала она Нине Игнатьевне. Та спрашивала по-настоящему, без дураков. Все-таки пять, хотя и запуталась в одном пункте. Потом Нина Игнатьевна стала расспрашивать Асю о ее делах (кое-что она о них уже слышала). Расспрашивала не формально, а от души — сразу видно. Асу понесло, и она ей все рассказала: и про смерть матери, и про отца, и про Люду, и про Матвея — как он по этажам лазает и конспекты грызет.

— Знаете что? — сказала Нина Игнатьевна. — Заберите его с собой, целее будет.

— Да? — обрадовалась Ася. — Я и сама так думала, но не была уверена...

— Видно, вы очень любите.

— Ужасно! Вы себе даже не можете представить. Как своего. Больше, чем своего...

— Отчего? Очень даже могу себе представить. Поговорили и о дипломе. Нина Игнатьевна взялась быть руководителем, назвала тему, дала литературу. Сказала:

— В сущности, вы могли бы защищать ту свою работу, за которую получили премию, но от вас я хочу большего. — Набросала план, улыбнулась, сказала: — Страйтесь.

Подарила Асе свою книжку с надписью: «Дорогой Асе Уманской от автора в надежде на ответный подарок». У Аси даже уши зажглись от смущения и радости. Шла домой как на крыльях летела, торопилась поделиться с Людой, показать книжку, но не успела: пропал Матвей.

Люда металась в страшной тревоге. Дежурная его не ви-дела; у Клавды Петровны тоже Матвея не оказалось:

— Был, выпил чаю и ушел.

Вместе с Клавдой Петровной обшарили весь двор, нашли чьи-то следы, по размеру оказалось — не его... Отыскали его наконец в самом неподходящем месте — у той самой аспирантки, очкастой кобры, которая требовала: «В круглосуточные!» Матвей сидел у нее на столе и пил чай.

— Ты что здесь делаешь? — накинулись на него Ася и Люда.

— Тай, — невозмутимо отвечал Матвей и улыбнулся от уха до уха.

— Простите, пожалуйста, он вам помешал заниматься, мы виноваты, недосмотрели.

— Ох, что вы! — сказала кобра. — Такой обаятельный мальчик!

Взяли обаятельного мальчика (не хотел уходить), унесли домой. Кой-как успокоились после пережитых тревог. Ася сказала:

— Ну знаешь что, я его заберу с собой. Он тут у тебя сопьется.

Люда в слезы:

— Ты думаешь, что я никуда не годная мать.

— Ничего я не думаю. Я только знаю, что год тебе предстоит тяжелый.

— А если в ясли? — спросила Люда.

— В круглосуточные?

Матвей немедленно заревел.

— Вот видишь, как он хочет в круглосуточные ясли. Нет, не миновать ему ехать со мной. Матвей перестал реветь.

— А ты-то как справишься и с Матвеем, и с отцом, и с учебой?

— А мне как раз Матвей-то и нужен. Папа в плохом состоянии, влияние Матвея будет ему очень полезно. Его надо привязать к жизни, понимаешь?

Люда подумала, поняла, поплакала и согласилась.

Уехали Ася с Матвеем. Хорошо, что пришлось на каникулы (студентам половинная скидка). И то разориться можно на эти поездки туда-сюда...

Дома отец так к ним и кинулся. Плакал, целуя ребенка, восхищался его кудрями, уменьем ходить, говорить (на самом деле Матвей толком умел говорить только два слова: «атя» и «тай»). До чая он был великий охотник. Михаил Матвеевич ставил для него самовар, раздувал сапогом (процедура, сказочно интересная для Матвея), и они вдвоем подолгу сиживали за столом. Дед пил из стакана в серебряном подстаканнике, внук из чашки с тремя медведями (детская Асины). Мальчик научился различать и

показывать пальцем, кто Михаила Иванович, кто Настасья Петровна, а кто Мишутка. Старик смастерили для него высокий стул: Матвей сидел на нем, возвышенный как на троне.

Ася не напрасно надеялась на влияние Матвея. Стала больше нагружать старика поручениями, все по линии Матвея. Он сперва робко, пугливо, а потом все увереннее их исполнял. Вначале случались с ним приступы отчаяния, дрожали руки, плакал над каждой разбитой чашкой, порывался куда-то уйти. Но Матвей — пышный, ясноглазый, приветливый — делал понемногу свое нехитрое дело. Влиял. Вот уже иногда краешком губ улыбался старик, глядя на мальчика.

Жили они очень скромно на отцовскую пенсию, экономя каждый грош. Сбережений у Михаила Матвеевича не было. Все, что было, потратил во время болезни жены, потом на похороны, а потом на гранитный памятник, установленный, как только сошел снег. Ася нашла кое-какие уроки — готовила по математике в вузы. Учила вдумчиво, толково, терпеливо, с милой улыбкой на маленьких красных губах (опыт работы в физматшколе очень ей тут пригодился). Не бог весть сколько, но какой-то приработок это давало. В общем, сводили концы с концами. Всего труднее было одевать и обувать Матвея; мальчик рос как на дрожжах, был непоседлив, обуви и штанов не напасешься. Ася говорила, что он рвет штаны изнутри, «пышностью зада». Добыв выкройку, она научилась шить штаны сама довольно сносно из старых брюк и пиджаков Михаила Матвеевича. Однажды он принес Асе шерстяную, почти новую юбку Софии Савельевны и с дрожащими губами сказал:

— Сшей из этого что-нибудь для Матюши, она была бы рада.

С этого пустячного эпизода началась для него уже твердое вхождение в жизнь. О матери они с Асей почти не говорили, оба грустили и помнили, но жизнь до краев была полна заботами и Матвеем...

Наступила ранняя, солнечная южная весна. Снег стаял быстро, да его и не было много. Скворцы неистовствовали на деревьях; розовые черви выползли на дорожки сада. Ася купила Матвею первые в жизни резиновые сапоги, сверкающую пару красных красавцев. Он их бурно полюбил, прижимал к груди, пытался целовать и очень неохотно надевал на ноги. Правда, надев, топал в них с разгромной силой, поднимая фонтанчики грязи.

Письма от Люды приходили не часто, но регулярно, с неизменными приветами дорогому сыночку и Михаилу Матвеевичу. У нее все было благополучно, с учебой подтягивалась.

У Аси дела академические тоже продвигались (занималась по вечерам, уложив Матвея), но шли не блестящие. Там, в Москве, учиться помогали стены института, толпы студентов, их шуточки, хитрости, общая трудная, но веселая жизнь. Та же Люда помогала своим непониманием: объясняешь ей, смотришь — и сама поймешь. Здесь, наедине с книгой, и объяснить-то некому.

И еще обстоятельство все время ее тревожило: ложность ее положения как матери Матвея. С этим пора было кончать. Летом обещала приехать Люда — как быть с нею? Втягивать и ее в «тайны мадридского двора»? Нет уж! А что будет с папой, когда он узнает?

И так прикидывала Ася и так и наконец решилась: надо сказать правду — и будь что будет. Однажды вечером (Матвей уже спал, умаявшись за день) она сказала как можно отчетливее:

— Знаешь, папа, я перед тобой виновата. Мне давно было нужно это сделать, но я не решалась. Это касается Матвея...

Отец побледнел и ответил спокойно:

— Что он не твой сын? Это я уже знаю.

— Откуда??!

— Я тоже перед тобой виноват, скрыл от тебя это письмо. Его прислали без тебя, я его положил на рояль, а Матюша, ты его знаешь, очень любит грызть бумагу. Пришел, вижу — сидит на ковре и терзает. Один угол совсем отъел, а остальное я собрал по кусочкам и подклейл. И при этом невольно прочел. Письмо от Люды. Узнал, что Матвей ее сын, а не твой. Конечно, это меня ударило. Но ничего. Долго раздумывал — обманула ты нас или нет? Решил — нет. Ты же ни разу не говорила, что он твой сын, просто позволяла нам так думать...

— Значит, ты знаешь? И не сердишься?

— Нет, конечно. И не беспокойся — меньше любить я его не буду. Любишь не родного, а человека. Если бы вдруг выяснилось, что ты не моя дочь, честное слово, я бы любил тебя не меньше...

Обнялись, поплакали.

— А письмо-то? — вспомнила Ася.

— Несу, несу.

В начале июля приехала Люда — хорошенская, веселая, чуть-чуть пополневшая. Матвей сначала ее не узнал, но очень быстро освоился.

— Скажи «мама», — учila его Люда.

— Атя, — упрямо говорил Матвей.

— Ну что тебе стоит? Скажи «ма-ма».

Ни в какую. Такое простенькое слово не хотел сказать, хотя умел говорить куда более сложные: «мыло», «малина»... Этак врастяжку: «ма-ли-на». Говорить это слово он научился после прискорбного случая, когда, пробравшись один в сад, обгелся малины и заболел довольно серьезно. С тех пор, видя роковые кусты, он каждый раз сам себе грозил пальцем и назидательно говорил: «Ма-ли-на!»

Люду Матвей воспринял скорее как сверстницу и подругу по играм, чем как взрослую. Бегали они наперегонки по саду — она длинноногая, стройная, красивая, он коротконогий, круглый, красивый.

Спали Ася с Людой в одной комнате, а дед с Матвеем в другой Мужская половина и женская. В мужской по вечерам бывало тихо, а в женской болтовня, смех, шутки.

В первую же ночь, как только легли, Люда сказала:

— Знаешь, Аська, у меня огромная новость. Я, кажется, влюбилась.

— Что ты! В кого?

— Нет, пока говорить не буду, чтобы не сглазить. Это такой человек, такой... Ну, всесторонне образованный, просто необыкновенный! Он в тысячу раз выше меня по всем параметрам. Даже жутко, до чего выше.

— Я его знаю?

— Нет, его никто не знает. Черный ящик.

— А хороший?

— Ужасно! Просто не верится, чтобы такой человек мог меня полюбить. Он мне еще ничего не говорил, но чувствую — любит, и все! Аська, до чего же я счастливая! Гляжу на себя — руки-ноги мои, а все вместе не я.

— Смотри не обманись снова, как тогда с Олегом.

— Что ты! Ничего похожего. Олег и он — это небо и земля.

— Так кто же он все-таки? Тайна мадридского двора?

— Не скажу — значит не скажу. Пока он мне всеми словами не уточнит свою любовь. Тогда скажу, честное слово. Ты не бойся, Аська, я теперь осторожная.

— А про Матвея он знает?

— Он все знает, ему даже говорить не надо, он по определению все знает.

— Ну это уж ты хватила. Ни один человек, даже гениальный, не может все знать по определению.

— А он может. Ой, Аська, какая же я счастливая!

Люда прыгнула на постель к Асе, начала ее тормошить.

— Глупая, я же щекотки боюсь! — отбивалась Ася.

— Надо же мне себя проявить. Сил нет терпеть, до чего счастливая!

Еле утомонилась, заснула Люда. А Ася еще долго не спала, размышляла. Судьба Матвея ее тревожила. С кем, в конце концов, будет Матвей? Тут любовь и там любовь, но тут законного права нет, а там право. Если Люда выйдет замуж, как ее муж отнесется к Матвею? Большой вопрос.

И еще одно: какая-то заноза сидела в сердце. Прислушавшись к себе, поняла Ася, что завидует, да, завидует Людиному счастью. И сын и любовь...

Люда уехала одна, без Матвея. Прощаясь, шепнула Асе:

— Потом видно будет что к чему.

Ася была грустна, озабочена. Кто был счастлив, так это дед.

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

В моей жизни за последнее время произошли разные изменения.

Прежде всего заболел Валентин. Никогда ничего с сердцем не было и вдруг — инфаркт. Правда, несколько месяцев перед тем он вел отчаянный образ жизни. Ездил, кутил, снимал сразу две картины, любил сразу двух женщин — одну красавицу, другую умницу. А главное, пил, пил...

Я его почти не видела. Забегал ко мне наспех между двумя пароксизмами деятельности, спал на моей тахте, целовал мне руки, говорил, что любит меня, уходил. Насчет любви было вранье, ничуть он меня не любил. Просто привык, боялся в своей сумасшедшей гонке оставаться без тихой пристани, где ничего от него не требуют, ничем не попрекают. Чем-чем, а попреками он был сыт по горло.

Любила я его как одержимая, мучилась отчаянно. До сих пор Валентин мне не врал. Теперь он сбивался, путался. О красавице и умнице рассказал мне сам, пошлынько подхихикивая. Это был не он. Дело было не в так называемых изменениях. Он изменил самому себе. Верная своему зароку, я и тут его не попрекала. Все это перекипало у меня внутри, как дьявольское зелье, где и змеиный ад, и лягушачья косточка, и корень мандрагоры. Шло это у меня как-то странно, полосами. То ужасно (жить нельзя!), а то словно бы ничего. Помню, в самый разгар моих терзаний ясным осенним вечером (солнце светило, листва падали), обходя лужу по кирпичам, я вдруг почувствовала, что счастлива. Но чаще было другое, боль нестерпимая, как будто внутри что-то рвется (вероятно, сердце). Но инфаркт случился не у меня, у него. Когда мне об этом сообщили, у меня буквально запрыгали руки. Но мне надо было идти на лекции, и я собралась. Проклятое и благословенное наше ремесло — что бы ни случились, иди читай.

Несколько дней он был в опасности, но в конце концов выкарабкался, выжил. Чего мне стоили эти несколько дней! Я металась, как собака без хозяина, только что не подывывала.

Когда ему стало лучше, я навестила его в больнице. Как больной тяжелый и привилегированный, он лежал в отдельной палате. У изголовья стоял кислородный баллон. Кислород, символ жизни, всегда стоит рядом со смертью (ничего нет страшнее кислородных подушек, темно-защитных, туго надутых, с черными трубками и нагубниками). В палате было много цветов, вероятно от его женщины. Я смотрела на длинный костиный череп Валентина, глубоко ушедший в подушку, и мне было страшно: точно так он будет выглядеть на смертном одре. Он был не похож на себя главным образом своей отделенностью от всего. Этот чужой человек разлепил спекшиеся губы и сказал:

— Родная моя. Хорошо, что пришла. Я тут без тебя стосковался.

Какой-то словарь — не его. Я положила лицо на его руку, неподвижно лежавшую ладонью вверх на одеяле. Он чуть-чуть сжал пальцы, и мое лицо оказалось в его горсти. Его сильная продолговатая рука была теперь влажна и слаба. Я поцеловала его ладонь.

— Молодец, что не умер.

— Старался для тебя.

Счастье, что он не умер. Мне кажется, его смерти я бы не вынесла. Хотя человек выносит многое.

Постепенно он начал поправляться, месяца через два выписался из больницы. Бросил курить, бросил пить, полысал. Волосы его, всегда редкие, теперь отступили, словно отодвинутые на задний план.

Побывав на краю смерти, Валентин сделался другим человеком. Когда стал выходить на улицу, в первый же день пришел ко мне и остался ночевать. Это была первая ночь, которую он провел со мной.

— Наша первая брачная ночь, — сказал он. Сколько раз за все эти годы я мечтала о такой ночи! И вот он был со мной целую ночь, и все это было не то, не так. Как бы это выразить? Он был со мной рядом, но не вместе. Он был рядом, но я ничего не чувствовала. Он? Он. Ну и что? Это меня даже испугало. «Опомнись, это же он», — говорила я себе. Он заметил.

— Нина, ты здесь?

— Да, я здесь.

— Мне показалось, что тебя нет.

— Тебе показалось.

Наутро он ушел. Я не покормила его завтраком (боялась Сайкина). В тот же день он уехал в санаторий. Вернулся загоревший, пополневший, даже с каким-то намеком на брюшко (всегда был худ и жилист). Начал работать, но без прежнего летящего одушевления. Стал уравновешен, осторожен, оглядчив. Совсем не пил. О красавице и умнице что-то не было слышно. Часто (раза два-три в неделю) приходил ко мне ночевать, к великой досаде Сайкина, который вел себя пристойно, но неприязни не скрывал.

Димка и Иван — те, напротив, были без ума от дяди Вали. Какие-то он им складывал бумажные кораблики, из-за которых они потом лютко дрались, подсчитывая, у кого сколько и каких именно. Вот дурачье! Большие мальчики, школьники, они пока не подают признаков вхождения в разум.

Однажды утром Валентин, надевая носки, сказал неожиданно:

— Нина, послушай, а тебе не кажется, что нам пора собирать детей?

Сердце у меня замерло. Собирать детей? Это могло значить только одно: жить вместе. Может быть, пожениться? Не важно. Жить вместе. Собрать детей — моих двоих, и его одну и еще одного — общего...

Я медлила с ответом. Как-то это было неожиданно и болезненно. И он медлил с ответом, поставив голую ступню на ковер. Его ступню — белую, сухую, сильную я, кажется, видела впервые и глядела на нее с какой-то неприязнью. Что-то хозяйствское было в этом властном постанове...

Я представила себе его дочку Ирину — теперь уже почти взрослую, с крупными, капризными, пушком обметанными губами. Мысленно поставила ее рядом с Сайкиным, мальчишками... Нет. Ничего не получалось. И дело даже не в детях. Я не могла представить себе самого Валентина — рядом, всегда...

— Я не тороплю тебя. — Он натянул второй носок. Что-то прежнее детски лукавое сверкнуло в его лице; я как бы разглядывала его давний кинокадр. — У тебя будет время обдумать. Я еду на съемки месяца на три-четыре, а ты пока на досуге обдумай.

— А Александра Федоровна? — спросила я.

— Тут все благополучно. Пока я лежал в больнице, она нашла себе другого. Главное, он будет ее снимать.

— А красавица и умница?

— Давно не существуют. Нужна мне по-настоящему только ты.

Валентин подошел, положил руки мне на плечи, затянул в глаза — все как полагается по романам.

— Нина, ты меня любишь?

— Да, — ответила я правдиво.

— Надолго ли?

— Пока навсегда.

— Все ясно.

Через несколько дней он уехал на съемки. Зашел попрощаться. Выглядел он из рук вон плохо.

— Разумно ли тебе ехать? Ты еще слаб после болезни.

— Ничего со мной не сделается. А сделается — туда мне и дорога. Битая карта. А ты все-таки без меня подумай...

Уехал, а меня оставил размышлять. Выходить замуж? Собирать детей? Боже мой, мне не хотелось. Пусть лучше как было: он с дочерью у себя, я с сыновьями у себя...

Как раз тут произошло еще одно событие. Однажды вечером, прия из института, я застала у себя в комнате Димку. Он был в своей полосатой пижаме, из которой давно и самым жалким образом вырос, но не хотел расстаться и даже в стирку отдавал неохотно («Каторжник, одуревший от дурной пищи», — говорит Сайкин, видя его в этой пижаме).

— Почему не в постели? — спросила я грозно, краткостью и интонацией подражая Александру Григорьевичу.

— Мама, мне нужно сообщить тебе необыкновенное.

Кажется, это фраза из Чапека. Димка последнее время читает непомерно много и весь дымится цитатами. Тоже мне домашний Лева Маркин!

— Что же такое необыкновенное ты хочешь мне сообщить?

— Может быть, это подло с моей стороны — выступать в роли доносчика, но я все-таки выступлю. Александр Григорьевич влюбился.

— В кого?

— В какую-то женщину или девочку. Он сказал ей сегодня по телефону «любимая». Потом велел нам с Иваном ложиться спать, а сам укатил с ней куда-то, судя по телефонному разговору — в кино.

Меня всегда поражает книжность и сформированность Димкиной речи. Профессор!

— Слушай, дорогой, иди-ка ты спать и выкинь из головы эти глупости.
Димка зарыдал.
— Глупости! Нашла глупости! А если Александр Григорьевич женится, кто нам будет варить обед?
— Ну я буду.
— Да!! Разве ты умеешь так варить свекольник, как он?
— Научусь и сварю. Подумаешь, искусство! — сказала я нигилистически.
Димка зарыдал еще пуще.
— И вообще! Дело не в свекольнике! Разве ты нам можешь его заменить! Мальчикам нужно мужское влияние.

Я обняла его за худую спинку.

— Ну-ну, маленький, не огорчайся! Может, он еще не женится.
— Ты думаешь? — с проблеском горькой надежды вскричал Димка.
— Вполне возможно. Не каждая любовь кончается женитьбой.

У Димки текло из носа, я его вытерла своим платком. Он был очень доволен и спросил:

— Французские?

Я не сразу поняла, что это он о духах.

— Наши, — ответила я.

— Тоже приличная продукция.

В общем, он успокоился, и я отвела его в мальчишатник. Иван спал вальяжно, в моей пижаме (после больших огорчений ему это позволяет). Богатырская грудь вздымалась.

— Эй, Иван! — крикнул Димка.

Иван мгновенно проснулся. Обычно его разбудить трудно, хоть из пушек пали.

— Ну, как? — спросил он, протирая глаза.

— Александр Григорьевич, вполне возможно, не женится, — сказал Димка.

— Не женится? — подскочил Иван. — Вот это здорово! Тут они оба принялись скакать по Ивановой тахте и орать дурными голосами:

— Не женится, не женится, ура, ура, ура! Пружины так и стонали. Я пыталась прервать это радение строгим окриком — ничего не вышло. Тогда я подошла к буфету, вынула за уголки две конфеты «Мишка косолапый» и, держа их на весу, подошла к тахте. Прыжки и крики стали реже и постепенно прекратились совсем.

— Мама, это нам? — с робким восторгом спросил Иван.

— Вам, если утихомиритесь.

— Мы уже.

— Александр Григорьевич, — напомнил Димка, — не разрешает есть конфеты после чистки зубов.

— А мы ему не скажем.

За этот педагогический просчет я сразу назвала себя Песталоцци (именем великого педагога мы с Сайкиным перебрасываемся, когда уличаем друг друга в ошибках воспитания). Мальчики вдохновенно ухватились за конфеты, развернули их, тут же успели подраться из-за фантиков, но малой дракой. Успокоились, поедая конфеты.

— Я в этом «Мишке» больше всего ценю сухариную прокладку, — говорил Иван. — Мама, а он правда не женится?

— Думаю, что нет, — соврала я, потушила свет и ушла к себе.

Ох, если Сайкин и в самом деле женится, как же я их избалую...

Александр Григорьевич вернулся поздно, ко мне зайти не соизволил, лег спать. На другой день был мрачноват, молчалив. Я его ни о чем не спрашивала. Разговор состоялся на третий день.

— Между прочим, — сказал он, потопывая носком кеда по полу, — эти негодяи уже тебе пропретались, а ты делаешь вид, что ничего не произошло.

— Так оно и есть. Пока как будто ничего не произошло.

— Нет произошло. Можно, я ее приведу сюда? Познакомиться, а не совсем.

— Конечно, можно.

Договорились о дне. Я приготовила угощение (разумеется, покупное — на домашнее у меня не

хватает ни времени, ни умения), заставила Димку с Иваном хорошенько вымыться и после этого запретила им выходить во двор.

— Мама, на минуточку! — нудил Димка.
— На две минуточки! — вторил ему Иван.
— Ни на полминуточки!
— А на секунду? — спросил Димка.

Я рассердилась и сказала низким голосом, имитируя мужское влияние:

— Что за торговля? Слушаться беспрекословно!

Мальчишки послушались и удалились на кухню. Вскоре оттуда донеслись гнусные препирательства. Иван что-то канючил, а Димка ему возражал. Несколько раз до меня донеслось любимое слово «дурак». Я против него не возражаю, слава богу, что не хуже. Я читала книгу, но не могла сосредоточиться. Когда канюченье и перебрасывание «дураками» перешло в плач и грохот вещей, я вышла на кухню и увидела, что купленный мной роскошный торт растерзан. Димка с Иваном выковыряли из него четыре шоколадинки по углам, а теперь дрались из-за пятой, центральной. Дрались, заливаясь слезами. Увидев меня, они подбежали ко мне и вцепились в мою парадную кофту, сразу перепачкав ее шоколадом и кремом.

— А Димочеке-то всегда все самое лучшее достается! — рыдал Иван. — Я в этой семье как чужой!
— Мама, честное слово... — подывал Димка.
— Ты съел центральную? — строго спросила я.
— Да, я съел, но по справедливости. Он не согласен, что пять — число нечетное, а значит, на два не делится.
— Зато вы делитесь, проходимцы, архаровцы!
— Ротозей Емельян и вор Антошка, — услужливо под-сказал Димка, только что прочитавший «Мертвые души». Тут хлопнула входная дверь и вошел Сайкин с девушкой.
— Знакомьтесь. Это мама, а это Катя. А эти двое — мои младшие негодяи. Ты уже их знаешь по описаниям.

Девушка была светлая, тонкая, как морская игла. На впалых матовых щеках легкие пятна румянца. Негустые волосы не падали на плечи, а парили, как в невесомости. Она подала мне тонкую холодную руку:

— Мелитонова Катя.
— Очень приятно, — ответила я. — Меня зовут Нина Игнатьевна.
— Очень приятно, — послушно повторила она.

Тут я заметила, что Сайкин с ужасом смотрит на мою кофту. Голубой мохер носил отчетливые следы шоколадных пальцев.

— Разрешите представиться, — сказал Димка по-книжному, но представляться не стал.
— И я тоже, — сказал Иван.

Оба были перепачканы до ушей и свыше. Александр Григорьевич метнул на них взгляд громовержца, и они немедленно удалились.

— Я приготовлю чай, а вы покуда поговорите, — сказал Сайкин тоном, не допускающим выражений.

Я провела Катю к себе. Мы уселись друг против друга на приземистые кресла-раскоряки и стали молчать. Я просто молчала, а она из робости. «Эх, — думала я, — не так надо бы нам знакомиться...»

— Вы учитесь или работаете? — спросила я, стараясь быть приветливой. Вообще это у меня плохо выходит.

— Работаю и учусь. Кончаю школу рабочей молодежи...
— А где работаете?
— На почте. В отделе отправки бандеролей.
— Нравится работа?
— Ничего.
Что бы еще у нее спросить?
— А родители у вас есть?

— Мама есть. Папа умер.
 — Мама где-нибудь работает?
 — Нет, пенсионерка.

Что-то этот разговор мне мучительно напоминал. Да, сообразила я, какое-то сватовство прошлого века. «А сколько душ у вашего папеньки?»

Не находя более тактичных вопросов, я замолчала. А Катя сидела на кресле прыменько, сторожко, глядя на меня подотчетными голубыми глазами. Молчание затягивалось.

— Простите, — сказала я, — пойду переменю кофточку. Эти мальчишки дрались из-за торта и всю меня перемазали.

— Не надо так переживать, — сказала Катя и вся залилась краской.

Я собрала всю свою воспитанность (вообще у меня ее мало, сказывается детство, никто меня не учил «манерам»), улыбнулась, извинилась и вышла. Кофточку я заменила другой, переоделась в ванной. Потом оказалось, что запачкана и юбка. Ее я тоже переменила. Когда я вернулась, Катя сидела и плакала, а Сайкин, примостившись на ручке кресла, ее утешал. Увидев меня, оба встали.

— Чай подан, — сухо сказал Сайкин.

Сели за стол в кухне. На Катиных беленьких ресничках просыхали слезы. «Младшие негодяи» тоже были призваны к столу. Они оказались уже умытыми, переодетыми и вели себя вполне пристойно. Димка, указав на рыбу, любезно спросил: «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?» — на что Катя испуганно ответила:

— Ничего.

Разоренный торт Сайкин удачно нарезал кусками так, что ничего не было заметно. Разложил по тарелкам закуски. Катя все хвалила: «Вкусная колбаса... Вкусный сыр... Вкусная рыба», хотя все это было более чем обыкновенно — нормальный московский гастроном. А может быть, бедная девочка просто недоедает?..

Когда чаепитие было окончено, Сайкин приказал мальчишкам идти спать.

— «Но человека человек послал к анчару властным взглядом...» — с пафосом продекламировал Димка.

— Вот именно, — ответил Сайкин и наградил Димку таким властным взглядом, что тот «послушно в путь потек», сразу же направившись в мальчишатник. За ним поспешал Иван, жадно оглядываясь на недоеденный торт, но не смей подать голос.

Когда мы остались одни, Сайкин взял слово и сказал следующее:

— Мама, ты, конечно, догадываешься, что мы с Катей задумали жениться. Не пугайся, это еще не скоро, мне надо сначала окончить вуз. Но намерение наше твердое. Я знаю, как тебе трудно будет без моей помощи, и не собираюсь тебя ее лишать. Эти негодяи тоже мне не чужие, и за их воспитание я чувствую себя ответственным. Ты меня извини, но тебя они абсолютно не слушаются.

Я кивнула. Сайкин продолжал свое слово:

— Все будет зависеть от того, какие отношения сложатся между тобой и Катей. Ты ее видишь сегодня первый раз, а уже успела ее обидеть.

— Саша, что ты, никто меня не обижал! — воскликнула Катя, горестно сложив ручки с длинными слабыми пальцами.

— Молчи, — сказал Сайкин, — знаю, что обидели. Мама, я все отлично вижу. Катя, конечно, не такая рафинированная интеллигентка, как тебе хотелось бы, зато она лучше тебя знает жизнь. А ты, прости меня, жизненных трудностей, в общем-то, не знаешь...

Тут заплакала я.

— Нина Игнатьевна! Что с вами? Да не плачьте же, не плачьте, ради бога! — метнулась ко мне Катя. — Саша, как тебе не стыдно!

Я чувствовала на своем плече легкую Катину руку, на своих волосах легкое Катино дыхание. Я плакала неудержимо, изо всех сил, вкладывая в этот плач все нервное напряжение, все «протори и убытки» последних месяцев, а может быть, и лет... И дыхание Кати, и ее легкая рука, и нежные упреки, сыпавшиеся с ее губ: «Да зачем же так, перестаньте, что вы так переживаете?» — были мне почему-то отрадны... С этого вечера мы с Катей стали друзьями.

А Валентин? Он все еще в командировке. Не знаю, как повернется жизнь...

И последняя «разность», не такая уж важная: Лева Маркин от меня совсем отошел. Он влюбился в студентку, свою дипломницу, Люду Величко, ту самую, которой я когда-то поставила пятерку за молоко.

Это стало мне ясно вчера. Я встретила их на институтском дворе. У Люды через плечо висела плетеная из прутьев сумка-корзинка из тех, какие были в моде лет пять назад. Он ей что-то говорил, глядя ей в лицо снизу вверх. Она отвечала ему, улыбаясь, но, когда я подошла, испугалась, спешно поздоровалась, сказала: «Мне пора» — и побежала юно и гибко на длинных статных ногах через весь двор к воротам. Корзинчатая сумка болталась из стороны в сторону у ее бедра, а Лева Маркин глядел на ее спину, на ее гибкий бег и болтающуюся корзинку с такой печальной нежностью, что мне сразу стало все ясно...

Что ж, справедливо. Все эти годы преданностью Левы Маркина я пользовалась не по праву. Пусть будет счастлив.

ПИСЬМО СЕРЕЖИ КОХА

Аська, парнище, здравствуй!

Мы тут без тебя здорово скучаем. Прямо не у кого стало списывать.

Новостей у нас немного. Олежка Раков вполне определенно идет в аспирантуру. Говорит, что без всякого блаты, только по своим личным качествам. Вполне возможно, такой человек сам себе блат.

Расползлись мы по кафедрам, как тараканы, сидим тихо, пишем дипломы. Мне не повезло — попал к Флягину. По доброй воле к нему никто не идет, мне это дали как общественное поручение. Это какой-то научный доходяга. Человек, безусловно, знающий, эрудиции навалом, но тиран и зануда. Студентов терпеть не может. Вечно старается чем-то оскорбить, высмеять. Требует железно, чтобы весь материал на память и в темпе. Какой-то средневековый садист. Я ему сдавал системотехнику (по его лекциям). Он, собака, там описал одну систему с помощью восемнадцати уравнений со случайной правой частью. Сидел я как без штанов, списать неоткуда, подавал сигналы в сторону двери, у нас там пункт неотложной помощи, но ребята меня не поняли. Я спрашиваю: «Товарищ профессор, можно выйти? Я на минуточку». А он улыбнулся, как инквизитор у костра, и говорит: «Я раньше вас пришел, а сижу. Ответьте на билет, тогда выйдете». Вернулся я на свой костер. Потел-потел, вспоминал-вспоминал, хоть убей, больше шестнадцати уравнений не вспомнил. Подхожу, подаю листок: «Больше не могу, товарищ профессор». А он проглядел листок судачьим глазом и с ехидной ухмылкой говорит: «Наскребли все-таки шестнадцать?» Поставил трояк. У меня этот трояк единственный за все время учебы. Можно бы пересдать, да неохота снова идти к этому птеродактилю.

И вот надо же: попал к нему на дипломное проектирование! Для начала он заставил меня выучить наизусть все формулы элементарной тригонометрии, штук сорок. Нужны они мне, как собаке пятая нога. В случае надобности я в любую минуту могу вывести. Нет, это его не устраивает: мало ли кто что умеет вывести, надо знать наизусть. Что поделаешь, выучил я формулы, пришел, отбарабанил. А он: «Скорее!» Совсем замучил. Думаю: «Ах ты черт плешивый, посидел бы ты в нашей шкуре, когда и то надо успеть, и пятое, и десятое! Ты еще меня закон божий учить заставишь!» К счастью, он один такой, своего рода уникум. Но у всех преподавателей этот недостаток: каждый считает, что, кроме его предмета, ничего на свете не существует. Думая, если я когда-нибудь стану преподавателем, то у меня будет тот же недостаток.

Да, чуть не забыл самую важную новость: твоя Людмила выходит замуж. И как ты думаешь, за кого? Ни за что не угадаешь! За Маркина, этого остряка-самоучку с кафедры Флягина. С ума сошла: он же стариk, между ними минимум двадцать лет разницы! Ничего слушать не хочет. Говорит: «Люблю! Любила же Мария Мазепу!» Экая дура! Ну что ж, вольному воля, каждый сходит с ума по-своему. Может быть, ты, когда приедешь, отговоришь ее от этого мазепства?

Распределение у нас было, но не окончательное. Хотел бы я распределиться куда-нибудь вместе с тобой. Ты ценный человек и работяга классный.

Ну пока, бегу в библиотеку. Привет моему подопечному. Надеюсь, его больше не надо будить, а то я

готов. Гуд бай.

Сергей Кох.

ПИСЬМО ЛЮДЫ ВЕЛИЧКО

Асенька, милая, дорогая!

Наконец-то я могу поделиться с тобой своим секретом (помнишь наши ночные разговоры?). Кто это? Лев Михайлович Маркин! Ты удивишься, но это так. Он мне всеми словами объяснился в любви, и я обещала выйти за него замуж!

Он говорит, что его любовь ко мне началась давно, еще на втором курсе, когда я пересдавала ему матлогику. Я таким долгим сроком похвастаться не могу, но тоже люблю его до безумия! Мне так нравится его образованность, тонкость, и лицо у него тоже хорошее, правда? Я без ума от его лица.

Единственное, что меня смущает, это большая, даже огромная разница в возрасте. У него, он говорит, вполне могла бы быть такая дочь, как я. Когда-то он был женат, но развелся, так как жена оказалась совершенно нечуткая. После того как он перенес перелом ноги, она к нему охладела.

Я его так люблю, что пусть он сломает себе что угодно, я все равно его буду любить. Разница в возрасте меня ни капли не смущает. Ради него я сама согласилась бы постареть! Но поскольку это невозможно, придется мириться с разницей лет.

Я все еще не привыкла чувствовать себя с ним на равных. Знаешь, когда любимый человек раньше ставил тебе двойки, к нему страшно обращаться на «ты». Боюсь, я никогда не привыкну!

Расписаться мы хотим сразу после моей защиты, чтобы меня не распределили черт знает куда. Может быть, он даже уйдет из института. Вообще любовь между преподавателями и студентами считается за нарушение. Но нас, скорее всего, трогать не будут, потому что я вот-вот кончу.

Он мне рассказал под большим секретом, что много лет был влюблена в твою Асташову. Тоже секрет! Все это знали, достаточно было видеть, как он на нее смотрел. Понимаешь, думая об этом, мне как-то обидно за Леву (никак не привыкну его так называть). Она его не ценила, проходила мимо. Но он на это не жалуется, он до сих пор ее глубоко уважает. Чувства у него такие благородные, что я его до конца даже понять не могу. Литературу всю он знает просто наизусть. Это хорошо, потому что у меня в общем образовании большие пробелы. Буду с его помощью их ликвидировать.

Теперь самое главное: насчет Матвея. Лева настаивает, чтобы он жил с нами. Говорит, мальчику необходимо мужское влияние. Это, конечно, верно (тем более такого умного человека), но я не хотела бы разлучать его с тобой и Михаилом Матвеевичем. А там еще и моя мама на него претендует. Ужас! Будем мы бедного ребенка рвать на части. Сейчас об этом думать еще рано, а после защиты дипломов мы все обсудим. Вот, значит, какие дела, дорогая моя сестричка. Целую тебя, обнимаю и за все, за все спасибо огромное! Милого моего сыночка целую по всем пунктам. Привет Михаилу Матвеевичу.

Твоя Люда.

КОНКУРС

Смутное время, смутный момент.

С самого этого конкурса меня одолевают сомнения. С одной стороны, как будто мы действовали правильно, а с другой... Нет, решительно Энэн заразил меня своей болезнью — множественностью точек зрения. Человек с такой болезнью никогда не сможет ничего сделать.

Конкурса этого мы долго ждали. По каким-то формальным причинам Флягин до сих пор царствовал без коронации, числился ИО заведующего. Наконец начальство раскачалось и объявило конкурс. В таких случаях все решается заранее, на высшем уровне. Конкурса как такового нет. На вакантное место подается одно-единственное заявление. Не знаю, полагается ли по конкурсным правилам обсуждать кандидатуру заведующего на заседании его будущей кафедры; у нас, во всяком случае, она не обсуждалась.

Конкурсная комиссия рассмотрела кандидатуру Флягина и пришла к положительному выводу: рекомендовать. По слухам, не обошлось без споров, но решение было принято единогласно. Главным

аргументом в пользу Виктора Андреевича была, конечно, его ученая степень. Не вызывали сомнения и другие заслуги Флягина: на кафедре увеличилось количество научных работ, была поднята дисциплина, изжиты опоздания. Правда, все еще на высоком уровне оставался процент двоек, всегда отличавший кафедру на общем среднеблагополучном уровне, но с этим, в конце концов, можно было справиться и потом. Общее мнение тех, от кого это зависело, было в пользу Флягина.

Бурление внутри самой кафедры наружу почти не выходило. Так же как мы почти не знали, что делается на других кафедрах, так же и они почти не знали, что делается на нашей (всем некогда). Сам Флягин последнее время был тише, лютовал меньше, даже дневники почти не проверял и как будто о чем-то начал задумываться...

Меня поразило, что в преддверии конкурса былого единодушия в среде преподавателей кафедры не оказалось. Если вначале, сразу после появления Флягина, все как один были против него, то теперь раздавались и отдельные голоса за. Например, Петр Гаврилович недвусмысленно выразил Флягину вотум доверия, подчеркнув, что общая его линия правильная, «просто он еще не притерся, а когда притрется, будет в самый раз. Мозги у него на месте, а душу мы вправим» (мне не очень был понятен механизм «вправления души», но это произвело впечатление). А главное, действовать активно никто не хотел. Пока шло шушуканье, все высказывались, а дошло дело до прямого конфликта — никто на него не шел. Элла Денисова сказала:

— Ну хорошо, провалят Флягина. Вместо него пришлют другого. А какой он будет? Этот, по крайней мере, чужих работ не ворует.

Стелла Полякова, как обычно, солидаризировалась с подругой:

— Любая определенность лучше неизвестности.

Удивил меня Радий Юрьев, который не только простил Флягину эпизод со своей болезнью, но даже винил себя в излишнем упрямстве. Впрочем, Радий всегда был у нас миротворцем.

Меня не покидала мысль, что все эти соглашатели не хотели вступить в конфликт с Флягиным, боясь, что он все-таки пройдет (мысль, вероятно, несправедливая). Лева Маркин на все происходившее глядел с удивительным равнодушием, даже забывая вставлять самые подходящие цитаты, которые так и просились на язык. Многие просто отмалчивались: «Наше дело телячье, привязали — и стой». Паша Рубакин нес уже какую-то совершенную ахинею, относя Виктора Андреевича к категории страстотерпцев, которых в будущем потомство несомненно канонизирует...

В итоге активных противников Флягина на кафедре оставалось трое: Спивак и я да еще Лидия Михайловна. Каждый из нас был тверд в своем решении ни в коем случае не работать с Флягиным. Лидия Михайловна погоды не делала, но и от нас со Спиваком зависело мало. Ни он, ни я не были членами большого совета, где должно было рассматриваться конкурсное дело.

Я решила выступить на совете в открытую, а если Флягин пройдет — уволиться. Конечно, потеря одного доцента для института пустяк, но за мной стоял еще Спивак с той же готовностью, а двое — это уже несколько (при случае могут быть поставлены в упрек начальству). Мы с Семеном Петровичем решили, что первой выступать буду я, а он — в зависимости от обстановки.

Наступил день конкурса. С утра накрапывал дождь, было душно и тяжело в воздухе. Думая о своем предстоящем выступлении, я никак не могла собраться с мыслями. Заставила себя сесть, набросать конспект, хотя по опыту знаю: дело это безнадежное, все равно оторвусь и занесет меня в сторону. Сколько я себя помню, ни одно мое выступление не проходило по плану.

С утра у меня были лекции, кончились. На кафедру мне идти не хотелось (там вossaсал Флягин). Полтора часа яостояла у окна в коридоре, глядя на темные тучи, неопределенно громоздившиеся в небе, не в силах ни уйти, ни пролиться настоящим дождем. Небольшой паучок бегал по стеклу, занятый каким-то своим неотложным делом, то опускаясь к нижнему срезу рамы, то поднимаясь вверх. Какая-то назойливая неясная мысль прицепилась у меня к этому паучку.

Пункт «конкурсные дела» стоял в повестке дня последним, но мы пришли заранее. Председатель с улыбкой отметил высокую активность кафедры кибернетики, явившейся на заседание совета почти в полном составе. Бросилась мне в глаза широкая усатая морда кота-ворюги (alias профессора Яковкина), который поглядел на меня с явным отвращением. Он тоже был членом большого совета. Вообще народу было довольно много. Большая аудитория амфитеатром (не радиофицированная, но с прекрасной

акустикой, как умели строить в старину) была заполнена почти до верхних скамей. Скамьи здесь с откидными столиками. За одним из них сидел Флягин, как всегда погруженный в работу — что-то читающий и строчащий...

Не перестал он строчить и тогда, когда началось рассмотрение его дела. Ученый секретарь огласил документацию. Потом выступил председатель конкурсной комиссии. Он широко осветил научные заслуги Виктора Андреевича, отдал должное его авторитету и закончил положительным выводом комиссии. Потом выступили какие-то члены совета в поддержку Флягина. Словом, все шло, как всегда в таких случаях с предрешенным исходом. Я не слушала — предстояло выступать мне, а я все еще не знала своей первой фразы. Вдруг я вспомнила про паучка — он бегал, как я, неизвестно зачем. Захотелось уйти...

— Кто еще желает выступить? — спросил председатель. Я подняла руку.

— Пожалуйста, на трибуну.

Встал Яковкин:

— Если не ошибаюсь, товарищ Асташова еще не состоит членом нашего совета.

— Правила предусматривают возможность высказаться всем желающим, — дал справку ученый секретарь.

Я поднялась на трибуну. Первой моей фразы все еще не было. Я помолчала, ожидая, что вдруг она ко мне спустится. Кое-кто в зале смотрел на меня подозрительно, как на известную скандалистку.

— Просим, — сказал председатель.

— Я буду выступать против кандидатуры профессора Флягина.

Зал зашумел с интересом. Вообще всякие скавдальцы встречаются на советах с интересом: они разрушают трафаретную скуку, царящую на этих соборищах. В таких случаях я всегда вспоминаю пса, пробравшегося в церковь («Том Сойер»). Сейчас я чувствовала себя таким псом. Некоторые смотрели хмуро, для большинства я была развлечением.

— Да, я буду выступать против кандидатуры профессора Флягина и постараюсь обосновать свое мнение. Для того чтобы руководить коллективом (тем более коллективом преподавателей), нужно как минимум быть человеком. Этому минимальному требованию профессор Флягин не удовлетворяет...

Увы, я опять замолчала. Мне было что сказать, но я не знала, как это выразить — знаменитые «муки слова». Флягин оторвался от своей работы и направил на меня взор без выражения, стертый очками.

— А что такое человек? — с веселым любопытством спросил председатель.

— Не берусь определять. Я думаю, это и так ясно.

— И это говорит математик! — с негодованием вскричал Яковкин.

— Да, это говорит математик. Далеко не все понятия могут быть строго определены и далеко не всегда это нужно. Между прочим, в универсальность математических построений верят больше всего не математики, а профаны. Им кажется, что чем больше математических побрякушек они на себя навешают, тем лучше. Они ошибаются. Глупость в математической одежде хуже, чем голая глупость.

Кругом засмеялись. «Пес в церкви» продолжал веселить прихожан. Это не входило в мои планы, и я разозлилась:

— Сейчас не время и не место для схоластических диспутов. Будем исходить из того, что понятия «человек» и «человечность» интуитивно ясны собравшимся. Так вот я утверждаю, что именно человечности нет в поведении профессора Флягина.

Тут я обрела дар слова и рассказала о порядках, введенных Виктором Андреевичем на кафедре. О принудительных дневниках, о требованиях к индивидуальным планам. О том, как в целях тишины Флягин запретил заходить на кафедру студентам. О наших коридорных разговорах. О табличках типа ресторанных «стол занят»...

Только я собралась вытащить свой главный козырь — Радия Юрьева, читающего лекции с температурой тридцать девять, как сам Радий умоляюще замахал мне руками, скрестив их перед лицом, как делают в авиации, запрещая посадку. Не надо так не надо. Я спешно переменила курс.

— Один из главных признаков человека — умение ставить себя на место другого, влезать в чужую шкуру. Этого умения профессор Флягин начисто лишен. Он никогда не ставит себя на место другого, никогда не сомневается в своей правоте. Настоящему человеку присуще сочувствие. Со-чувствовать —

значит чувствовать вместе с другим...

Опять засмеялись. Решительно я потешала эту публику. Снова разозлившись и получив таким образом новый заряд, я продолжала:

— Надо отдать справедливость профессору Флягину — он на редкость трудолюбив. У него трудолюбие маятника. Но с тех пор, как он у нас появился, на кафедре умер смех...

— Подумаешь, велика потеря! — закипел Яковкин. — Пускай смех умирает в рабочее время. Смеяться можно у себя дома...

Опять раздался взрыв хохота членов совета. Они явно наслаждались дивертишментом.

Ох, не то я говорю, не то, не так!

— Покойный Николай Николаевич Завалишин, руководя кафедрой, может быть, грешил излишним либерализмом, но мы его любили и он нас любил. Виктор Андреевич Флягин никого не любит, ни с кем не общается. Ни с нами, ни со студентами. А работа преподавателя — это вид общения. Для чего же мы иначе существуем?

— Для науки, — важно сказал Яковкин.

Гул голосов его поддержал. Я понимала, что говорю глупо, бездарно, но перестать уже не могла. Мне надо было выразить свою мысль.

— Профессор Флягин работает как молится. Он не понимает, что, если меньше молиться и больше смеяться, сама работа пойдет лучше...

— И это говорит научный работник! — сказал Яковкин, возведя очи к потолку, отчего его усатое широкое лицо стало еще шире и как будто усатее.

Неодобрительный шумок в зале явно был против меня.

— Нина Игнатьевна, вы исчерпали регламент. Если вы еще хотите сказать что-нибудь существенное по повестке дня, без обобщений, мы вас слушаем.

— Да нет, я уже кончила.

Я села с чувством бесповоротного позорнейшего провала. Нечего сказать, выступила! Как восьмиклассница на диспуте о любви и дружбе.

Тут поднял руку Спивак, вышел на трибуну:

— Я считаю, что Нина Игнатьевна выступила неудачно. «Человек, человечность...» Не об этом надо было говорить. Я убежден, что профессор Флягин человек, и, более того, человек уважаемый. Лично я глубоко уважаю Виктора Андреевича...

Флягин поднял бледное лицо и уставился на говорящего.

— Я его глубоко уважаю и все же считаю, что как заведующий кафедрой он не на месте. Прежде всего по одной простой причине, он не любит студентов. А это последнее дело: быть преподавателем и не любить студентов! Все равно что быть воспитательницей в детском саду и не любить детей...

Опять засмеялись...

— Ваша аналогия не слишком удачна, — сказал председатель.

— Возможно. Тем не менее я настаиваю: преподаватель должен любить студента. Даже ставя ему двойку.

— Если любишь, зачем же ставить двойку? — крикнул кто-то с места.

— Именно любя. Но это еще не все. Профессор Флягин вообще не умеет работать с людьми. Он восстановил против себя всех преподавателей.

— Не всех, — заметил с места Радий Юрьев.

— Большинство. Главная его вина: он сумел за короткое время почти развалить замечательный коллектив. Такие коллективы надо охранять, как заповедники...

Опять смех. Спивак яростно сверкнул глазами.

— Буду краток. Считаю, что кандидатура профессора Флягина на должность заведующего кафедрой кибернетики неприемлема. Если бы я был членом этого совета, я голосовал бы против.

— Продолжим заседание совета, — сказал председатель. — Мы тут выслушали мнения как за кандидатуру профессора Флягина (подавляющее большинство), так и против (Нина Игнатьевна, доцент Спивак). Я думаю, вопрос более или менее ясен. Можно перейти к голосованию. Возражений нет?

— Есть возражение.

Это сказал сам Флягин.

— Пожалуйста, Виктор Андреевич.

— Можно, я с места?

— Нет, лучше сюда, на трибуну. Заседание стенографируется.

Флягин взошел на трибуну. Он был бледен, даже зеленоват, и перообразный клок волос на его голове загнулся кверху, как хвост у селезня. Когда он заговорил, губы у него дергались и каша во рту была сильней, чем всегда.

— Товарищи, то, что я здесь услышал, произвело на меня сильное впечатление. Сильное и тяжелое. Я очень жалею, что по моей вине вы были вынуждены все это слушать. Больше этого не будет. Я снимаю свою кандидатуру. В самом деле, я не создан для того, чтобы управлять людьми. Лучше понять это поздно, чем никогда. — Тут он улыбнулся, но не своей иезуитской, а простой человеческой улыбкой, в которой было даже что-то детское. — Нина Игнатьевна, вы ошиблись в одном: что я никогда не сомневался в своей правоте. Даю вам честное слово, с тех пор как я пришел на кафедру, я только и делал, что сомневался в своей правоте. Сегодня эти сомнения рассеялись — я понял, что был не прав. Прошу прощения у всех присутствующих за то, что на рассмотрение моего дела они потратили много времени. Разрешите мне удалиться.

В зале раздались восклицания, вопросы: «Что он сказал, что?» Кто его не расслышал, кто не понял.

— Виктор Андреевич, что вы? — всполошился председатель совета. — Не делайте этого! Вы слишком впечатлительны! Уверяю вас, все будет в порядке!

— Разрешите мне удалиться, — повторил Флягин. Он слез с помоста, близоруко глядя себе под ноги, и двинулся в сторону двери по проходу между двумя — правым и левым — крыльями амфитеатра. Все молча провожали его глазами. Я смотрела ему вслед с непонятным мне самой ощущением. Казалось, что, удаляясь, он становился не меньше, а больше.

1977